

Российский
Межрегиональный
Союз
Писателей

Академия Русской
Словесности
и Изящных Искусств
им. Г. Е. Державина



ЗОЛОТОЕ СЛОВО

Литературно-художественный
журнал

ВЫПУСК 8

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

"ГАММА"

2013

3 79



*Литературно-художественный
журнал
Российского Межрегионального
Союза Писателей
при участии
Академии Русской Словесности и
Изящных Искусств им. Г.Р.Державина*



Под общей редакцией Е.П.Раевского

Шеф-редактор: Н.А.Веселова

Редактор отдела поэзии: Е.П.Раевский

**Редколлегия: Л.Б. Ильина, С.Н. Скакун, А.Н.Молоканов,
А.М.Губаревская, Л.П. Кизик,
Е.В.Сакс, Ю.В.Бондарев (почетный член)**

При перепечатке ссылка на журнал «Золотое слово» обязательна

Официальный сайт
Российского Межрегионального союза писателей:
www.rmsp.pro

Официальный сайт АРСИИ им. Г.Р.Державина
www.arsii.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов

*Журнал «Золотое слово» признан Президиумом Международного
Сообщества Писательских Союзов лучшим
литературным изданием по итогам 2012 года*

**На 1-й странице обложки - г. Старая Русса,
музей-квартира Ф.М. Достоевского**

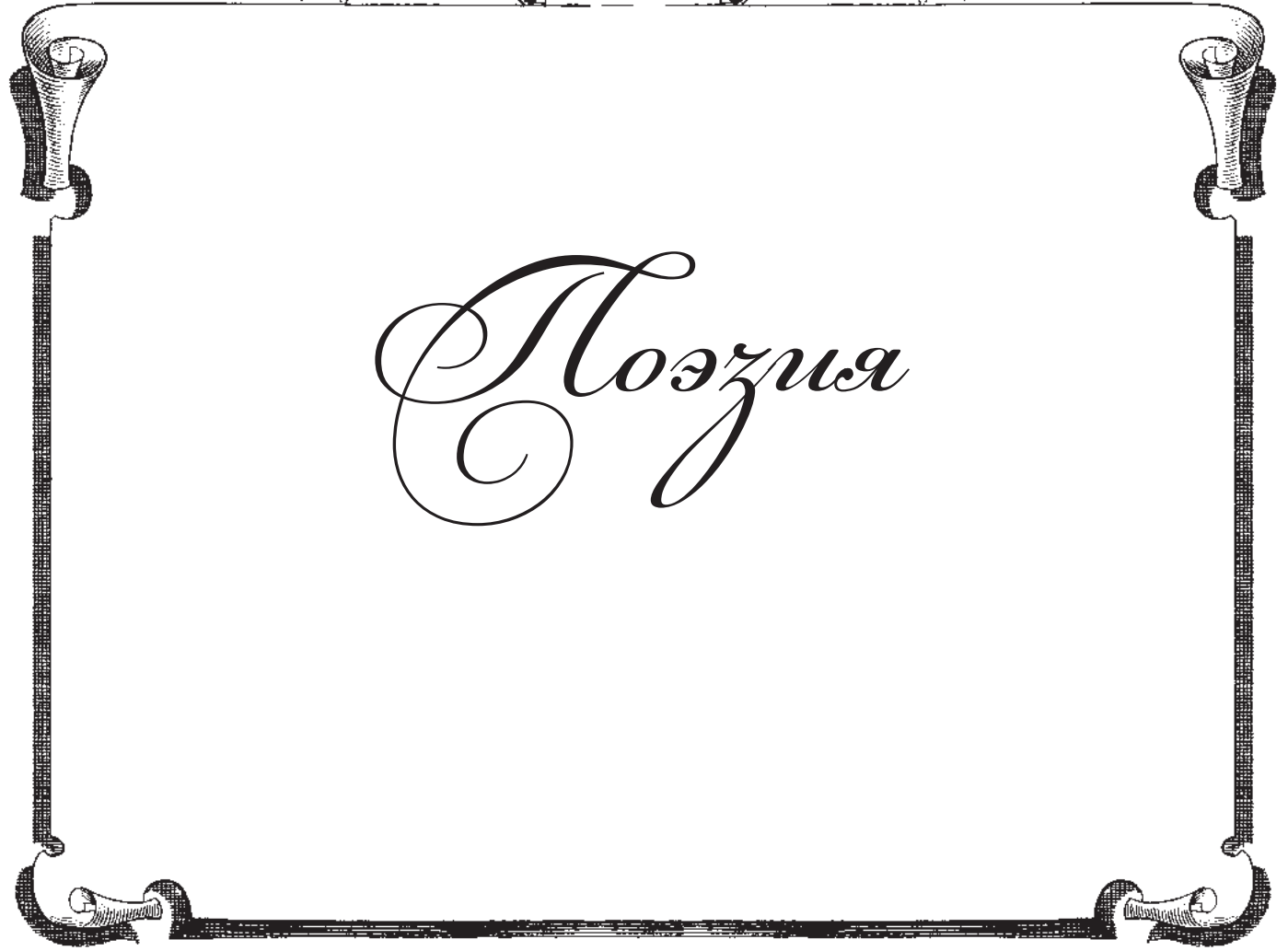
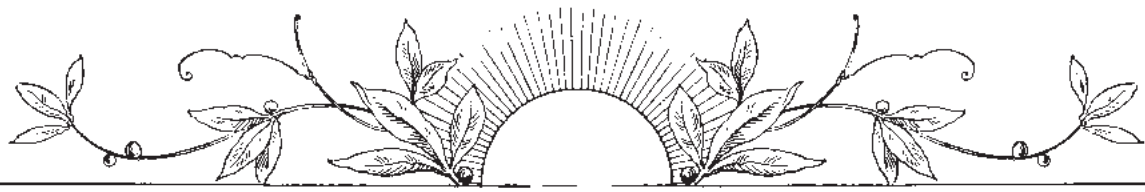
ISBN

© Коллектив авторов, текст, 2013
© Н.А.Сафронова, оригинал-макет
и обложка, 2013
© Н.А. Веселова, фото на 1-й стр.
обложки, 2013
© И.А. Сафронов, фото на 4-й стр.
обложки, 2013



«Академия русской словесности и изящных искусств имени Г.Р. Державина - одна из самых старейших и самых престижных академий России!»

Председатель Исполкома
Международного Сообщества
Писательских Союзов,
Герой Социалистического труда
Ю.В.Бондарев



Поэзия



Он называл мою поэзию божественной...



П.К.Любаев

29 августа 2013 года ушел из жизни заслуженный поэт республики Мордовия действительный член АРСИИ им. Г.Р. Державина Павел Кириллович Любаев.

«Наше село от пушкинского Болдино расположено километрах в трех. Из окна нашего дома видна заповедная роща поэта «Лучинник». С детства я исцелялся родниковой водой этой рощи», - так написал в своей автобиографии эрзя-мордовский поэт П.К. Любаев.

Он родился 24 декабря 1919 года в селе Пикшень Большеболдинского района Нижегородской области в крестьянской семье. После окончания Пикшеньской неполной средней школы (1935) и Мордовского рабфака (1938) более двух лет работал в редакции газет «Эрзянь коммуна» и «Ленинь киява» («По ленинскому пути»), потом - помощником прокурора Дубенского района.

Писать стихи начал рано - о родном крае, его людях, природе. Первые публикации в районных газетах появились в 1936 году, в республиканских - в 1938. С тех пор активно участвовал в литературной жизни республики, занимался переводами классики. На родной язык перевел поэмы Михаила Лермонтова «Черкесы» и «Беглец», поэму Тараса Шевченко «Катерина», несколько его стихотворений. За перевод на эрзянский язык «Кобзаря» Шевченковский юбилейный комитет Украины по случаю 125-летия со дня рождения поэта награждал Павла Любаева юбилейной медалью.

В 1940 мобилизован на действительную службу, стал красноармейцем-пулеметчиком, служил в Архангельске, в Костроме. С июня 1942 - красноармеец 99-го стрелкового полка 33-й Муромской

стрелковой дивизии. В октябре-ноябре 1942 года - оперуполномоченный Особого отдела, участвовал в боевых действиях в Сталинграде в составе 112-го стрелкового полка 39-й стрелковой дивизии 62-й армии (Чуйкова). На фронте заболел брюшным тифом и до марта 1943 года находился на лечении в госпитале. Продолжил службу оперуполномоченным отдела контрразведки «Смерш» 326 запасного полка Муромской запасной стрелковой дивизии, сопровождал на фронт двенадцать маршевых эшелонов.

Уволен в запас в апреле 1946 года, до 1979 работал в органах МВД - оперуполномоченным райотдела (пос.Ковылкино), старшим оперуполномоченным, начальником отделения, заместителем начальника отдела кадров МВД Мордовии. Заочно окончил Мордовский Государственный университет (1961), Куйбышевскую офицерскую школу МВД (1950). В отставку вышел в звании подполковника внутренней службы.

С 1950 по 2001 годы опубликовал стихи в тринадцати поэтических сборниках. В 1994 году опубликовал на родном языке повесть «Васенце теште» («Первая звезда») о герое Советского Союза, уроженце города Ардатова Иване Алексеевиче Пожаоском.

В разные годы печатался в журналах «Нева», «Волга», «Звезда», «Аврора», «Советский воин», в челябинской антологии «Лилии», в челябинских сборниках «От Невы до Урала», «От Урала до Невы», «От евы до Камчатки», в литературно-художественных сборниках, журналах и газетах Мордовии, в газетах «Литературная Россия», «Литературная газета», «Нижегородская правда», в газетах и журналах Татарстана, Чувашии, Мари-эл, в журналах Венгрии.

Член Союза писателей (1949). Заслуженный поэт Мордовии (1981). Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, многими медалями, в том числе - Жукова, «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейной в ознаменование 100-летия Сергея Есенина, Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Мордовской АССР и Госсобрания Мордовии.

За 58 лет совместной жизни вырастил с женой Ниной Петровной трех дочерей - Валентину, Таисию, Наталию.

Русский поэт Евгений Раевский

Евгения КОРН

Старенький трамвай

Насмешница зима сковала город стужей,
Мерцанье фонарей и вьюги злобный лай.
Вздыхая и скользя, тихонько, неуклюже,
Тянулся по проспекту старенький трамвай.

Откуда взялся он? Наверное, из Детства!
В снующей белизне его проложен путь.
«Впусти меня в вагон немного обогреться,
От суеты людской душою отдохнуть!»

Намеченный маршрут, огни на остановке,
Усталую рукой кондуктор рвет билет...
В трамвайной полутьме и тишине неловкой
Воспоминаний детства неугасимый свет.

Колесный перестук, зима метет и кружит,
В пересечении вьюг и на исходе дня
Мой старенький трамвай по белоснежью стужи,
В чудесное далеко, опять везет меня...
2013 г.

Тому, кто не со мной...

Утихли в сердце трепетные звуки...
Потух огонь Любви, лишь пепел и зола.
Желанья и мечты - переступить смогла,
Смиренье и покорность - приняла...
И бьют дождем окно, ветра разлуки...

Чернилами судьбы, чего же ради?!
Отмечен этот путь, проложена черта,
Утеряны ключи, калитка заперта,
Осталась в сердце грусть и пустота,
Да пара строк на полотне тетради...

Я сотворю душой молитвы-обереги...
За тех, кто не со мной, за тех, кого люблю!
Печаль перешагну и все перетерплю,

Любовь - пою, всю жизнь - боготворю!
И в сердце сохраню своем - навеки...
2013 г.

Явление Ангела

В туманной дымке, у Невы,
Где волны лижут камень парапета,
Гранитные лежали львы
Столетиями, вбирая искры света.
В кружении тепла и тишины,
Спустился Ангел. Белыми крылами
Коснулся трепетно волны.
Блистал вдали Исакий куполами...
Залюбовался Ангел красотой!
И время, на мгновение, застыло.
И небо засветилось синевой,
Явление Ангела оно благословило...
2013 г.

Видение...

Солнечные лучики свеченьем на стене,
Разорвали круг – «проблемы и ненастье».
Маленькие радости видением извне,
Создавали пазл, под названьем «Счастье».

Радужными бликами, вихрями теней,
В зеркале Весны сияло Вдохновенье.
И за окном моим, множеством огней,
Пазлами «Любви» слагая продолженье...

Сохраню в душе те пазлы, как мечты,
Подберу слова, стегнув воображенье.
Да вытащу на свет из зимней пустоты,
Желания свои, весны прикосновенье...

Мечтаются сердца, бунтарит соловей,
Безумится строка, отобразив круженье.

А Счастье и Любовь близостью своей
Поманят за собой, забыв про сожаленье.

Сплетается венок из солнечных лучей
И в пазлах зацвели, цветы и откровенье.
На перевитье строк сошел Весны елей,
... Мерцает на стене волшебное виденье...
2013 г.

Поцелуй

Нечаянным дождем, палитрой блеклых красок,
На полотне души - прощальный поцелуй.
Пустующий Эдем, без божества и масок,
И не звучит восторг хвалебных аллилуй.
Не возродить любви из тлена и осколков,
Не сотворить мечты измученностью бурь.
По краешку иду, среди сплетен, кривотолков
И падает слеза, дождем прозрачных струй.
Дописывает Климт свой «Поцелуй» соблазном,
Безумствующий всплеск в эдемовом саду...
Но в сад я не вернусь, меня не жди напрасно,
Огнем горит и жжет прощальный поцелуй...
2013 г.

* * *

Разрывая и тьму, и свет,
Время мчится вперед, в бесконечность.
Защемило, дыханья нет,
Точка... взрыв... Что потом?... Неизбежность?
Плачет в грусти, моя душа,
Разбиваясь о грань желаний!
И на кончике карандаша,
Застывают слова прощаний...
Мне ненадобны семь замков,
«И сквозь щели скупых раздумий»
Улетаю в страну – Любовь,
Оставляя поспешность безумий...
Запоет и воспрянет душа!
(Бездна-боль пожалеет, отпустит...)
Расправляя два белых крыла,
Пролетаю над морем «Грусти»...

Гуинплен...

Малой крупинкой время,
Струйкой стекает песок...
«Кто я? Откуда я? Где я?»
Болью пронзает висок!
Клубок запутанной мысли
Жжет, поднимая с колен.
От безысходности жизни,
Смейся и пой Гуинплен!
Лица, как маски, по кругу,
Миг... Нервный крик... Рывок!
Никто не протянет руку,
Никто не разрубит клубок...
Давит и плющит бремя,
Вечной Улыбки оскал.
От боли, крика, немею я,
Лист перевернут... Финал...
2013 г.

Мы слушаем Весну...

Мы... слушаем Весну! И открываем души!
Там, где-то вдалеке, тальянки льется звук...
И легкая капель, безвременье нарушив,
Летит с покатых крыш, как дробный перестук...
То - Музыка Весны! И мысли нитью тонкой,
Пронзают мой висок, и... окрыляют вдруг!
Мы... слушаем Весну! Ведь этой песни звонкой,
Понять и не дано тому, кто сердцем глух...
2013г.

Уездный городок...

Уездный городок. Весна бежит по лужам,
Зеленые юбочки вздымает ветерок.
По парку, по аллеям, они беспечно кружат...
И слышится повсюду уездный говорок.

Размеренная жизнь, нет сутолоки вечной,
Которая беснуется на площадях столиц.
В уездный городок уехать, чтоб отвлечься,
От скуки наболевшей, парада разных лиц.

Здесь аист высоко живет на старой башне,
Приветствуя весну и солнышка тепло.
На перекрестье лет, над днем, уже вчерашним...
Простер свое воздушное, белое крыло.

От встречи, до разлук и к радости весенней...
В уездный городок в сиреневых садах!
Где воздуха глоток, сердец прикосновенье,
Как первая любовь... является во снах...
2013 г.

Любовь и безмятежность...

Не растеряно и не растрчено
По столетьям Прекрасного нити.
Поколениям предназначено,
Сердцу каждому сотня открытий!

Непредсказуемо и переменчиво,
По спирали кружится время.
И глядит с полотна застенчиво,
Дева юная, дева Вермеера *...
Прикоснулся художник доверчиво,
Создавая Любовь и Наивность!
И смотрела Вечность придирчиво,
Не скрывая свою циничность...
Но осталась юна, столь загадочна,
Отразила жемчужную нежность...
Так прекрасна, чарующе- казочна,
Та Любовь и... сама безмятежность...
2013 г.

* *Йохан Вермеер (голландский живописец),
«Девушка с жемчужной сережкой», 1665*

Ягодная нежность...

Рассыпаясь крупной голубикой,
Я ворвусь в твой беспокойный сон,
Яркою, пунцовой брусникою...
...Спелых ягод круговерть и сонм...
Прикасаюсь ягодною сладостью,
Чудным соком прямо на уста.
Обдавая несказанной радостью,
Радужного, летнего холста.
Этот сон, нечаянно-встревоженный,
Не прервется в тишине ночной.
Отзовется песнею восторженной
И волшебной зазвонит струной.
Страстностью бруснично-голубичною,
Ароматной свежестью хмельной,
Вдруг обдаст волною необычную,
Вдаль ведя по тропочке лесной...
И вернутся вновь воспоминания,
Тех далеких и забытых дней.
Юности несмелые признания
С ягодною нежностью моей...
2013 г.



Татьяна КАРПЕНКО

Восход

Тягучий, липкий сон и бесконечный...

С порывом ветра обострился слух,
Втекая в уши шелестом беспечным,
Неукрепленный угнетая дух.

Незыблемый восход небытия
Поэты воспевали в томных одах,
Кусала хвост свой лунная змея,
Кочуя в первозданных небосводах.

И вот уж Явь расправила крыло,
Желая вырвать дух из лап печали.
За окнами неслышно рассвело,
Окрасив небо в цвет горячей стали.

Я помню...

Посвящается О. Берггольц

Я помню вдох и выдох каждый,
Храню в душе тот страшный сон,
Как город вымирал, сермяжный,
И вопли страждущих племён.

Они встают передо мною
Толпой чернеющих глазниц,
И к небу обращённых лиц,
Единой связаны судьбою.

Осенняя мелодия России

Не всем дано почувствовать Россию,
И Западу нас вовсе не понять,
Её лишь сердцем можно ощущать,
И маяться в разлуке ностальгией.

В осенних небесах сверкают звезды,
Елейный аромат и песни птиц,
Здесь женщины бесстрашнее тигриц,
Хоть жить порою им совсем не просто.

Румянцем щеки осень красит щедро,
А крепость духа дарят им леса,
Озёр глубины - синие глаза,
Чуть с поволокой от шального ветра.

Осенняя мелодия природы
Разлита в воздухе, как Ройзман-джаз,
Душой хранима каждого из нас,
И никогда не выходя из моды.



Владимир ДАНИЛЕВСКИЙ

Не жалеЙ!

Не жалеЙ уходящего лета тепло...
Очень часто конец – начало,
Оказалось, что часто нам очень везло,
Раз расстаться совсем не давало.
Осень щедро отметит итоги свои:
Урожаем и лиственным цветом,
У людей остаются итоги любви,
Мы её озаряемы светом.
Этот воздух, и – неба огромная синь,
Открывают полёт мечтаний.
Блеск росы и вдали улетающий клин -
Это птицы заветных желаний.
Затишают от эха любые слова
И никто никого не губит,
Лишь любовь в этом мире навечно права
Как и тот, в ком она пребудет...
Затаилось, прощаясь до лета, жнивье,
Только рощи цветны и не голы,
Пусть не вьётся над нами беды воронье
И приветствуют горы и доли.
Не жалеЙ уходящего лета тепло...
Это просто другие отсчёты.
Не хочу, чтобы нас по теченью несло,
Пусть нас новые ждут высоты.

Графский вальс

Париж стоит мессы.

Наполеон Бонапарт

Может быть, мне не поверит никто...
Будь я богатым графом:
Я бы дарил дорогие манто...
Всех бы катал я в фиакрах...
Сердце! Ну что ты, снова шалишь?
Прошлые дни призови!
Так же, как «стоит мессы Париж»,
Женщины стоят Любви!
Взгляд искромётный! И снова – роман!
Ах, устоять – нелегко!
Я бы поил дорогих горожан
Только «Вдовой Клико»...
Ты улыбнулась: «Не дуйся, малыш!
Мой поцелуй – лови!»

Так же, как «стоит мессы Париж»,
Женщины стоит любви!
Будет и дальше солнце светить,
Рдеть листопад, жечь мороз!
Я разрешил бы к дамам входить,
Только... с букетом роз!
Жажды свободы - не укротишь!
Лучшие дни призови!
Так же, как «стоит мессы Париж»,
Женщины стоят Любви!

Абрикосовый сад

Убежал навсегда этих дней водопад...
Помнишь эти года, абрикосовый сад?
Блики солнца в листве, день на праздник похож,
Это счастье в тебе от того, что живёшь.
Белых хат тихий ряд, позолочен камыш,
И удода сидят на коньках многих крыш.
Нескончаемый день, воздух жаркий стоит,
Груши видно в плетень, речка в мареве спит.
Напоённый водой источал аромат,
Опылённый пчелой абрикосовый сад.
Дождик летний прибил только сверху песок
И просёлок пылил от мальчишеских ног.
Каждый смелостью пьян, от загара черны,
Мы пойдём на баштан, там растут кавуны.
Будто стая грачья, рад мальчиший народ,
Нынче пир у ручья, у воришек идёт.
Абрикосовый сад! Ты отсчёт бытия,
Сердца ласковый взгляд, пристань детства моя!
Сколько было утрат, только ты был со мной,
Абрикосовый сад, что дарил мне покой,
На Днепровской волне, я тобою богат,
Ты навеки во мне, Абрикосовый сад!

Маргарита

Обольстительная Ведьма,
Всё отдавшая Любви,
Перейдя в иное Время,
С переменою в Крови.
Мастер жив одной тобою,
Как пытлив любимый взгляд!
Аксиома над Бедою:
«Рукописи – не горят!»

Символ Женщины Отважной
На балу, у Сатаны...
Тем прекрасней, чем ужасней
Состояние Страны.
У судеб свои законы,
В подлой власти оперов,
На метле летают Жёны,
Если любят Мастеров!

Поэт

Поэт обязан быть пророком,
В том божий промысел его,
За это платит он жестоко,
Идёт гоненье на него.
Толпа уныла и глумлива
Сиюминутной пустотой,
Дай хлеба, зрелищ и, – счастлива!
Нельзя ей беречь покой...
Когда ж беда грядёт в палаты,
И враг на голову, как снег,
Поэты вечно виноваты,
За то, что видят дальше всех.

Слушая З. Гиппиус

Приятен мне Ваш слог России уходящей...
А ныне тож раззор и совести закат...
Я до конца не смог поймать строки летящей
И вдохновенья взор, увы, глядит назад...
Пусть россыпь сих стихов прочтут уже иные,
Как Вы, я не боюсь ни злобы, ни молвы,
А главный из грехов – моя любовь к России!
Как Дон Кихот я бьюсь и также прав, как
Вы.

Реквием

Пролетая меж Адом и Раем,
И подъём ощутив, и надлом,
Всё, что мы второпях собираем,
Ничего мы с собой не берём!
Чья душа ждать и верить устала,
Убедившись в начале – конца,
Тем, кого эта жизнь доконала,
Не поможет совет мудреца.
Пусть бредут по дороге сомнения,
В них прошедшего – большая часть,
Знали б вы, как болит в то мгновение,
Когда сердцем хочу не упасть!
И обиды, и радость встречая,
Убеждаюсь я только в одном,
Всё, что мы, суетясь, запасаем,
Ничего мы с собой не берём!

Календари

Всё врут о нас календари,
Что мы стареем с каждым днём,
Важнее, что ни говори,
Каков в нас жизненный объём.
На перекрёстках всех судеб
Нас ждут то Ангел, то Палач,
Чем горше нам насущный хлеб,
Тем радостней часы удач!
Нам не дано узнать зари,
Когда мы сменим свет на тень,
А значит – врут календари!
И всё прекрасней каждый день!

Перрон

Тот, двоим знакомый, перрон
А, в небесах - по звезде!
Тронется в путь зелёный вагон,
Далее и везде!
Будет и дальше солнце светить,
Будут ненастные дни,
Поезд разлуку будет дарить,
Свои унося огни...
Нам песню старости рано учить,
И я её не учу,
А доведётся рядом побыть,
Сяду и... помолчу.

Блистательный Санкт-Петербург

Ты мне как радости сиянье,
Как уст любимых, осязанье
Как ясный луч меж серых туч!
А неуютность дней дождливых,
Крепит объятья двух счастливых,
И к радости дарует ключ!
В угоду или в наказание,
Ты трижды изменял названье,
Но жив ты гением Петра!
Ты дружбы храм и ей согрего
Сиё восьмое чудо света,
В лучах Искусства и Добра!
Так удивляй нас площадями,
Взлетай над шпилями, крестами,
Забвенье душам – не хирург!
Плыви осенними садами,
Мостов оградой над водами,
Блистательный Санкт-Петербург!

Дети Софии

Карсаковой Н.И.

Дети мудрой матери Софии:
Вера и Надежда и Любовь,
Дочки её сердцу дорогие,
Вспоминаем вас и вновь и вновь...
Первая – особенным примером,
Учит всё на свете проверять,
В жизни ничего не брать на Веру,
Чтоб её, потом, не потерять...
Сила – в Вере, с нею ты – отважен,
Коль, как светоч, Вера позовёт
Будет враг совсем не так опасен,
И беда тогда быстрее уйдёт.
Дочь вторая – Светлая Надежда,
Помогает быть самим собой,
Ободрит всезнайку и невежду,
В неудаче – одарит мечтой.
Безнадёжность – страшная пустыня,
Где никто не нужен никому.
Зря погибнет радуга святыни
Путь ведущий смертного «ко дну»...
Третья дочь умеет незаметно,
Горячить быстрее нашу кровь,
Нас сама находит, повсеместно,
Её имя славное – Любовь!
У неё пути необъяснимы,
От неё спасенья вовсе нет,
Все её амурами ранимы,
Наш с рожденья и до смерти свет.
Нам без трёх сестёр, сейчас и прежде,
Только угольки искать в золе
Без Любви, без Веры, без Надежды
Что нам делать, люди, на Земле?

30.09.2010 г.

Песня об удивительной осени

Удивительное время, эта Осень!
Вата грязных облаков летит вокруг...
Но, ворвётся ясный луч, сквозь неба просинь,
И уютным станет лес, и этот луг!
Удивительные мысли, в эту слякоть!
О хорошем, о сердечном, о родном...
А о грустном может дождь за нас поплакать,
И о тех, кого не ждёт любимый дом...
Удивительные тосты в непогоду!
За друзей! За находящихся в пути!

За любовь! И за красавицу-Природу!
И за тех... которым больше не зайти!
Удивительная радость, эта Осень!
Омывает своё золото октябрь
Тёплых дней ещё немножечко попросим
И пускай пугает холодом ноябрь.

Проверено Войной!

Люблю и чту, как дом родной,
Людей, проверенных Войной!
Что устояли в страшный час
И всё же вырастили нас...
Всех неизвестны имена,
Но ими создана страна,
Доныне в нас они живут,
Их благородный, честный труд.
Поклон им низкий! До земли!
А мы такое бы смогли?
И буду внука я учить
Родных беречь, их память – длить!
Растя наилучшее в себе,
Чтоб быть под стать своей земле!
Любить и чтить, как дом родной,
Людей, проверенных войной!

Ярославна

Где Волга ширь свою несёт,
Качая пароходы плавно,
Церквей старинных хоровод
Глядится в воду столь исправно.
Где миг вобрал в себя века,
То мир, то тяжкие сражения,
Несёт Великая река, как мать,
Нам людям всепрощение.
Здесь очарован я стоял
И будто из далёкой дали,
Лик колокольни выплывал,
Легенды будто оживали:
Вон в том, светящемся окне,
Прекрасна ликом, станом славна,
Тоскует, плачет обо мне
Родное сердце – Ярославна.
И будто веря, что герой
Свои тотчас расправит плечи,
Сравнимы Женщины с рекой,
Что очищает нас и лечит.

Прощальный парад

С ветром стылых полей,
Унесёт журавлей,
Лист бросая вокруг, наугад,
Он кружится шурша,
Будто чья-то душа
На последний, выходит, парад...
Мы бредём не спеша,
До чего хороша,
Эта грусть по теплу и цветам!
Бабье лето идёт,
Наши ноги ведёт,
К узнаваемым всюду местам...
Мир как будто притих,
Время пишет триптих,
Где гравюрой на фоне небес,
Разноцветно красив,
Убегая в залив,
Вечно разный, задумчивый лес.
Синева облаков
Манит нас высоко,
Возвышая и мысли и дух,
Величавость и тишь,
Там где мыслью паришь,
Разнотравья летающий пух.
Но, презрев уют,
Птицы всё же поют,
Как надежда на лучшие сны,
Отзвенит карнавал
И закончится бал
До грядущей, до новой Весны...

Памяти Петра Нестерова

Памяти Великого Пилота,
Посвящаем новые высоты,
Мысли дерзновенные полёты,
Здравый риск и радости кураж.
Памяти Великого Пилота,
Так важна воздушная работа,
Двигатель ревет от оборотов,
Добавляет скорости форсаж.
Памяти Великого Пилота
Не нужна собрания зевота,
Потому, что, вечно первый кто-то,
Страшен неизвестности мираж...
Памяти Великого Пилота,
Тем и добавляется почёта,
Что, ведя с его «петли» отсчёты,
Совершает чудо экипаж!

Чемодан

Улыбнусь тебе глазами,
Не обижу, не предам,
Извини, что между нами
Я поставил чемодан.
Пожелай же мне удачи,
Поцелуй и не грусти!
Раз не знаю, что там дальше,
Лучше одному идти.
Я бродяга, плут, проныра
(Стоит всё перечислять?)
Может, был кому-то милым,
Может, стану им опять.
Не забуду эти руки,
Не забуду губ тепло,
Память мне лекарством будет,
Если станет тяжело.
Пусть там скажут что угодно,
Пусть злословят – ерунда!
Было нам с тобой свободно,
Мы не ввали – никогда!
Потому, коль вкривь дорога,
И не видно ничего,
Очень может, у порога
Окажусь я твоего.
Улыбнусь тебе глазами:
«Здрасьте! Можно в гости к Вам?»
И тогда решим мы сами,
Где поставить чемодан?

Птичка

Ах, какая смешная привычка
За тепло моё – благодарить.
Ты упала мне в руки, как птичка,
Я обязан тебя отпустить.
Там, на воле, ты станешь счастливой,
И, наверное, станешь умней,
Чем в построенной наспех, красивой,
Этой клетке твоей и моей.
Пусть привык, расставания муки,
Но, ничто не заменит – полёт.
Разомкну обнимавшие руки,
И верну тебе твой небосвод.
Может быть, и такое случится,
Вновь сведёт нас один к одному.
Упадёшь, как усталая птичка,
И опять я тебя обниму!

* * *

Воздушная свежесть и неба безбрежность,
И синь, над журчащей водой,
Да здравствует Нежность!
Весны неизбежность!
Победа Любви – над Бедой!

Толерантность

С ничего – ничего и получится.
Что возьмёшь, где (увы!) не сложил?
Жалость нашей России – попутчица,
Порожденье безвинных могил...
Разве можно смириться так просто,
Как сжигались деревни – «живьём»?
А безумье печей Холокоста?
Миллионы, убитых врагом!!!
Как солдат мамку звал, смерть почувствовав,
В медсанбате, сгорая от ран!
Толерантность в России – кощунственна!
Пока жив хоть один ветеран!

Петров оплот и воинства и славы

Чтоб бумаги гербовой листы,
Нам не нужно с Франции вести,
На старинный Дудоров погост
Петр умельцев из Москвы привез,
Повелев «старательно зело»
Основать здесь Красное Село.

В слободских названьях эта связь
И бумагой русскою гордясь,
Горы и озерная вода
Стали твоей славой - навсегда!
Кто б сюда отныне не пришел,
Горд высоким званьем – красносел!

Три вокзала там в Москве стоят,
Где крепчал петровский авангард
Первые «потешные» полки –
Государя верные штыки,
А где было Красное Село.
Разместилась станция метро.

А у нас тут – воинства оплот,
И три века Красному везет,
Средь «потешных марсовых полей»
Видит лучших русских сыновей!

До сих пор их слава так крепка.
Что не смысла времени река:

Тут Суворов крепость брать ведет,
Тут Можайский поднял самолет,
Тут торпеда первая пошла,
Тут подлодка к полюсу всплыла,
Тут произошел Луны облет,
Тут создали первый луноход.

Там окоп заброшен, там редут...
За отцами сыновья идут,
Памятник авроровцам стоит
И герой Типанов тут лежит...
Тут ковался меч врагам назло.
Город славный Красное Село!

Дилемма

Не видим мы красивого в красивом,
А между тем творятся чудеса:
Цветов не видим нос, задрав спесиво,
Опустим нос – не видим небеса.



Вера КУДЕМИНА

* * *

В небесное преддверие стихи
Спешат талантом благородства
Возвысить в степень превосходства
Земные страсти и грехи.
Там, в звездных россыпях теряясь,
Стремясь озвучить сердца зов,
В итоге праведных трудов,
Перед талантом преклоняясь,
В познаниях коротает век,
Венец дел праведных и грешных человек.

Поэт

Поэт перед заклинанием понимает,
Что миссию исполнил на земле.
Он знает всё от ада и до рая.
Познания знак скорби на челе.
Порой предвестником трубит он неразумно,
Но никогда не говорит бездумно.

* * *

Поэт не ищет оправдания,
Он утверждает и живёт.
Скользя к истокам мироздания,
Легко во времени плывёт.

Краткий миг

Мы рождены для жизни вечной.
Жизнь на земле, лишь краткий миг.
Но удивительно беспечно,
Забыв свой первый детский крик,
Скорбя, уходим в бесконечность.
Цените радость бытия.
Познайте вечное и странность.
Печаль присутствия, как данность,
Лишь оттеняет хрупкость жития.

Созерцанье

Небес не вечно созерцанье,
Когда закончим путь земной,
Оставив юдоли страдания,
Вернемся на небо домой.

* * *

В музее кукол восковых
Я не хотела б себя видеть.

Не дал Господь нам всем предвидеть,
Как быть всегда среди живых.

Молох время

Беспощадный Молох время.
Упустишь счастья жизни миг
И не спасет, коль не постиг,
Не попадая ногою в стремя,
Успокоение простоя.
А может, это все пустое.
Быть может в опоздании счастье?!
Постой – грустить, не торопись.
Коль, натянув поводья, жизнь,
Заставит переждать ненастье.
Судьба твоя, или небрежность,
Толкнув с дороги в неизбежность.
Ты в муках силишься понять,
За что, зачем такие страсти?!
Биенье сердца не унять.
И жаждешь прошлое объять
Воспоминая веры в счастье.

Зеркало

Есть в отражении зеркал
Пугающая честность.
В них грусть, страстей накал,
Но будь улыбка, иль оскал,
Их всех отправит в неизвестность,
Бессмысленно правдиво
Бесчувственное диво.
Магнитом взор манящее,
Без прошлого лишь настоящее,
Отважнее любого папарацци.
И если ты король, ты не уйдешь в паяцы,
Но если нет надежды,
Стать жизни королем,
Меняя грим, одежды,
Всегда ты при своем.

Ксении Блаженной

Такая хрупкая и с ясными очами,
Для сердца русского так много значишь.
Холодными февральскими ночами,
Тебя я чувствую и плачу.
Ведь ты молилась, стоя у порога.
За нас молилась и просила бога.
А мы всё также просим за себя.
Твоей молитвою живём
и живы.

Ты нас прости,
Твоей мы благодати ждем,
Здесь от рожденья до могилы.

Петр и Нева

Шумит и пенится волна.
Волною невскою в любое время года,
Коль льдом не скована она,
Играет буйная природа.
В ней солнца луч глубин недостаёт.
Порою судьбами играя,
Властительницей тьмы грядёт,
Нам о земном напоминая.
Мглой жуткою, под ветра вой,
Из недр земных, казалось близится
проклятье,

Нева любит себя собой
И страх зовёт в свои объятия.
Она горда и мощь её крепка.
Но к небу вскинута рука.
То Пётр, хранитель наш от бед,
Рукою распротёртою природу умирят.
Он гада раздавив, остановил свой бег.
Вода уходит в берега, послушно затихает.
Нева – источник, символ вечной жизни.
По силе духа – Пётр приближен к ней.
Он величайший из людей,
Рождённый возрождением в Отчизне.

Белая ночь Петропавловки

Молчит Петропавловки звонница.
Дождём размывает пейзаж
С редкой бродяжкой в бессоннице.
Знакомый ночной мираж...
Навязчивый запах сирени,
Тихим дыханье молчит.
Тайна движенья в ночи,
Легкие призраков тени
И их ускользающий свет,
Дающих отмщенья обет.
В белой ночи твое очищение.
Крещение на святость и блажь.
На всё, что возьмешь и дашь,
Грехов твоих давних прощенье.

Ход времени неумолим

Ход времени неумолим,
Неумолимы смерть или рожденье,
Любовь, что стала наважденьем,
И православное прощенье
Пусть навсегда пребудет с ним.

Времена года

Разноголосьем славится весна.
Нам запах лета голову дурманит.
Парадность осени дана.
Зима заснеженностью манит.

Безумно жаль

Бьётся сердце, ясно сознавая,
Что за зимой последует весна,
Что белой ночью станет не до сна.
Но мне безумно жаль,
Что каждый раз сезонно умирая,
Как будто проходя по краю,
Нам осень жалуется печаль.

Осени приметы

В аллеях парка еле слышно
Слетает первый жёлтый лист.
Под робкий перестук по крышам,
Дождинок, падающих вниз.
Всё это осени приметы -
Шуршанье, шёпот, шум дождя.
В тумане поздние рассветы
И тихой грусти у тебя.
Но бабьим летом встрепенётся
Природа, сбросив грусть-печаль.
Вновь, робко солнце улыбнётся,
Сквозь временную шаль
Дождей, туманов и рассветов.
Ведь ей самой безумно жаль,
Расстаться с жарким буйным летом
И озарив прощальным светом,
Всё ж с грустью потемнеет даль.

Свет в окне

Мела метель, кружила вьюга
И уносила звёзды прочь.
Со мной была моя подруга -
Холодная, немая ночь.
И в забытьё пространства улетаю,
Печально машет мне крылом
Душа с теплом земного рая,
Стремясь забыться прошлым сном.
Где свет в окне моём струится
И ветка вишни за окном,
Где по ночам весной не спится,
Где мы с тобой ещё вдвоём.

Людмила ИЛЬИНА

* * *

Ах, осень! – Твои ли туманы белеют?
С твоей ли прелюдией клёны желтеют?
И ветры твои так безжалостно свежи,
И солнышко греет всё реже и реже.
И всё же я знаю - щедра на подарки,
Вернёшь бабье лето нам тёплым и ярким!

29.08.2013 г.

* * *

Под шум дождя желтеют клёны
И в морозящей круговерти
Быть хочется ленивой, сонной,
Непредсказуемой - поверьте.
Насколько можно, отречься
От ложной суетной корысти,
И шорохами наслаждаться,
И шёпотом кленовых листьев.
Смотреть, как грустные дождевики,
Скользят по запотевшим стёклам,
И представлять себя былинкой
В саду, где всё вокруг промокло.
Признаюсь! – Быть в дожди влюблённой,
Не столь забавное занятие.
А я брожу в саду среди клёнов
Под шум дождя в промокнутом платье!

04.09.2013 г.

* * *

Года мои бесшабашные,
Дома вы мои саманные.
В той жизни, уже вчерашней,
Лихие да окаянные.
Любилось до слёз в истерике,
Страдалось до помрачения.
Ну, что там твоя Америка?

Мне здесь плылось по течению.
Пусть были мы одурочены,
Судьбою не просто связаны,
Проблемами озадачены,
Нам жизнь такую заказана.
Но здесь отчаянно любитесь,
И здесь в хорошее верится.
Пусть всё плохое забудется
И Божьим лучом осветится.
Ну, что там твоя Америка?
Плыву я здесь по течению,
Люблю до слёз, до истерики,
Страдаю до помрачения!

15.02.2013 г.

* * *

В ритме дождя плавают тени,
Падают листья мне на колени.
Солнцем слегка опалило и всё ж
В золоте красок лес дивно хорош.
Дождь-бедолага сыплет тревогу
В сердце моё и в лесок, на дорогу.
Срок увяданья ещё не настал,
Но редкий лист уже ищет привал.
В шёпоте листьев словно молитву
Слышу я сердцем робким, открытым.
Грусть разливается в строчках дождя
И увлекает в раздумья меня.

12.11.2006 г.

* * *

Грустные ноты в звуках щемящих,
Время ничто не значит.
Выбросив веер красок горящих,
Слёз уж своих не прячет.
Сумраки, пахнувшие кострами,
Дымны и неуютны.
Вот и опять прощается с нами,
Лето в намёках смутных.

03.03.2011 г.

* * *

Закончен бал осенней круговерти,
В последних красках закружил ноябрь.
Я в ожиданье чуда, уж поверьте,
Пред белым цветом устою едва ль.
Душа замрет, приняв как наважденье,
Пороши робкой первые шаги.
Несмелое зимы предвосхищенье,
Гостей летящих, вестников пурги.
Ее предзимье так еще не прочно.
И все ж я белизне ее дивлюсь.
Хоть и порой является досрочно,
Поклонницей ее я остаюсь!

* * *

Лист осенний как дождь морозящий
Сыплет под ноги днём уходящим.
Знаю я, возмущаться напрасно,
Он в прощальной печали прекрасен.

В этом мире любви и надежды,
Он пылает огнём, как и прежде.
Отпущу я с печатью огня,
Пусть печалится память моя.

10.07.2009 г.

* * *

Зачем корить предчувствия любви,
Ведь седина и годы не помеха.
И хочется умом от счастья съехать
И вновь шептать признания твои.
Ещё часы не пробили отбой
И этот мир безумный и парящий,
Пусть кажется порой не настоящим,
Но он до боли в сердце мой и твой.

Зачем корить предчувствия любви?

02.09. 2011 г.

* * *

Если боль возвращается,
Не прощённым живёшь.
Если тучи сгущаются
И удачу не ждёшь.
Отупел от усталости
И друзьями забыт,
И застрял в самой малости,
Называемой быт.

Не юродивый вроде бы,
Не коришь белый свет.
Только вряд ли угоден был,
Дышит в спину навет.
Каждым промахом радуешь
Ты заклятых друзей.
В одиночестве празднуешь
Новый свой юбилей...

Тишиной кабинетную
Ты себе только льстишь
И разменной монетою
Стала грусть, коль грустишь.



Татьяна НИКОЛАЕВА

* * *

Весь лес укутывал закат
И солнце плыло безмятежно,
Спускаясь как-то невпопад
В янтарных отблесках безбрежных.
Оно, словно огромный шар,
Переливалось и искрилось,
Как золотой волшебный дар
С небес за горизонт катилось.

Фосфоресцирующей вспышкой
Воды касался лёгкий бриз,
Он хулиганил, как мальчишка,
Что исполняет свой каприз.

Лизали волны берег сонный,
Темнели небо и вода,
И где-то в высоте бездонной
Мигнула первая звезда.

Лестница

Чьей-то прихоти подчиняясь,
В этот мир мы однажды войдём,
Будем жить в нём, греша и каясь,
Слёзы горя и счастья прольём.

Будем петь, танцевать, улыбаться,
Ненавидеть, жалеть и любить,
Презирать, обожать, огорчаться
И детей своих будем растить.

Развлекаясь, воюя, боля,
Постоянно чему-то учась
И мечты свои в мыслях лелея,
Будем счастья искать мы подчас.

Будем спорить, желать, увлекаться,
На работу послушно ходить
И, конечно же будем стараться
Жизнь свою не напрасно прожить.

Чьей-то прихоти подчиняясь,
Мы по жизни, как сможем, пройдем
И однажды, в цветах утопая,
Мы по лестнице в небо уйдём.

Когда утихнет боль...

Когда утихнет боль сердечной раны
И слёз завеса в прошлое уйдёт,
В душе останутся незаживающие шрамы,
Из памяти их даже время не сотрёт.

Они напомнят о былых ошибках,
Глаза раскроют, не дадут забыть
И не позволят предпринять попытки
Ещё раз глупость в жизни совершить.

Тот привкус горечи от давнего обмана
Останется на много лет вперёд,
Чуть что, и будет кровоточить рана,
Чуть что, и снова в сердце боль войдёт.

Спокойствие, поверьте, очень зыбко,
Былых страданий нам им не прикрыть,
Завесой времени нам не закрыть ошибки,
Слезам горькими несчастье нам не смыть.

Когда утихнет боль сердечной раны
И постараемся мы прошлое забыть,
В душе останутся незаживающие шрамы,
Что кровоточить будут и саднить.

* * *

Кода-нибудь, когда раскрасит листья осень
И будут капли дождевые на окне,
Ты подойдёшь ко мне и тихо спросишь
О том, что нравится всего сильнее мне.
Меня ты спросишь, что люблю я больше -
Тебя или жизнь?

Обидешься, услышав мой ответ.
Отвечу: «Жизнь!»

Но ты пойми, хороший,
Мне без тебя на свете жизни нет.

* * *

Осколок сна — глаза в глаза.
Мир бесконечный и далёкий.
Любовь — грань острого ножа,
Путь для двоих всегда нелёгкий.

Как сердце бешено стучит,
Ещё минута — задохнёшься,
Но музыка души звучит,
Ты под неё сейчас проснёшься!

Осколок сна — глаза в глаза
И мир теряет очертанья.
Он и Она — глаза в глаза
И все сбываются желанья!

* * *

Ах, этот сумрак летней Белой Ночи,
Воспетый дивной трелью соловьёв,
Отражённый в тысячах стихов
Безумцев, кто весной спать не хочет.

Ах, этот нежный серебристый свет,
Тот, что сердца заставит биться чаще,
Во взгляд добавит огоньков горящих,
В душе оставив неизбывный след.

Весь трепет чувств, разбуженных весной,
Влечение буйное, неистовая страсть
В любви ловушки заставляет нас попасть
Санктпетербургской сумрачной порою.

Возможно, есть какое-то пророчество,
Но Белой Ночью исчезает одиночество.

Истина

Вечер в Питере. Шепот лиственный.
Между веток луч солнца блестит.
Как на кладбище тихо-тайнственно
И не слышно, как город шумит.

На надгробьях нахохлились голуби.
Не прогонит никто сизарей
Полетать хоть немножечко по небу,
Видно, им на погостах милей.

Сквозь решётку оградки кладбищенской
Тополя, как сквозь грунт, проросли
На могиле заброшенной нищенской,
Даже вытолкнув крест из земли.

Три огромных раскидистых тополя,
Словно души умерших людей
Из надгробья того одинокого
Вверх взлетают на крыльях ветвей!..

Тихо-тихо. Лишь шепот лиственный.
Рядом свечка, мерцающая, горит..
Я узнала на кладбище истину -
Жизнь всегда и во всём победит!

Умчавшиеся надежды

Зимняя Жрица в пушистой одежде
Ворох снежинок бросает с небес.
Ветер шальной и коварный, как бес,
Их завивает вьюном белоснежным.

Вьюга уносит с собою надежды,
Прячет их в дальний заснеженный лес,
След их уже в сильном вихре исчез.
Разве догонишь их? Всё бесполезно.

Может, их скроет зелёная ель,
Лапой своею укрыв необъятной
Или сугроб им устроит постель?

Может, вернутся надежды обратно,
После того, как утихнет метель,
Или умчались они безвозвратно?

* * *

Буйный ветер умчал за собою мечты,
Дождь стучал и стучал, размывая следы,
Заметала метель белоснежной тоской
То, чем счастливы были когда-то с тобой.

Будет память скрываться во влажный туман,
Будет сердце стонать, как индейский шаман,
Будут слёзы стекать по ресницам ручьём,
Буду в жизни блуждать, вспоминая о нём.

Буду тихо брести между жизненных скал.
Вот ты мимо прошёл и меня не узнал.
Может, это туман серой злой пеленой,
Насмехаясь над нами, разлучил нас с тобой?

Может быть, в нас судьба отыскала изъян?
Может, это был просто коварный обман?
Может, то был чудной удивительный сон
Из каких-то далёких и лучших времён?

За стеною тумана потерялись мечты,
Где-то в этом тумане потерялся и ты.
Да и был ли над нами неба цвет голубой
И светило ли солнце нам, любимый, с тобой?

В голове кружит мысль, словно едкий дурман -
Для чего же был нужен наш случайный роман?
Всю былую любовь размывает дождём,
Только память живёт в бедном сердце моём,

Словно липкий туман...

Идеал

Ну какая ж я глупая всё-таки,
Ведь всё время, стремясь к идеалу,
На далёком и сказочном облаке
Для себя я Тебя изваяла.

Получился Ты нежным и ласковым,
И от жизни земной так далёк,
Обладая характером ангельским,
Был сложен, словно греческий Бог.

Поклоняясь Тебе неосознанно,
Я цветы в Твои кудри вплетала,
Очень долго ночами бессонными
Я стихи для Тебя сочиняла.

Становилась в мечтах я бесстрашною,
Был полёт моих мыслей высок.
Никого я не знала прекраснее,
Чем любимый придуманный Бог.

Я была очень глупая всё-таки,
Очень долго не подозревая
То, что в небе и даже на облаке
Нет нигде никаких идеалов!



Юрий ДЕЙСАХОВИЧ

Осенний романс

Рисует мысль любви портрет, и то, что взору недоступно...

В душе своей найдёт поэт всё, что и свято и преступно...

Мне жаль, что жизнь всего одна, и той осталась половина,

Не скажешь даже чья вина, хоть радость так неуловима.

Дождь за окошком шелестит, осенний лист дорогу кружит,

И боль, застывшая в груди, вновь вырывается наружу.

Ещё один удар Судьбы – минуты наших откровений

Тобою преданы, увы, у счастья коротки мгновения...

Я уйду в воспоминания: в калейдоскопе этих дней

События близкие и дальние... спасеньем – только мысль о ней...

Дорога дарит ощущения конца далёкого пути,

Минут тревожных возвращение и боль последнего «Прости!..»

Мы думали: «Обычный случай...», но звёзды спрятались во мгле,

И месяц погрузился в тучи, и пусто стало на Земле...

Её увёз ночной вагон... и кто-то третий между нами...

Любовь уходит, словно сон, печальный след бросая в память.

Струны гитарной тихий стон рука последний звук прижала,

Вокзальный опустел перрон, душа растерянно дрожала...

Романс печали в тишине вобрал в себя весь мир огромный,

Тебя приблизил он ко мне и отобрал разлукой чёрной.

Кричу устало в пустоту: «Судьба распутна и капризна...

Верните мне мою звезду, мой компас по дороге жизни!..»

Но чаша жизненных весов в другую сторону склонилась
И, как слепое колесо, через меня перекатилась...

Мы были счастливы когда-то, но осенью пошли дожди
И поменяли наши даты других времён календари...
Стучится дождь о край окна, как путник, сбившийся с дороги,
И дождевая пелена о чем-то долго с ветром спорит.

Выводит осень на стекле свои тоскливые мотивы,
И, кажется, на всей Земле сегодня нет людей счастливых.
Жизнь угасает. Как свеча, не разгоревшаяся ярко,
И мрамор женского плеча уже не может быть подарком.

Опять кружится голова... Я вижу лишь одно спасение –
Забрать обратно все слова и опуститься на колени...
Ходить мои привыкли ноги, но с каждым часом ближе грусть,
Что из осенней той дороги назад я больше не вернусь...

Но – у Судьбы иные планы. И, значит, новый поворот –
Душа залечивает раны, и сердце новой встречи ждёт...
Неповторимо, что прошло – былого жизнь не возвращает,
Но прошлому наперекор тепло другое обещает.

Звезда осенняя упала с ночного бархата небес...
И утро грусть мою меняло уже на новый интерес...



Сергей ДАНТЕЛЕВ

Девятый вал

Евгению Раевскому

Верх и низ, слева, справа
Бесконечный горизонт.
Мы спокойны, боцман знает,
Что у нас по курсу Понт,
Нас родное море ждет,
И недолго ждать осталось,
Скоро мы вернемся в порт.

Ослепительное солнце
На крутой волне горит
Шторм «Девятый вал»,
Море Черное кипит,
Изнурительный прибой,
Все осталось за кормой.

Легкий бриз, с волною споря,
Штиль, затишье,
Запах моря,
Берег,
Свежие цветы,
Легкокрылые стихи,

Белоснежные листы
Знак
Признания любви
Беззаботно и игриво
Щедро нам
Бросаешь Ты!

30.07.2012 г.

Художник

Погода, ветер, стужа –
Осенний колорит,
И роща золотая
От холода дрожит
Художник не жалея
Ни ног, ни рук своих.

Мираж

Мы пилигримы, мы в пути
Одежды серые в пыли
Устали и не чисты мы.
О чудо! Боже спасе нас
Роскошный в облаке пейзаж
О господи? Неужто блажь?
Разочарование – мираж.

2012 г.

Будни

Оглянулся я неловко,
В отраженьи подсмотрел,
Видно, точно сдал немного,
Видно, малость постарел.
Что же старое трюмо?
Правду-матку мне в лицо!
Да, я малость постарел
И немного поумнел.
Потускнели, поредели,
Вихры шалой головы.
Ведь когда-то гимны пели,
Смело в завтра мы смотрели,
Веря в подвиги страны,
И душою не старели,
Были верные сыны.
Все, как сон цветной, пропало –
Будни серые в пыли:
Душно, кислороду мало,
То ли будет впереди.
Впереди немало будет
Наш доверчивый народ
Все припомнит, все рассудит,
Кто Россию нашу губит,
Кто изменник, а кто вор.
Всем суровый приговор.
Пусть душит вас тревожный сон.
Петр, плаха и топор!
Мне уютно спать в канаве
Бог земельки подстелил.
Извините – это спьяну
Я немного пошутил.
Милый мой дружок заклятый,

Еще стопочку налей.
Я уверен, твердо знаю,
Завтра будет веселей.

18.06.2012 г.

* * *

Поэзия – последняя
Любовь моя

Я все забыл,
Дышу лишь ею,
Я сдался в плен
И ямбу, и хорею
В укор годам,
О чем я, право,
Не жалею.

В моем укромном уголке
Я слаб – немного не в себе,
Но сладкозвучные слова
И день, и ночь,
И до утра,
И как божественный
Наказ – Поэзия.
Моя любовь
В последний раз.

Поэзия – любовь моя
В твой шелк
Волос
Цветок в плету
И песню
Тихую свою
Лишь для тебя
Одной спою.

29 ноября 2012 г.

* * *

*Черный вечер
Белый снег
Ветер, ветер
На ногах не стоит человек
Ветер, ветер*

А. Блок

Иных миров, иных созвездий
Трансцендентный чувств поток
Воплотил в своей поэме
Великий гений Александр Блок.

2012 г.

Частушки

* * *

Перестройка подползла,
Мысли враскорячку,
Нагишом плясать пошла -
Потеряла пачку.

* * *

Ксивы наши отобрали
И вручили паспорта
Знать, мы раньше лохи были,
А теперь мы господа.

* * *

Комсомольцы-добровольцы,
Абрамович впереди,
Мы за ними строим встали -
Коммунисты позади.

* * *

Были девки голосисты
И приличные вполне,
Нынче ближе жмутся к трассе,
Вить готовы при луне.

* * *

Мы в космические дали
На колене при луне
Лихо шлепали детали,
В космос годные вполне.

* * *

Перестройка, перестрелка.
Стоп! Итоги подведем.
Мы горды – хоть голодранцы,
Что разрушили свой дом.



Василий ДЕНИСЮК

Мама

Мне не хватает слов, их мало,
Сказать сейчас тебе во сне,
Что ты, моя родная мама,
Была одна лишь счастьем мне!

С тех пор, как ты ушла, я больше
Не видел счастья и на миг...
И только в снах молюсь, чтоб дольше
Я видел твой родимый лик!

Ты и во сне, в заботах снова,
Шьешь мне рубашку, варишь суп...
Но лишь в дневник взглянешь сурово -
Хватаюсь тут же я за зуб.

И гнев твой, мама, утихает,
Моя «боль» перешла к тебе!
И моя хитрость побеждает -
Ты «боль» мою взяла себе!

...Иду туда, где явь жестока,
Где не проходит сердца боль...
На край могилы одинокой
Кладу я розы пред тобой!

Порожек

Как давно мне это все не снилось:
Мама и лицо сестры моей.
Доброта людей и Божья милость
И еще - бег вороных коней!

Помню поле, а за полем - речка -
Это я прощался с детством грез...
Хорошо, что путь далекий, млечный
Не увидел в это время слез!

Унесет все память остальное,
Но не стихнет колокол души...
И опять по полю - вороного
Буду гнать туда, где камыши!

Все вернуться только в снах и может,
Что-то мне готовит вновь судьба?!

Помню я родительский порожек,
За него шагнул я навсегда...

Я вернусь!

Мне от жизни только-то и надо,
Чтобы моя Родина была -
Счастлива, куда не бросишь взгляда,
И меня, не позабыв, ждала!

Знай, моя родная Украина, -
Я твой сын и тем горжусь всегда...
Где б я ни был - все мне есть чужбина.
Ты, как мать мне, - счастье и судьба.

Ты прости, что я учился жизни
Вдалеке, где нет вишневых выюг...
И не раз я пил на горьких тризнах
В память о друзьях, ушедших вдруг!

Я вернусь, чтоб отчий край увидеть,
Повлажнеют вмиг твои глаза...
Только ты не покажи обиду,
Чтоб не предала меня слеза!

Но лишь скинут травы утра блески
И заря покажется вдали,
Я пойду к родительским погостам,
Поклонюсь от сердца до земли!

Понедельник

Не потому, что понедельник
День трудный - так все говорят.
Моя душа скорбит смертельно
О душах праведных ребят,
Которых нет сегодня с нами,
Они погибли без вины
И с переменными ветрами
Погосты заняли страны!
Ничто не радует сегодня
Ни вдов их и ни матерей.
Страна, что названа свободной,
Почти забыла сыновей...

Людмила НОВИКОВА

Ода Петергофу

Петергоф! Ты рождён, чтоб стать отзвуком Славы,
Ты воздвигнут Петром в честь Российских побед.
Выход к морю открыт. И героям Полтавы
На морском берегу - твоих парков букет!

Блеск скульптур золотых, водопадов каскады,
Роскошь дивных дворцов и прозрачность прудов...
Здесь - волшебных фонтанов живая прохлада.
Так блистай, весь в цветущих садах, Петергоф!

Твой могучий Самсон – символ мощи державы.
Здесь царит русский дух, гордость русской земли.
Процветай, Петергоф! Твой собор величавый
Освещает собою владенья твои.

Несравним ты ни с чем, Петербургское чудо!
Ты в руинах лежал, но из пепла воскрес.
Пусть всегда красота твоя радовать будет,
И салюты твои - достают до небес!

Ода Петербургу, Ленинграду

Мой город, я тобой гордилась и горжусь!
Мне повезло к тебе судьбою прикоснуться.
И если от тебя вдали я нахожусь,
Мечтаю об одном - опять сюда вернуться.

Любимые черты! Прекрасен облик твой –
Изысканность дворцов, ажур решёток сада
И взлёт мостов в простор над тихою Невой,
И белый свет ночей с их свежеею прохладой.

Как красоту свою сумел ты сохранить?
Ты пережил войну. Ты выстоял в блокаду.
Твой гордый подвиг свят, его нельзя забыть:
Нет в мире городов, подобных Ленинграду!

Для жителей твоих история семьи
У большинства была затронута войною.
В могиле братской спят здесь родичи мои –
На Серафимовском засыпаны землёю.

Они отдали жизнь, но город не был взят!
Он кровью истекал, но не желал сдаваться.
Нет в мире городов таких, как Ленинград.
И память вечная погибшим ленинградцам!

Я поклоняюсь тем, кто смог все пережить,
Кто всё перетерпел. Но, боже, как их мало!
И как же надо нам беречь их и любить –
Им столько от судьбы страданий перепало!

Уходят старики, чтоб звёздами гореть.
Но детям говорить о подвиге их надо.
С тем, чтоб могли, гордясь, они на мир смотреть:
«Да, петербуржцы мы! Да, мы – из Ленинграда!

Ода Дворцу бракосочетания №2

(ул. Фурштатская, 52)

К 50-летию Дворца в 2013 году

Старинный дом на улице Фурштатской
Когда-то был особняком купца.
Сюда приходят браком сочетаться,
Под сводами прекрасного дворца.

Невеста в белом свадебном наряде
Стоит, как статуэтка из фарфора.
Жених стоит, торжественно-параден,
Их мужем и женой объявят скоро!

Лежит в его руке её рука...
Пусть им судьба пошлёт хороших деток!
Бокал шампанского в дразнящих пузырьках
Поднимем за простое счастье это.

Ах, сколько пар влюблённых было тут
И по судьбе теперь шагает вместе,
Деля друг с другом радость и беду,
И жизнь слагая, как слагают песню.

Несётся в будущее времени река.
Их волосы немного побелеют...
Но всё ж они сюда наверняка
Придут отметить праздник юбилея.

Так пусть сердцами властвует любовь
И радостно сияют милых лица!
И истину вдруг открываешь вновь,
Что жизнь дана, чтоб в детях возродиться!

ЕВГЕНИЙ СМОЛЯКОВ

Пришельцы

В ночной безмерности пространства
Лишь блёстки малые видны.
К наивной радости мещанства
Мы во Вселенной не одни.

По сути, мы островитяне.
Таковыми нас замыслил Бог.
Ведь во вселенском океане
Земля – всего лишь островок.

Взгляни вокруг не из оконца
На эту твердь,
 где ты живёшь:
Обласканный лучами солнца
Мир удивительно хорош!

Ничем Господь нас не обидел.
Но,
 сея сумеречный мрак,
Творенья Божьего обитель
Атаковал извечный враг.

Ещё в эдемовые кущи
Заброшен был его десант.
С тех пор стремится
 хлеб насущный
К своим рукам прибрать мутант.

Своё оставили потомство
Лазутчики с иных планет.
Тиранство их и вероломство
Для всех землян источник бед.

И,
 совместив в одной оправе
Кровосмешенье и разбой,
Судить себя считают вправе
Кто высшей расы, кто изгой.

Вовсю бесчинствуют пришельцы,
Им красоты земной не жаль.
Дымятся страны-погорельцы,
Кто следом – ёжатся, дрожа.
Не потому ли, в самом деле,
Они наглей день ото дня,

Что держит Землю на прицеле
Их межпланетная родня?

А слабый сильного боится,
И бедолаге невдомёк,
Что надо всем объединиться
И гнать паршивцев за порог.

Зло понавластвовалося вдосталь,
Но,
 чтоб не сникла благодать,
Грядёт тринадцатый Апостол
Перед толпою пострадать.

2013 г.

На берегах Непрядвы

*Неправда рядится под правду,
Но встреча сойдутся их пути.
Кому-то первому Непрядву
Придётся всё же перейти.*

Е.С.

Мне было счастье Родину любить –
Ту,
 что осталась вписанной в анкете, –
Которую стараются забыть
Или представить в самом ложном свете.

Теперь она ко мне приходит в снах
Поверх легенд, хулы и поношений.
Там лучшие остались на полях
Невиданных в истории сражений.

Они встают –
 лишь только позову,
Чтоб отвести беду иль суд неправый.
Вот только жаль,

 что вижу наяву
Другие лица и другие нравы.

Другие –
 из напористых ребят,
Что камушек за пазухой держали, –
Вскарабкались повыше норвят,
Отбросив тень на прошлое Державы.



ЕВГЕНИЙ РАЕВСКИЙ

Я жизнь прожил не славы ради

(о творчестве русского поэта Евгения Смолякова)

Вынося в заголовок своей статьи строку «я жизнь прожил не славы ради» ..., мне хочется отметить, что жизнь и творчества поэта и гражданина Евгения Смолякова ярко продолжают, и если взять за основу ветвь, то ветвь творческого древа нашего автора в цвету и плодоношении.

Достиг предельного накала
Я в обличительных словах,
Звучанья скорбного металла
В рождённых горечью стихах.

От поэтического бреда
Свободна каждая строка.
Здесь воплощенье ищет Credo
В ущерб изыскам языка..

(из книги «Айсберг»)

Больно читать такие строки, но такие вот наступили времена: поэзия, королева красоты и ритма, обязана выполнять и другие функции.

Великий английский сатирик Джонатан Свифт говорил: «Как человека можно распознать по обществу, в котором он вращается, так о нём можно судить и по языку, которым он выражается».

Одна из книг Евгения Смолякова именуется «Обретение Родины» и лучшие произведения этой книги наполнены особым откровением и мудростью. Стихотворение «Богатырь», посвященное внуку Ярославу, мне хотелось бы процитировать полностью.

*Позабилась пичуги под стреху,
Замер свист Соловья в стороне:
Выезжал Богатырь на потеху
В чисто поле на добром коне.
Он в седле восседает упряго:
Ладно скроен да крепко пошит;
Острове́рхий шелом, да кольчуга,
Да блестит позолоченный щит.*

*Не страшны ему вороги злые,
Что пришли наши нивы топтать.
Испытают их дерзкие выи
Как крепка богатырская стать!
Пусть навстречу разбойничьи трели
Да ордынцев стремительный шквал, –
Кладенец и калёные стрелы
Сокрушают врагов наповал.
Тех, кто мир и добро не приемлют,
Ждёт жестокий погубительный бой.
И поганые Русскую Землю
Обходили тогда стороной ...
Пролетели века, словно вехи
Вдоль дорог, где свистал Соловей.
Снова Русь для великой потехи
Созывает своих сыновей..*

Далее не нужны какие-либо комментарии, ибо позиция и судьба Поэта ясна и неоспорима, к тому же настоящие поэты обладают даром предчувствия и, пожалуй, предвидения.

По большому счёту, судьба Родины – главное, что волнует поэта, и он находит поэтические образы, остро и точно характеризующие как «события семейного масштаба», которые «становятся историей страны», так и само Время, в котором мы живём.

*Мы успели отнюдь не на бал.
Кавардак в этом зале остылом.
Раздобревший, как хряк, Капитал
Нас встречает зажравшимся рылом.*

*Мощь свою промотали мы в дым,
Да нависла над миром усушка.
И теперь предстоим перед ним
Только мы – и пустая кормушка...*

*Как ни крась Капитала портрет,
Его хищный оскал узнаваем.
Мы вернулись назад на сто лет:
Что посеяли, то пожинаем!*

(из книги «На крутых поворотах»)

Такие строки присущи только истинно русскому человеку – большому патриоту России.

Что-то от русского фольклора, от русской былинности пронизывает всю поэтическую эпопею члена Российского межрегионального союза писателей Евгения Смолякова. Как говорил великий русский полководец и военный теоретик Александр Васильевич Суворов: «Возьми себе в образец героя древних времён, наблюдай его, иди за ним вслед, поравняйся, обгони – слава тебе!»

Действительно, в личности Евгения Смолякова есть нечто от былинных персонажей. Его поэзия звучит над нашей грешной землёй, вопрошая:

*Каких нам надобно призывов!?
Поэт, как врач, не зван, когда
Больной стране меж рецидивов
Ещё неведома беда.*

(из книги «Айсберг»)

Как боец на ринге, поэт мгновенно реагирует на выпады его духовных противников.

*Нам заморские гости уже
Говорят, не смутясь, без оглядок,
Что в загадочной русской душе
Нет и не было вовсе загадок...*

Его оружие – великий русский язык, и озаботившимся «реформой вечно живого языка» он заявляет:

*Но нет, народ не немеет
И слово острое, как меч,
Во дни беспамятства сумеет
От заржавления сбересть.*

(из книги «Айсберг»)

Как сказал великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев: «Музыка – это разум, воплощённый в прекрасных звуках», – а я люблю музыку в поэзии.

*А в старом парке над Невой
День завершается погожий.*

*Упавшей под ноги листвой
Шуршит задумчиво прохожий.*

*Заботы лета упраздня,
Осенний сон сулит природа.
А сердце исподволь теснят
Печаль и таинство ухода.*

(из книги «За водой живою»)

Или:

*И на берегах студёной Леты
Я не испытываю страх:
Остались времени заметы
В душой исторгнутых стихах.
Пусть хлынет дождь,
и ветер взвоят,
Порвав исписанный листок, –
Не всё волной холодной смоем,
Но что-то вдавится в песок!
И археолог новой вахты,
Что в смену нынешней грядёт,
Мои стихи, как артефакты,
В пыли забвения найдёт.*

(из книги «Иду на Вы»)

Эти яркие строки звучат очень музыкально и многообещающе. Жизнь ещё не прожита, она в самом разгаре. Думаю, что у прекрасного русского поэта Евгения Смолякова всё ещё впереди, потому что его стихи исполнены задумчивостью, предельной искренностью, философской глубиной и точностью метафор.

Так что ждём новых произведений поэта, новых книг, встреч и свершений!



Наталья ВЕСЕЛОВА

Домашние ангелы Ольги Поляковой

Если бы иконописец – тогда нечему было бы и удивляться. Но художник Ольга Полякова, доцент кафедры рисунка Академии художеств, не пишет икон. Тем не менее, ангелы – ее постоянные персонажи и обитатели мастерской, и, что удивительно, мы можем не только видеть их в «традиционном» виде огнеликих юношей с крыльями, но и словно угадывать в чертах живых людей на графических портретах.

Но обо всем по порядку. Вот, например, серия цветных литографий «Ангелы». Два из них – «Ангел-Хранитель» и «Ангел-Утешитель» предстают перед нами такими, какими художник видит их, когда они охраняют и утешают ее сыновей. Здесь ангелы – не юноши, а взрослые мужи, опекающие мальчиков. И неважно, что мальчики эти давно и сами отцы: соотношение «человек – ангел» всегда неизмеримо, и именно это Ольга подчеркивает для нас снова и снова. А вот «Ангел, поднимающий колокола в Ферапонтово»: здесь он снова привычный нам юноша, смиренно сложивший крылья, ростом выше самой колокольни. Тяжелый колокол он поднимает пальцами: кому, как не ему под силу поднять *невидимый* простым, не художнику принадлежащим взглядом, колокол? «Монастырская аллея» из той же серии показывает нам ангельскую стражу, которую можно только духовно угадать: ангелы стоят вдоль аллеи среди деревьев, и кто-то пройдет мимо, ничего не почувствовав, а кого-то охватит трепет...

Но могут ангелы взглянуть на нас и в образе человека с портретов работы Ольги Поляковой. Я имею в виду, прежде всего, два из них, в технике итальянского карандаша: «Искусствовед Наталья», где изображена простая земная женщина – но с потусторонним просветленным взглядом, и «Реставратор Виталий» - портрет мужчины, которому не хватает только доспехов воина знаменитой рати Михаила Архистратига. Не имеет значения, что в земной своей сущности эти люди, как и все,

возможно, далеки от идеала, который мы видим на портретах. Важно, что художник умеет разглядеть в своей модели лучшее и передать это, изображая ее. «Любить человека – значит видеть его таким, каким его задумал Бог, и не осуществили родители», - написала когда-то М. Цветаева. Те портреты, о которых я говорю сейчас, наглядно показывают нам, как сильно художник может любить свою модель, сколько собственных душевных и духовных сил может он вложить в образ иногда совершенно постороннего, едва встреченного на жизненном пути человека. Эти портреты, как и многие натурные рисунки, были выполнены Ольгой минувшим летом во время рабочей поездки в Кижы, и, конечно, несут на себе отпечаток благодатной атмосферы этого уникального северного острова с его хотя и рукотворными, но, все же, будто с небес сошедшими церквями.

Еще два графических портрета, о которых хочется сказать особо: это «Блокадница» и «Портрет скульптора Новикова». Первый из них изображает бабушку Ольги. Горький взгляд изможденной пожилой женщины направлен на фотографию мужа, которую она держит в руках. На картине ангел зримо отсутствует, но бабушка изображена на фоне большого тяжелого креста – того, что выпало ей нести всю жизнь, не без помощи невидимого ангела, конечно... На втором мы снова видим ангела воочию: он водит руками скульптора (тоже блокадника, стоит заметить), находящегося в состоянии творческого подъема, и незримо руководит им, свидетельствуя о небесном происхождении каждого истинного творческого импульса...

Возвращаясь к теме Кижей в творчестве Ольги Поляковой, нельзя не упомянуть ее полотно в технике холст/масло, названное ею «Петр и Павел». На первый взгляд, ничего особенного: крестный ход вокруг сельской церкви, причем, действие происходит не позднее второй половины девятнадцатого века... Но вдруг мы видим первоверховных

апостолов Петра и Павла – среди молящихся! Да, так же смиренно, как и при земной жизни, молятся они Богу в день собственного праздника в толпе обычных смертных людей. Здесь и сама Ольга со своим мужем, художником Вячеславом Поляковым, и священник, что служит в наши дни в Кижях, и жители Кижей в национальных русских костюмах, как это принято на острове, а среди них, как ни в чем ни бывало – Кирилл Поляков, давно умерший прадед Вячеслава, служивший камер-казаком императрицы Марии Федоровны - ее *Ангел-Хранитель*...

Воистину – «Живые с мертвыми. У Бога мертвых нет»...

Еще одному циклу цветных литографий «Достоинства и недостатки» я бы добавила подзаголовок: «Аллегии». Такой способ иносказательного отражения моральных и нравственных ценностей еще в Средние века практиковался художниками, особенно западных школ, но незаслуженно был подзабыт к началу двадцать первого века. «Живот и смерть», «Радость и скорбь», выполненные в стиле, близком к русскому лубку, - особенно наглядны. Пара новобрачных, только что изпод венца, еще с венчальными иконами в руках, устремлены в высокой красной колеснице к вершинам жизни и счастья, их конь до *поры до времени* попирает ногами отвратительное костистое чудище – Смерть. Восемь девушек радостно водят хоровод вокруг щедро усеянного плодами дерева, под ногами у них снова лежит темный монстр – Скорбь, до *поры до времени* бессильная. Чудовища не особенно огорчаются своему временному поражению: они знают, что на земле побеждены Жизнью и Радостью лишь временно и еще успеют взять свое – и у беспечных пока супругов, и у несмышленных еще девушек...

Очень заинтересовали меня еще две литографии из серии «Жест». Та и другая изображают Божественную длань: одна из них – «Благословляющая», а другая – «Останавливающая бурю». Для атеиста это тоже, конечно, аллегии, человек же *нормальный* знает: изображено то, что есть на самом деле, просто скрыто от любопытствующих или недоброжелательных глаз. Зато открыто – сердцам. Тем, которые могут и хотят принять. Ведь мы

действительно, сами не задумываясь об этом, ходим под такой благословляющей дланью каждый миг – иначе далеко бы не ушли – и именно примерно вот такой запрещающий жест мгновенно останавливает любую бурю – и традиционный девятый вал, и нашу личную, житейскую...

Художник тем и отличается от других людей, что ему дано видеть внутренним взором и воплощать в конкретных образах то, что обычно человек не замечает или даже отрицает по неведению...

И в заключение снова взглянем на портреты. На этот раз перед нами, кажется, графика девятнадцатого века: мы видим казаков в полной казачьей форме. Но нет, это наши современники: «Виктор Олеференко», «Илья Иваныч» - обратите внимание, не Иванович, а именно Иваныч! – и совсем уж просто: «Сережа». Казак Сережа – такое тоже бывает, когда все эти люди, молодые и видевшие жизнь, суровые и добрые, - свои, родные и близкие, чью жизнь и душу можешь свободно читать в их глазах, чтобы потом перенести их образ, запечатлевшийся в сердце, на картон с помощью простого итальянского карандаша...

Настоящий художник – это касается любых сфер искусства – всегда более или менее трагическая фигура. Пишет ли он, как Ольга Полякова, в реалистической манере свору преследующих зверя легконогих борзых или, наоборот, заставляет нас увидеть под особым углом зрения обыкновенные нектарины – с ярко-синими акцентами на круглых боках – всегда, даже на самых радостных цветах или лицах счастливых людей лежит словно бы легкий оттенок непреходящей грусти. Мне кажется, это оттого, что художник тоньше других людей чувствует красоту утраченного человекам Рая, и тоска по нему заставляет его всякий раз, изображая земной мир, снова и снова чувствовать его беспомощность и несовершенство.

Ольга как раз из таких мастеров и, выходя из ее мастерской, всегда уносишь с собой и едва слышимый шелест ангельских крыл, и чей-то всезнающий взгляд с карандашного портрета, и светлую уверенность в том, что человек рано или поздно все равно обретет снова свой потерянный рай.

Алексей ВОРОНОВ

В соавторстве с Олегом Игнатьевым, Народным артистом Бурятии, лауреатом Государственных премий России и Бурятии, лауреатом международных конкурсов балетмейстеров

Заботясь о завтрашнем дне

В 2013 году исполнилось 275 лет Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, подарившей нашей стране целое «созвездие» прославленных хореографов, известных преподавателей и великих танцовщиков, успешно работавших (и продолжающих работать) во многих странах мира. В 1995 году указом Президента РФ Академия имени Вагановой была отнесена к особо ценным объектам культурного наследия народов России. В Петербурге продолжается подготовка к установке памятника Агриппине Вагановой, методика преподавания которой сегодня признана во всём мире. Однако сегодня прославленное учебное заведение и его недавние выпускники сталкиваются с целым рядом серьёзных проблем – как, впрочем, и вся отечественная культура в целом.

Академия имени А.Я. Вагановой – старейшее из всех ныне действующих учебных заведений Российской Федерации. Она была основана в Санкт-Петербурге 4 мая 1738 года по указу императрицы Анны Иоанновны как «Танцевальная Ея Императорского Величества школа». Вскоре после подписания указа, в специально оборудованных комнатах Зимнего дворца началось обучение 12 русских мальчиков и девочек под руководством французского танцмейстера Жан-Батиста Ланде (именно он и был инициатором создания танцевальной школы в столице Российской Империи). Впоследствии, уже в годы правления императрицы Екатерины II, танцевальная школа вошла в состав Санкт-Петербургской театральной школы (позже переименованной в училище).

В советское время нынешняя академия не раз меняла своё название и статус. Так, в 1928 году она стала называться «Ленинградский хо-

реографический техникум». В 1937 году техникум был преобразован в училище, которому в 1957 году было присвоено имя Агриппины Вагановой – великого педагога, первого профессора хореографии, преподававшей в нём с 1921 года (последний выпуск её класса состоялся в 1951 году). В 1961 году училище стало академическим, а в 1991 году получило современное название.

Всего за прошедшие 275 лет из стен академии вышло более 5 тысяч выпускников. Многие из них впоследствии стали выдающимися мастерами сцены, с именами которых связаны расцвет и всемирное признание русской балетной школы. В разные годы её выпускниками были Авдотья Истомина и Лев Иванов, Матильда Кшесинская и Михаил Фокин, Анна Павлова и Татьяна Карсавина, Вацлав Нижинский и Фёдор Лопухов, Леонид Лавровский и Вахтанг Чабукиани, Константин Сергеев и Наталья Дудинская, Галина Уланова и Татьяна Вечеслова, Леонид Якобсон и Аскольд Макаров, Ирина Колпакова и Юрий Соловьёв, Рудольф Нуреев и Михаил Барышников, Юрий Григорович и Олег Виноградов... И сегодня на афишах балетных спектаклей, идущих в разных уголках планеты, можно увидеть набранные самыми крупными буквами имена Ульяны Лопаткиной, Фаруха Рузиматова, Михаила Лобухина и других выпускников академии, творчество которых относится уже к нашему времени.

Столь блестящий результат во многом объясняется тем, что многие из педагогов, преподававших в училище, не только в совершенстве владели методикой обучения танцевальному искусству, но и стремились максимально раскрыть каждого ученика, учитывая его индивидуальные особенности (достаточно вспомнить, что будущая народная артистка СССР Н. Дудинская в годы учёбы поначалу

считалась «неперспективной», однако впоследствии, благодаря педагогическому таланту А.Я. Вагановой стала подлинной звездой отечественного балета). В XVIII столетии это были европейские балетмейстеры и танцовщики А. Ринальди, Ф. Хильфердинг, Г. Анджиолини, О. Пуаро, И. Канциани (именно он установил в школе специальные методы обучения танцу, соответствовавшие требованиям европейского балета после реформ Ж. Новерра), а также А. Казасси – автор реформы 1792 года, предусматривавшей начальное обучение воспитанников всем зрелищным искусствам (танцам, пению, драматическому театру), и далее – специализацию по одному из них, в зависимости от способностей и достигнутых результатов. На рубеже XVIII-XIX вв. в школе работал первый русский балетмейстер Иван Вальберх, среди воспитанников которого была знаменитая танцовщица и драматическая артистка Евгения Колосова.

С 1801 года в Петербурге начал работать французский хореограф Шарль Луи Дидло, вскоре ставший художественным лидером русского балета. На протяжении 20 лет он преподавал в театральной школе (преобразованной при нём в училище), и его деятельность во многом предопределила дальнейшее развитие отечественного хореографического искусства вплоть до 1917 года. К числу наиболее заметных реформ Ш. Дидло относится, прежде всего, включение русской балетной педагогики в систему классического танца на пуантах, а также: отделение обучения танцовщиков от подготовки артистов других видов искусств, разделение дисциплин на три основных цикла (специальный, вспомогательный, общеобразовательный), установление семилетнего срока обучения, выработка основных принципов приёма учащихся и их аттестации. На протяжении XIX века большой вклад в развитие отечественной балетной педагогики внесли также шведский танцовщик и балетмейстер Пер Христиан Йогансон, на протяжении 40 лет совмещавший работу в училище с постановками в Мариинском театре; французский хореограф Артюр Сен-Леон, возглавлявший императорский балет в Санкт-Петербурге и одновременно работавший с артистами в Па-

риже ~~2012~~ опере. В 1855-1887 гг. в училище преподавал великий хореограф Мариус Петипа, с именем которого связана целая эпоха в истории русского балета второй половины XIX столетия. На рубеже XIX-XX вв. ведущими педагогами училища были Павел Гердт, Николай Легат, итальянец Энрико Чекетти, а также реформатор отечественного балета Михаил Фокин, поставивший для учеников несколько спектаклей, в том числе знаменитую «Шопениану».

Если в первой половине XX века ведущим специалистом училища в области женского танца по праву считалась Агриппина Ваганова, то в области мужского классического танца самым выдающимся педагогом был Владимир Пономарёв, воспитавший А. Ермолаева, Р. Захарова, Л. Якобсона, В. Чабукиани и других прославленных танцовщиков и хореографов. Один из его учеников, народный артист СССР К. Сергеев возглавлял училище с 1973 года на протяжении почти 20 лет; именно он в 1991 году стал первым президентом Академии имени А.Я. Вагановой. В 1992-1998 гг. академию возглавлял народный артист России Игорь Бельский – выдающийся хореограф, в своё время окончивший учёбу в Перми, куда училище было эвакуировано в годы Великой Отечественной войны. Рядом с ними трудилась целая плеяда великих педагогов – А.И. Пушкин, Н.А. Зубковский, Г.Н. Селюнский, С.С. Каплан, Б.В. Шавров, В.Г. Семёнов... Свидетельством признания выдающихся заслуг училища стало его награждение в 1988 году орденом Ленина; тогда же, по случаю 250-летнего юбилея прославленной школы был учреждён Всесоюзный балетный конкурс «Ваганова-ргix», впоследствии получивший статус Международного. В январе 1995 года вышел Указ Президента РФ о включении Академии имени А.Я. Вагановой в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а в 2007 году, в преддверии 275-летнего юбилея, началась её реставрация, ныне практически завершённая.

Однако последние два десятилетия «постсоветской» истории сложились для отечественного балета (как и для всей отечествен-

ной культуры в целом) весьма драматично. По сути, русскому классическому искусству пришлось вновь, как и в начале XX века, доказывать свою состоятельность перед новыми «хозяевами страны». Раньше этими хозяевами были красные комиссары, многие из которых сгорали от нетерпения поскорее сбросить всю эту «старорежимную рухлядь» с революционного корабля. Теперь на смену им пришли апологеты так называемой «рыночной экономики», многие из которых (особенно в самом начале 1990-х гг.) на вопрос журналистов о том, что им больше по душе, опера или балет, отвечали: «Виктюк». В конце концов, классическое искусство выстояло – однако понесло довольно серьёзные потери.

Многие специалисты в области балетного искусства (да и просто искушённые зрители) отмечают, что в последнее время всё меньше выпускников академии по-настоящему ярко проявляют себя на театральных подмостках. Особенно это заметно среди представителей мужского классического танца, где за последние 10 лет по-настоящему ярко проявили себя только В. Шкляр на Мариинской сцене и М. Лобухин, ныне блистающий в Большом театре. Да, конечно, есть и другие ведущие солисты – в частности, А. Попов в Михайловском театре или К. Иоанесян в Мариинском – однако исполняемые ими партии не дают в полной мере раскрыться их дарованиям. В то же время в академических балетных труппах Санкт-Петербурга всё заметнее становится творческое лидерство солистов – выпускников Киевского и Минского хореографических училищ. Д. Матвиенко, Л. Сарафанов, И. Колб, И. Васильев – все они являются выходцами из Украины и Беларуси. Отчего же молодым солистам - недавним выпускникам вагановской академии подчас оказывается не так-то просто заявить о себе?

Не секрет, что успех начинающих артистов на большой сцене во многом зависит от их подготовленности не только в профессиональном, но и в индивидуально-личностном плане. И здесь определяющую роль в их судьбе играет личность педагога, лепящего из своих питомцев будущих творцов. Во всех видах искусства мы находим массу примеров,

когда не самые известные художники, артисты или хореографы блестяще реализовывали себя именно на педагогическом поприще. Так, на рубеже XIX-XX столетий в петербургской Академии художеств преподавали многие выдающиеся живописцы того времени, включая И.Е. Репина. Однако наибольшее число признанных мастеров кисти в то время выпускалось из класса, которым руководил не самый великий художник, но бесспорно великий педагог - профессор П.П. Чистяков. Современники говорили, что он «выпекает» знаменитостей, как блины, - достаточно вспомнить, что именно его учеником был Михаил Врубель, ныне часто величаемый «Русским Ван Гогом серебряного века». В 1970-80-е гг. в ЛГИТМиКе (такую аббревиатуру носил тогда театральный институт в Ленинграде) самыми престижными считались актёрские и режиссёрские классы, которыми руководили народные артисты СССР Г.А. Товстоногов, И.П. Владимиров и И.О. Горбачёв, возглавлявшие известные в городе театры. Но большинство будущих «звёзд» отечественного театра и кино, занимавшихся в то время в старинном особняке на Моховой улице, были учениками других профессоров – Л.Ф. Макарьева, А.И. Кацмана, В.В. Петрова, А.А. Музиля... Эти и другие замечательные педагоги, работавшие тогда в театральном институте, возможно, не имели такого авторитета в театральном мире, как их более именитые коллеги. Но они обладали предельной самоотдачей в работе со своими учениками; без устали отдавали им все свои силы и знания, не считаясь со временем.

Вагановское училище также славилось великими педагогами, которых во все времена в нём было немало. Однако за последние четверть эта «эстафета традиций» в петербургской балетной педагогике начала прерываться с уходом многих выдающихся преподавателей, которым не всегда находилась достойная замена. Большинство действительно незаурядных хореографов и педагогов сегодня всё чаще уезжают за границу, а преподавательские кадры в отечественных балетных школах и хореографических училищах формируются по «остаточному» принципу (то же самое, впрочем, относится и ко многим другим твор-

ческим вузам России – это наша общая беда и общая боль). А ведь настоящий педагог обязательно должен иметь за своими плечами громный багаж профессионального опыта, которым он обязан щедро делиться с учениками, передавая им собственные знания, навыки и ощущения. Его «сверхзадача» - не просто появляться на занятиях лишь для того, чтобы «отбыть» положенные им две пары по предмету «классический танец», а жить и гореть этим, стремиться выявить всё самое лучшее в своих питомцах.

Постановкой концертных номеров для учащихся сегодня нередко занимаются лица, не имеющие никакого балетмейстерского образования и даже понимания музыкальной, хореографической драматургии, не знающие законы построения хореографических номеров. В результате такого подхода, многие замечательные постановки, когда-то созданные профессорами-вагановцами специально в расчёте на учебную программу (как например, «Фея кукол» в редакции К. Сергеева) сейчас или вовсе забыты, или используются преподавателями выборочно, по своему усмотрению. Например, прекрасные хореографические номера, в своё время созданные Л. Якобсоном, сегодня используют в педагогической работе только его бывшие ученики А. Стёпин и В. Сергеев – остальные как будто «в упор не видят» творческого наследия прославленного мастера. Стабильно в репертуаре держится лишь «Щелкунчик», где средней школе делать нечего. Ученикам остаётся или 5 лет подряд танцевать мышей (огромный творческий рост – ничего не скажешь!) или вообще не участвовать в спектакле.

Если говорить о мужском танце, то сегодня у вагановской академии появилась ещё одна серьёзная проблема – нехватка педагогов-мужчин. Не секрет, что мужской и женский танцы имеют свою специфику, которую педагоги и балетмейстеры должны учитывать в своей практической деятельности. Однако в последнее время женскому танцу в академии уделяется явно больше внимания, чем мужскому. Возможно, это связано с тем, что во главе прославленного вуза в настоящее время стоят женщины – народная артистка России

Алтынай Асылмуратова, осуществляющая художественное руководство академией с 2000 года, и Вера Дорофеева, избранная ректором в 2004 году. Даже работу педагогов с учениками сегодня в академии контролирует женский методист (а не мужской, как в Москве).

Одним из наиболее мощных стимулов, способствующих повышению творческого роста учащихся, является их участие в международных конкурсах. Уже сама подготовка к такого рода конкурсу - это тот мощный рычаг, который может поднять все внутренние резервы ученика, вдохновить его на творчество и работу. Не будем забывать, что будущие солисты балета начинают профессиональное обучение ещё в детском возрасте, чаще всего не по собственному желанию, а по воле родителей. В таких предлагаемых обстоятельствах очень сложно сохранить мотивацию к профессии, если ученики на протяжении 9 лет лишь вычищают станок и немного, в конце урока, занимаются техническим арсеналом. Они должны реально понимать, к чему должны стремиться, как этого добиваться.

В настоящее время Международный балетный конкурс «Ваганова-prix», учреждённый в 1988 году и регулярно проходивший один раз в 4 года, академией не проводится (надеюсь, что временно). Последний раз он состоялся в 2006 году, после чего организаторам пришлось взять длительный «тайм-аут» из-за начавшейся реставрации зданий академии. Взамен юные вагановцы участвуют в других конкурсах (например, в «Гран-при Михайловского театра», проводимом с 2009 года), и даже получают на них призы – однако в целом конкурсной практики для нынешнего поколения воспитанников прославленной академии всё-таки недостаточно.

В то же самое время в Киеве и Минске сегодня продолжают творить такие замечательные педагоги как А.И. Коляденко и Н.И. Денисенко, которые непрерывно «ваяют» звёзд – в том числе за счёт того, что систематически готовят своих учеников к различного рода конкурсам. Этот принцип «конкурсной состязательности» приводит к тому, что ученики творчески растут вне зависимости от достигнутых результатов. Не в этом ли основная причина

повышенной востребованности выпускников киевской и минской хореографических школ в современном петербургском балете?

Впрочем, несмотря на все издержки современной системы образования (характерные не только для балетных училищ, но и для всех творческих вузов «постперестроечной» России), выпускники вагановской академии сегодня по-прежнему «нарасхват», их наперебой приглашают в самые известные отечественные театры. И если на большой сцене у них не всегда получается «раскрыться», по-настоящему ярко заявить о себе – то это во многом связано с ситуацией, складывающейся в отечественном балетном театре.

Всего «каких-нибудь» полвека назад из вагановки один за другим выпускались танцовщики, одни из которых становились настоящими «бриллиантами» русского балета (М. Барышников, В. Панов, Ю. Соловьёв, Р. Нуриев), другие – замечательными мастерами танца, оставившими после себя обширное творческое наследие (Б. Бланков, С. Кузнецов, Н. Ковмир, С. Викулов, С. Вихарев, Ф. Рузиматов и др.). Сегодня таких же ярких звёзд из недавних выпускников, как говорится, «раз, два, и обчёлся». При этом с точки зрения чисто профессиональной они выглядят ничуть не хуже, а порой даже и лучше своих великих предшественников. Ведь за последние десятилетия техника танца ушла далеко вперёд – и сегодня, к примеру, молодые В. Лебедев и А. Плом, выступающие в Михайловском театре, выполняют сложнейшие элементы, которых в помине не было в творческом арсенале Р. Нуриева и других великих танцовщиков той эпохи.

Конечно, большую роль в рождении новой «звезды» играет личностное начало молодого исполнителя (или, как сейчас принято говорить, его «харизма»). Однако для того, чтобы начинающего артиста по-настоящему хорошо узнали, а вслед за этим и полюбили (если он, конечно, этого заслуживает) – нужна максимально открытая информационная среда. В советское время, когда в театре, помимо платных представлений, систематически устраивались так называемые «целевые» просмотры для различных предприятий, организаций и

учебных заведений, а лучшие балетные спектакли и танцевальные номера регулярно показывались по телевидению, для молодых исполнителей были созданы все условия, обеспечивавшие максимальную творческую самореализацию. Конечно, не всё было так уж ровно и гладко (достаточно вспомнить выдающихся мастеров танца, которые по прихоти чиновников на долгие годы становились «невыездными»), однако нельзя не признать очевидного – балет в те годы действительно был великим национальным достоянием, в самом прямом смысле.

Одной из причин, по которым отечественный балет сегодня во многом теряет завоёванные ранее позиции, является некомпетентность многих руководителей театров. В советское время существовала распространённая практика, по которой директорами творческих коллективов чаще всего становились партийные функционеры, отставные военные или так называемые «искусствоведы в штатском». Помимо чисто хозяйственных забот и дел, в их обязанности входило присматривать за слишком «вольнлюбивыми» режиссёрами, дирижёрами или хореографами, осуществлявшими художественное руководство данными коллективами. До тех пор, пока в театрах работали действительно выдающиеся мастера – «шаткое равновесие» между двумя ветвями власти более-менее сохранялось. Однако с наступлением так называемой «рыночной» эпохи, настоящие творцы один за другим стали уходить из обнищавших, разорённых «храмов Мельпомены», и чаще всего – отнюдь не по собственному желанию.

Отечественными балетными коллективами сегодня чаще всего распоряжаются оборотистые коммерсанты, порой слишком буквально понимающие тезис об «элитарности» этого вида искусства. В результате такого подхода, многие наши соотечественники сегодня не могут себе позволить пойти в театр на балет из-за непомерно высоких цен на билеты. Телевидение тоже не ахти какой помощник – за исключением канала «Культура», балету в телеэфир путь заказан по причине низкого рейтинга (проще говоря – из-за отсутствия интереса со стороны потенциальных рекла-

модателей).

В последние годы балетные театры всеми силами стремятся заполучить как можно больше зарубежных хореографов, желательно «с именем». Однако работа с ними также не всегда способствует творческому росту молодых исполнителей. Дело даже не в том, что многие премьерные спектакли, выпускаемые на нашей сцене заезжими «маэстро», уже давным-давно отыграны за границей. Главная проблема заключается в другом - сегодня отечественный балет занимает в мировой иерархии место, принципиально отличное от того, которое занимал в XVIII или XIX столетиях. Тогда европейская хореография была заметно впереди – и приезжавшие в Россию танцмейстеры действительно совершали благое дело, приобщая отечественный балет к лучшим достижениям мировой танцевальной культуры. Сегодня русская школа классического танца получила общемировое признание, занимая лидирующее положение в мировом балете.

Однако многие зарубежные хореографы, ныне работающие в России, не очень-то считаются с традициями отечественного балета, с особенностями русской хореографии и исполнительского мастерства. Нередко они фактически заставляют артистов, занятых в их спектаклях, переучиваться заново, объясняя это тем, что русский балет находится «вне контекста», и чтобы исправить эту досадную ошибку, его нужно срочно «европеизировать» или «американизировать». Подобная «ассимиляция» с Западом неминуемо приводит к заметному снижению уровня отечественного балета (под шумок всё тех же разговоров о необходимости «подравнивания» под общий контекст).

Оказавшись в подобных условиях, многие по-настоящему талантливые молодые исполнители предпочитают не тратить понапрасну времени в родных пенатах и прямиком отправляются за рубеж, где русская балетная школа и ныне в почёте. Именно так поступили, например, В. Шишов, ныне с успехом выступаю-

щий в Вене, или С. Попов – один из самых талантливых балетных премьеров Европы, уже четыре года блистающий на сцене Большого театра Варшавы и за это время получивший титул «Шопен польского балета». На первый взгляд, в родном Петербурге их балетная карьера складывалась вполне благополучно. Однако, как признался в своём недавнем интервью тот же С. Попов, в Мариинском театре он не получал тех партий, о которых мечтал, и не чувствовал возможности творческого роста. Ведь если артист ни к чему не стремится, то развитие и творческая жизнь у него заканчиваются. А возможности совершенствования у исполнителя происходят с выходами на сцену, с исполнением разных партий. Конечно, в балете, как и в других видах искусства, успех приходит только в результате упорного труда. Однако даже самому усердному и трудолюбивому танцовщику необходимо дать реальную возможность проявить себя, раскрыть своё дарование. А реальность сегодня такова, что во многих странах молодому исполнителю подобный шанс даётся гораздо быстрее, чем на родине.

И всё-таки, несмотря на все «горести, заботы и треволения», переживаемые сегодня русским балетом, мы верим в то, что традиции отечественной хореографии, создававшиеся несколькими поколениями великих мастеров танца, не пропадут, не исчезнут бесследно. Ведь сегодня в отечественных балетных школах по-прежнему не иссякает поток желающих приобщиться к самому волшебному из всех зрелищных искусств. И кто знает – может кому-то из тех, кто сейчас готов в любое время дня и ночи заниматься с горящими глазами, не отходя от станка, действительно удастся в недалёком будущем сказать своё слово, оставить свой след?.. Да, сейчас это очень трудно – однако для настоящего художника во все времена не существовало лёгкой жизни. А проблемы – они были, есть и будут. Без этого не обойтись.

Валентина ФЕДОРОВА

От отца к сыну - труд, утверждающий совершенство

(По следам памятной выставки, посвящённой скульптуру В.Г. Козенюку в сентябре 2012г. в Выставочном зале Детской библиотеки истории и культуры Петербурга, ул. Марата, дом 72.)

Узнав о выставке, проводимой в Детской библиотеке истории и культуры Петербурга, после заседания секции поэзии в РМСП, я спешила попасть на её открытие.

Выставки, проводимые в Белом зале, были хорошей новостью и главным событием в городе. Художники и скульпторы ждут долгой очереди, чтобы ознакомить горожан со своим творчеством именно в этой библиотеке.

Она занимает часть бывших парадных помещений квартиры директора-распорядителя Торгово-промышленного товарищества Ф.Г. Бажанова и А.П. Чувалдиной.

Под именем Дома Бажанова библиотека известна среди специалистов и любителей творчества, является памятником архитектуры Федерального значения и представляет значительный интерес для знатоков и ценителей искусства.

Что же меня там ожидает?!.. С трепетным сердцем и волнением вхожу

*...по мраморным ступеням,
Мимо памятных картин.
Иду вперёд, ловя мгновенья.
Хорош в майолике камин.
Здесь люстры блещут в восхищенье...*

В Белом зале этого здания часто устраивались выставки, концерты, творческие встречи, праздники, лекции, обзоры книг и многое другое.

В День памяти святого благоверного князя Александра Невского 12 сентября открылась выставка из семейной коллекции в цикле «Петербургские творческие семьи», посвящённая 15-летию со дня кончины скульптора Валентина Григорьевича Козенюка (1938-1997), в

творчестве которого образ А.Невского занимает особое место..

Выставку открыла заведующая библиотекой Мира Львовна Васюкова. Подготовила и подробно осветила творчество Валентина Григорьевича его жена Наталья Геннадьевна Коршунова. Горячо, со страстным обсуждением его работ выступили коллеги, друзья, подробно рассказавшие о создании особенно сложных композиций.

Интеллектуальному посетителю эспозиции нужна внутренняя тишина. К этому располагает Белый выставочный зал библиотеки, высвечивающий все шедевры искусства.

Слева портрет скульптора Валентина Григорьевича Козенюка, со своей знаменитой работой - памятником Александру Невскому.

Взгляд невольно и требовательно уводит по периметру стен зала, где выставлены скульптуры. В центре льются потоки света. Обращаю внимание на множество вздыбленных коней.

Образ Александра Невского является центральным в творчестве скульптора.

Валентин Григорьевич автор пяти памятников Александру Невскому, устроенных в Петербурге, Пушкине, Петрозаводске, Усть-Ижоре, с. Кобыльном Городище (на берегу Чудского озера), а также проекта памятника «Родители провожают отрока Александра Святославовича на княжение в Великий Новгород» для г. Переяславль-Залесского. Эти работы, объединённые единой стилистикой и трактовкой образа, создают целостную скульптурную иконографию святого князя, отмечают памятные места его подвигов на северо-западе России.

Бронзовая конная статуя святого благовер-

ного князя установлена на площади носящей его имя. Конная статуя возвышается на пьедестале из розового гранита. Всадник облачён в кольчугу и шлём, с плеч ниспадает плащ. Великий князь восседает на лошади. В его облике сила, дающая покой окружающим, и власть, вселяющая надежду на свою страну, отражающая в сознании народа символ русской мощи и мужества.

Валентин Григорьевич в своей плодотворной деятельности на протяжении всей жизни работал в разных жанрах пластического искусства. Скульптор участвовал в создании больших мемориальных комплексов, посвящённых Отечественной войне: «Холм славы» у Ивановских порогов (1967), мемориал Воинской и трудовой славы пензенцев в годы Великой Отечественной войны» в г. Пензе (1975). Эти работы символизируют духовную основу русской жизни. Его чуткая и добрая душа бесконечно любит русскую землю, любит её людей.

Излюбленной темой являлся мир сказок и былин. Образ Микулы Селяниновича положен в основу величественного памятника «Первопоселенцам на Пензенской земле» (г. Пенза, 1980).

В его творчестве конь обязательный герой русских былин, без которого немислим поэтический образ русских богатырей, охранявших родную землю. В народном творчестве изобразительного искусства конь являлся символом мужества и благородства. Валентин Григорьевич успешно создавал конные композиции на тему сказки А.С.Пушкина «Руслан и Людмила», обращался к бурятскому эпосу, к образу богатыря Гэсэра, летящего на коне, в произведении «Великая степь» и т.д. В монументальных композициях, украсивших фасады зданий в Петербурге, «Электроника» (1976), «Дедал и Икар» (1982) скульптору удалось точно передать состояние полёта своих героев. Валентин Григорьевич обращался к мифологическим сюжетам античности, в которых находил отзвук современной жизни. Так появился целый цикл работ, связанный с этой классической традицией: «Театр» (1972),

«Талия, Тепсихора, Мельпомена» (1985), «Прометей» (1979), «Нарцисс», «Эхо» (1989).

От скульптур не оторваться, так бы смотрел и смотрел на эти творения. Но надо двигаться дальше. Впереди ещё много интересных работ скульптора, открывающих новые страницы его творчества.

На выставке собрались настоящие ценители искусства, вспоминая этапы творческого пути Валентина Григорьевича, его гражданскую позицию, направленную на сохранение национального русского искусства, его высокую требовательность к самому себе.

Для формирования действительности скульптору удалось выработать монументальный жанр, его идеальную форму, представленную нам во многих композициях, где нет ничего лишнего, сжато пространство и время. Реальность представлена во многомерном объёме, выявляющем её духовную суть.

Двадцать лет Валентин Григорьевич преподавал в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. В.И.Мухомовой, в лучших традициях воспитал не одно поколение молодых скульпторов. Его профессиональными советами могли пользоваться все окружающие: учёные, друзья, ученики.

На выставке представлены работы сына скульптора Григория Козенюка. Выросший среди работ своего отца и много взявший от них, молодой художник старался найти свой путь в искусстве. Его дипломной работой в художественном училище им. Н.К. Рериха стал портрет отца, который представлен за главным делом своей жизни - работой над конным памятником Александру Невскому. Это произведение является данью памяти отцу, большому художнику, прошедшему непростой жизненный и профессиональный путь.

Молодому скульптору удалось точно передать портретные черты Валентина Григорьевича, уловить характерное движение рук, поворот головы, создать образ, наполненный жизнью.

Слепующая работа - «Банщица». 2011 г. Фарфор.

Григорий стремился быть верным природе в

изображении стройного женского тела. Сколько в этом образе возвышенности и невинности. Скульптор продолжает классическую традицию в трактовке фигуры, тонко моделируя её поверхность. И в то же время, вносит элемент лёгкого юмора - изображая подбоченившуюся девушку с баннным веником в руке.

Далее «Художник и модель». 2010 г. Керамика.

Это вечная тема в искусстве, к которой обращались многие мастера. Молодой скульптор по-новому раскрыл этот сюжет, художник внимательно рассматривает модель, изучает её черты. Модель сосредоточенно позирует. Но её портрет, над которым работает художник, является неким гротеском на живую женщину, отражая современные тенденции в искусстве.

«Портрет Ани». 2010 г. Керамика.

Скульптурный портрет Ани представляет великолепный образец реалистического женского портрета. Милое и светлое лицо девушки излучает тепло. Скульптор создаёт целостный образ, через пластику передавая эмоциональное состояние своей модели.

Скульптурные работы самой Анны Васильевой (ныне жены Григория) на выставке проведенной годом ранее в этом же Белом зале, вызвали у посетителей живой интерес: «Дон Кихот» (бронза), «Рыбоваза» (керамика), «Горный Козёл» (дерево) и другие. Эта умная и талантливая девушка получила высокую оценку не только посетителей, но была

отмечена наградой.

Григорий Козенюк и его жена Анна - студенты Художественно-промышленной академии им. Штиглица (бывшего Мухинского училища).

На выставке, кроме скульптурных работ, представлены костюмы уссурийского казачества как Валентина Григорьевича, так и совсем маленький костюм его сына Гриши. Валентин Григорьевич родился в городе Уссурийске Приморского края в казачьей семье. Яркая казачья самобытность сочеталась в нем с внутренней тонкостью и одухотворённостью художника. Казачью составляющую выставки продолжило выступление казачьего хора, исполнившего любимые песни Валентина Григорьевича.

На выставке я внимательно всматривалась в каждую скульптуру, одного из самых сложных и тонких видов искусства. Она зажигает сердца, задаёт тон подрастающему поколению и возродит новых мастеров.

Не повезло тем, кто не смог побывать на выставке. Они лишили себя того, что могли бы решить не одну творческую задачу.

Радость, рождённая творчеством Валентина Григорьевича Козенюка, останется в моей памяти. Могу только поздравить всех нас с появлением в русском искусстве гениальных по содержанию и форме скульптур.

Во всех работах хороший вкус, а хороший вкус всегда остаётся на высоте - не умирает. Эти работы бессмертны.



Иван ИЛЬИН

Древнерусский хмельной мед

В Древней Руси СТАВЛЕННЫЕ питейные мёды выхаживались (ферментировались) на хмелю до 15 лет. СЫТНЫЕ белые мёды выхаживались 3 – 5 лет.

Преобразование свойств продуктов под действием ферментов, а более точно «ферментация» (fermentation) - биохимический процесс, при котором органические вещества, преимущественно углеводы, разлагаются под действием ферментов с выделением химической энергии. В качестве примера может служить спиртовое брожение (alcoholic fermentation), при котором ферменты дрожжей способствуют разложению сахара на этиловый спирт и углекислый газ.

Ферментацией получают большинство пищевых продуктов, таких как хлеб, пиво, уксус, квашеную капусту, лимонную кислоту. Ферментацией профессиональные повара смягчают жесткое мясо, используя фермент актолизин, содержащийся в самом мясе.

В «Домострое» есть рецепт о том, как «СЫТИТЬ» мёд. Мёд разбавляют тёплой водой в пропорции 8:1, к смеси добавляют измельчённые шишки хмеля (15гр на литр) и несколько раз доводятся до кипения. Напиток заливают в бочки, и он постепенно сбраживается (ферментируется) с помощью хмеля. Процесс длится несколько лет. Готовый напиток процеживают, дают несколько дней отстояться и осторожно сливают с мутного осадка.

Медовый напиток сам выхаживается до алкогольной крепости только 14,5 градусов, а дальнейшее брожение крепости напитка не повышает, а даёт только обильную пену. Если этот мёд заливать в бутылки, то он вышибает пробки или стекло ломается. А у бочек лопаются железные обручи. Сейчас в Коломне есть заводик по производству хмельного мёда, организованный от храмов Кремля. Чтобы остановить процесс образования пены, готовый мёд купажируют спиртом до крепости в 16 – 18 градусов. Бактерии брожения погибают и выпадают в осадок.

СТАВЛЕННЫЕ и СЫТНЫЕ мёды пили

князя, бояре и высшие церковные иерархи, а простой народ, то есть смерды, пили МЕДОВУХУ. Ставили бродить брагу на дрожжах или даже на закваске, и чтобы отбить запах сивушных масел, в готовую брагу добавляли мёд. Сивухи в медовухе было много, а мёд только уменьшал запах, но вредные для здоровья сивушные масла в напитке всё равно оставались.

В молодости я работал в Институте Высокмолекулярных Соединений АН СССР. Я занимался органической химией – ингибиторами и катализаторами. (Ингибиторы замедляют химические реакции, а катализаторы их ускоряют). Работал с разными спиртами – этанолом, метанолом, бутанолом и пр., а также с их производными. Когда для рыцарских пиров военно-исторического клуба «Княжеская дружина» мне потребовалось приготовить хмельной мёд, то времени в несколько лет для его выхаживания у меня, конечно не было. Я решил использовать свои знания современной химии, вместе со знанием классического способа изготовления хмельного мёда в древней Руси, для ускорения процесса ферментирования хмельного мёда.

Решение оказалось совсем простым. Я придумал разводить мёд не водой, а сухим белым вином, которое уже прошло стадию ферментации и созрело. В этих естественных растительных продуктах нет никакого принципиального противоречия. Это ведь цветы-ягоды. А хороший мёд имеет такой сильный собственный вкус и аромат, что совершенно заглушает привкус винограда. А хмельные мёды были разные – царский, дружинный, монастырский, княжеский. Разница заключалась в разных ароматических добавках. Добавляли корицу, гвоздику, перец, имбирь и пр., а следовательно, небольшой привкус винограда классическому мёду не противоречит.

Но сухое вино имеет крепость только 9-12 % алкоголя. Напиток пришлось купажировать спиртом до 16-18 % крепости, как это делают и на заводике в Коломне, где питьевой мёд де-

лают классическим способом с созреванием в несколько лет.

После довольно длительных экспериментов удалось разработать удачную технологию и правильные пропорции мёда, вина и спирта.

Пропорции и технологический процесс:

Белое сухое вино – 1,5 л

Мёд – 2/3 стакана

Спирт – 1 стакан (спирт должен быть высокого качества)

Вино выливаем в 3-литровую стеклянную банку, но 2 стакана отливаем в маленькую кастрюльку, куда добавляем мёд. Вино с мёдом ставим на небольшой огонь и помешивая доводим до кипения. Кипятим 3-5 минут. Растворённый в вине мёд выливаем в банку к остальному вину и закрываем крышкой. Когда смесь остынет, вливаем в неё стакан спирта и перемешиваем. Выливаем напиток в 2-литровую прозрачную пластиковую бутылку, завинчиваем пробку и ставим вниз пробкой в стеклянную банку. Напиток получается несколько мутноват, так как в составе мёда присутствуют плохо растворимые компоненты (производные от пчелиного воска). В течение недели в процессе стабилизации напитка муть оседает. Вверху остаётся чистый мёд, прозрачный как слеза, светлого желтовато-зеленого цвета. Внизу - 10-15 % мутного осадка, который, разумеется, нельзя взбалтывать. В доньшке перевернутой пластиковой бутылки шилом прокалываем отверстие для доступа воздуха. Потом осторожно, чтобы не взболтать, приподнимаем бутылку и чуть-чуть отвинчиваем пробку. Весь осадок по капле стечёт в банку. Пробку завинтить и готовый напиток перелить в красивую посуду. (Мутный осадок полезен и пригоден для домашнего употребления.)

У меня было несколько бутылок классического хмельного мёда, которые привёз из Коломны вице-президент Всероссийского Общества пчеловодов Герольд Александрович Богданов: «Царский», «Дружинный», «Княжеский», «Монастырский». Я собрал друзей и устроил дегустацию. В одинаковые бокалы налил разный мёд и наклеил на них бумажки с номерами. В закрытый конверт положил список, под каким номером, какой мёд налит. Свой мёд я назвал «Александр Невский» или просто «Невский». Никто не усомнился, что в одном из бокалов налит не классический напиток, а мой самодельный. Некоторым друзьям мой мёд понравился даже больше остальных.

Не пьянства ради, а во здравие и усладу!
«Веселие Руси питии», - сказал Святой князь Владимир.

P.S. Наверное, во времена Пушкина ещё помнили о том, что в торжественных случаях, на Руси пили пенный хмельной мёд из круговой братины.

*...Ковши круговые запенясь шипят
На тризне плачевной Олега.
Князь Игорь и Ольга на холме сидят,
Дружина пирует у берега.*

(«Песнь о вещем Олеге»)

*...Не скоро ели предки наши,
Не скоро двигались кругом
Ковши, серебряные чаши
С кипящим пивом и вином.*

*Они веселье в сердце лили,
Шипела пена по краям,
Их важно чашники носили
И низко кланялись гостям.*

(«Руслан и Людмила»)



Геннадий СЕРОВ

Родина, где мы живем

*Времена – времена,
дороги – дороги,
по ним и сейчас
топают ноги.*

Живу я в Великом Городе – Санкт-Петербурге, но родился в Ленинграде. Так и написано в паспорте “Место рождения - Ленинград”. Наш город расположен в устье реки Невы. Нева – быстрая река, она одна вытекает из Ладожского озера и бежит с большой скоростью (средняя скорость течения 0,8 – 1,1 м/сек). Нева в переводе с финского языка это – болото, а по шведски «ню» значит новый. Эти два понятия долго спорили между собой но в конце концов, они оба верны. Бассейн Невы находится в заболоченной местности. После ледникового периода она стала новой рекой. Начинает свой путь Нева от Шлиссельбургской губы Ладожского озера и тянется до устья, при впадении Большой Невы в Невскую губу у Невских ворот Санкт-Петербургского торгового порта. Длина её составляет 74 км от истока до устья, а по прямой - 45 км.

Город Шлиссельбург расположен в истоке реки Невы. Вначале это была крепость Орешек (в 1323 году) на небольшом Ореховом острове (размером всего 200 на 300 м), построенная великим князем московским Юрием Даниловичем, внуком Александра Ярославовича Невского, чтобы оградить Новгородские земли от усилившейся экспансии шведов. Крепость представляет собой вытянутый многоугольник с семью башнями. Шлиссельбургская крепость на 200 лет превратилась в политическую тюрьму. Все заключённые были освобождены 28 февраля и 1 марта 1917 года.

Санкт-Петербург также начинался с постройки Петропавловской крепости, построенной 27 мая 1703 года на Заячьем острове (по фински – Енисаари). Крепость имеет форму шестиконечной звезды, в которую вошли шесть мощных бастионов, образующих единую оборонительную систему. В центре построен собор, который служил усыпальницей

царствующего Дома Романовых. Уже в XVIII веке крепость стала местом заключения государственных преступников, а в XIX веке – главной политической тюрьмой России.

Исторически получилось так, что Нева связала две крепости, два каземата.

Вдоль левого берега Невы шёл тракт, который соединял эти два объекта.

Я рассказываю это потому, что мы с соседями стали чуть ли не археологами, ну конечно в кавычках, но так уж получилось.

Тракт шёл вдоль Невы. Если сейчас посмотреть на карту, то он пролегал под всеми мостами и выходил с проспекта Обуховской обороны на Рыбацкий проспект, далее переходил в Советский проспект, потом втекал в Шлиссельбургское шоссе, которое сейчас пересекает посёлки Металлострой, Понтонный, Корчино, Сапёрный и дальше через Ивановскую, Павлово на Неве, Отрадное, Кировск – доходил до Шлиссельбурга. На Рыбацком проспекте находился посёлок рыбаков (в XVIII - Рыбная, или Рыбацкая слобода). Поселение располагалось между речками Мурзинкой и Славянкой. В 1716 году по указу Петра I, сюда из деревень, расположенных по берегам Оки, были переселены рыбаки, которые поставляли рыбу для столицы. В 1788 году жители Рыбацкого добровольно сформировали морское ополчение для борьбы со шведским флотом в русско-шведской войне 1788-90 гг. В память об этом событии в 1789 г. в Рыбацком сооружён обелиск. Надпись на чугунной доске золочёными буквами гласит:

«Сооружён повелением благочестивейшей самодержавнейшей императрицы Екатерины Второй в память усердия Рыбачьей Слободы крестьян, добровольно нарядивших с четырёх пятого человека на службу её величества и отечества во время шведской войны 1789 г. июля 15-го дня».

Тракт пересекал речки - притоки Невы: с левого берега в неё впадала речка Мурзинка, затем Славянка, Ижора, Тосна, Мга. С правого берега втекали Охта и Чёрная речка.

Речка Мурзинка начиналась у северной окраины посёлка Петро-Славянки и проходила по границе мызы (хутора) Мурзинки (название получила в 1720 году) и посёлка Рыбацкого, впадала в Неву недалеко от сада «Спартак».

Шлиссельбургское шоссе идёт вдоль левого берега Невы, входит в посёлок Металлострой и упирается в реку Ижора. В устье этой реки стоит церковь Александра Невского, с памятником великому нашему предку. В этом месте в 1240 году он со своей небольшой дружиной новгородцев и ладожан напал на шведов, застав их врасплох, когда они при устье Ижоры остановились лагерем для отдыха, и разгромил их.

Впоследствии дорога была вымощена булыжником, далее она проходила через посёлок Понтонный. Указом Петра I от 19 февраля 1712 года в 23 верстах от С.-Петербурга на левом берегу реки Невы была создана понтонно-мостовая рота в количестве 36 человек.

Строительство новой столицы привело к возникновению вдоль русел рек Ижоры и Корчминки, впадающих в Неву, кирпичных заводов. Земли современных посёлков Понтонный и Сапёрный (в XVIII веке это сельцо Вознесенское и деревня Новая на берегу Невы) вошли в состав Ивановской волости Шлиссельбургского уезда Санкт-Петербургской губернии. В XVIII веке они были пожалованы Петром I майору лейб-гвардии Преображенского полка, ближайшему сподвижнику царя, первому русскому инженеру Василию Дмитриевичу Корчмину, имя которого осталось в названии одного из микрорайонов Понтонного Корчмино (бывшее село Вознесенское). После его смерти село Вознесенское (Корчмино) и деревня Новая (всего 2569 десятин земли) в 1737 году отошли к князю А.Н.Черкасскому. В 1743 году его владельцем стал граф П.Б.Шереметьев, получив его в качестве приданого жены Варвары, дочери князя Черкасского.

С Рыбацкого тракт тянулся через посёлок Понтонный, Корчмино, пересекал Сапёрную, далее через Ивановскую, Отрадное, Павлово на Неве доходил до Шлиссельбурга. И в наше

время в посёлке Понтонный располагался понтонный батальон (сейчас стоит часть МЧС). По весне, после прохода ладожского льда, здесь проходили ученья – наводили понтонный мост через Неву. Переправа проходила с левого берега между посёлками Понтонный и Сапёрный до посёлка Свердлово, расположенном на правом берегу Невы. В Сапёрной также находился батальон, который состоял из трёх рот для фортификационных, дорожно-мостовых и минно-подземных работ.

К чему я так долго подбираюсь? А просто мы живём в посёлке Корчмино.

Назван наш посёлок в честь Василия Дмитриевича Корчмина (1671-1729 гг.) – ближайшего сподвижника Петра Великого. Он был главным царским инженером, ключевой фигурой в петровской армии: одним из создателей лучшей артиллерии своего времени (как рода войск, в том числе конной и корабельной артиллерии), конструктором пушек и новых видов вооружения (изобретателем боевых ракет и огнёмёта), мастером фортификации и осадного дела, участником многих петровских батальонов (при этом трижды был ранен). Василий Корчмин был военным разведчиком; ведущим пиротехником и создателем фейерверков, организатором, продюсером грандиозных шоу («аллегорических феерических театрумов»). Он также был гидрографом, пионером в поиске и создании новых водных путей; промышленником (создателем частных предприятий, работающих на оборону).

В 1726 году Василий Дмитриевич стал генерал-майором лейбгвардии Преображенского полка, в 1928 году - кавалером ордена св. Александра Невского.

На 7-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге стоит памятник Василию Корчмину, рядом с метро Василеостровская. Он изображён сидящим на пушке с трубкой.

Через наш посёлок проходит Лагерное шоссе. Ещё при «царях-правителях» сюда летом выезжали войска в летние лагеря. Офицеры квартировались в домах жителей посёлка, а рядовые располагались в палатках.

На берегу Невы между посёлками Понтонный и Сапёрный находится предприятие Водоканала. Это первый городской водозабор, так как наши посёлки относятся к городу.

По посёлку Сапёрный, раньше, протекал

чистый ручей (когда-то это была речка Корчминка), исток его находился в лесных болотах за железнодорожной линией. Весной к нам в ручей заходила щука метать икру, попадалась минога, было много ондатры. Как только сходил снег, а лёд покрывала талая вода, мы садились на санки, ноги вытягивали вперёд, чтобы не замочить и, отталкиваясь лыжными палками, пускались в поход по льду до самой Сапёрной. Водоканал постепенно развивал своё хозяйство: строил новые цеха, отстойники, котельную, а воду, которая не соответствует ГОСТу начал сбрасывать в ручей. Ручей заилился, зарос, появилось новое русло из песка. Песок используется в фильтрах для очистки воды.

Когда мы были ещё пацанами, то видели, как копали новый котлован для забора воды на нашем крутом берегу. Сверху мы смотрели, как там, на дне, работал экскаватор. Он был очень маленький, а котлован очень глубокий, ниже дна уровня Невы. Стены котлована укреплялись бетонной опалубкой, которая сверху постоянно наращивалась новыми слоями. Экскаватор снизу подкапывал под стояком землю и её краном вытаскивали наверх. Глубина котлована нас поражала. Водоканал отсюда качал воду в Колпино, Пушкин, Рыбацкое. Старые магистрали уже не справлялись, и, время от времени, добавлялись новые «нитки» трубопроводов.

Ещё в детстве мы стали свидетелями таких раскопок. Трубопровод проходил мимо наших домов, вдоль улицы. Когда траншея для трубопровода перешагнула ручей и, направившись в нашу сторону, вышла на бугор, на уровень нашей улицы - то из неё начали высыпаться бутылки разной формы. У меня

до сих пор хранится бутылка с изображением казака и надписью «Красная Бавария 1836 год».

Оказалось, на этом месте была кузница с трактиром. Экскаватор копал траншею, а когда он заканчивал, мы шли ковыряться в земле, надеясь найти что-нибудь интересное.

Сосед нашёл там старинную монетку, но это было так давно, много воды с тех пор утекло. Мы все выросли, но, оказывается, азарт к поискам и кладам не иссяк. Появилась новая доступная техника, миноискатели с программным управлением, которую можно настроить на разные сорта металла. Мой ближайший сосед достал такую дорогую игрушку и просканировал ею поляну. Он находил старые гвозди, подковы, но когда спустился в небольшой овраг, где проходила труба Водоканала, стали попадаться пяточки и ложки. Азарт подогревал воображение, и лопата в его руках работала как экскаватор. Наверху бугра были разбиты грядки, где его жена выращивала элитную клубнику и землянику. Края этого огородика были окаймлены кустами малины. А мой друг, как заядлый шахтёр, вкапывался всё глубже в край оврага, в конце концов получила целая пещера.

Азарт затуманил разум, и он стал похож на крота.

Однажды вечером его жена пошла поливать клубнику и вместе с грядкой, лейкой провалилась в пещеру. Клубника погибла, а мой друг услышал о себе такое, о чём никогда и подумать не мог.

После этого раскопки прекратились. Азарт погас, но может, он проснётся и тогда вновь пойдёт шахтерская работа.

Вот так мы и живём, в нашем Корчмино.



Галина ТАРАСОВА

На святом источнике батюшки Серафима

Ночь. Тишина. Легкий туман поглощает звуки и сливает детали пейзажа, выделяя главное: звездное небо, стену леса, освещенные пробивающимся с трудом сквозь влажный воздух желтым светом фонарей - дорогу, часовню, мосты и - небольшое озерцо с малыми теремами-купальнями... Душа пред его красотой трепетно замирает, а сознание пребывает в недоумении от невозможности разобраться - где сказка, а где быль, и как в детстве, глядя на всё это пред тобою сущее, защищается одной фразой: «Такого не бывает!».

Но активная деятельность бывалых паломниц, деловито и быстро (надо к шести часам успеть на службу в Дивеево!) достающих из колодца ведра со святой водой и разливающих ее по множеству привезенных с собою бутылей - подтверждает, что все происходящее - реальность нашего суетного, порой бессмысленного и страшного 21-го века. И сейчас я окунусь в эту реально-внереальную «сказку», причем буквально.

Стараюсь двигаться не суетливо, придавая быстроте движений спокойную размеренность. Хочется глазами впитать в себя все: покой природы, необычайную, словно молочную матовость воды, ее удивительную величавость (как у высокогорного озера), деревянные терема-купальни, женщин в рубашках и платках, готовых трижды погрузиться в ледяную (всего 5-6 градусов) воду святого источника. Признаться, в дороге я думала, что как-то уж слишком, перегиб какой-то - окунаться в воду в платках. Практический ум жителя мегаполиса отметал это, как излишнюю надуманность - надевать покров для трех мгновений, чтобы потом убрать мокрый предмет в пакет. Но душа уже внимала и запечатлевала в себе как драгоценное видение красоту женщин в белых рубашках и платках, не нарушающую, а подчеркивающую красоту и целомудренную величавость святого места.

И вот - неотвратимость преодоления страха перед ледяной водой. Переодеваюсь, стараясь сохранять самообладание и не выпускать наружу тихо пульсирующий внутри крик «Мамочка!» Успеваю восхититься Верой, которая так же деловито, как набирала воду в бутылки, уже выходит из купальни в прилипшей к телу сорочке...

Для себя я выбрала место на открытом пространстве озера. Подхожу, удивляюсь, что

вода хрустально прозрачна до самого дна (а глубина здесь больше моего роста!) Вижу рядом уже переодетую Веру и прошу: «Скажи мне что-нибудь хорошее!». Она, без промедления, слегка склонившись ко мне, скованно спускающейся по ступеням, запекает «Богородице Дево, радуйся!..». И тонкой струйкой в меня начинает вливаться решимость. Страх остается и увеличивается по мере ощущения отчаянной холодности воды, поднимающейся все выше и выше по телу, по мере моего погружения. Но эта, почти незаметно вливающаяся в меня сила, как-то деликатно, но уверенно и бодро поддерживает меня, позволяя самой справиться с этим страхом.

«Во имя Отца!» — едва помня себя, перекрещиваюсь и быстро погружаюсь. Ледяная вода смыкается над головой. Наверх — с усилием, чтобы не выскочить из воды совсем. «Во имя Сына!» — быстро, словно судорожно перекрещиваюсь и бросаю себя вниз, в воду, а затем стремительно наверх. И — произнося: «Во имя Святого...» — от момента касания лба при крестном знамении до касания левого плеча вдруг ощущаю покой и силу и уже не спешно, почти провозглашаю: «...Духа!» Размеренно погружаюсь в воду, выныриваю и спокойно поднимаюсь по ступеням... явно другим человеком. Хотя бы уже не тем — боязливым, а — преодолевшим страх и осознающим, и верящим, что теперь благодать святого места мне поможет... Благодарю сестру, певшую «Богородицу», все это время. Спасибо, Вера! Твоя помощь укрепила мою веру! Как важна молитвенная поддержка, оказанная вовремя...

Не спешу переодеваться в сухое, совсем не холодно! Замечаю, что небо приобрело красивый, глубокий сиреневый цвет, звезды исчезли. И вот, одетая во все сухое, с запасами чудесной воды в пластмассовых сосудах, я возвращаюсь к автобусу. По дороге благодарно прикладываюсь к образу дорогого батюшки Серафима. Какую мощь он оставил нам! Сколько силы! Его давно уже нет на земле, а сделанное им до сих пор живет и питает нас, слабых, живущих в безумном мире...

Небо стало светло-сиреневым. Душа моя тоже просветлела. Радость не ярка, но словно: «...после огня веяние тихого ветра. И там Господь!»

Ольга ПОЛЯКОВА

Памяти В.Г. Старова - художника, педагога, человека

*...Вот первый учитель мой входит – подтянут, неброского роста,
Идет не спеша, чуть вразвалку, совсем не похож на монаха.
Старов его звали, но странно - он был так далек от «Старова»,
От «старой» фамилии этой - он был воплощением жизни,
Далекой от слова «застой»! Слова командирского свойства
И юмор немного солдатский, (в нем что-то от Теркина было)
А между - лихая премудрость - процесс овладенья рисунком!
- По связям! - я слышу. - По связям! Рисуйте прицельно по связям!
Как снайпер, прицелься по цели... а между - лихой анекдот!
Спасибо, Владимир Георгиевич! За вольницу Вашу и строгость,
За юмор и неординарность, за Ваш несравненный урок!*

И. Сафронов, из баллады «Воспоминание об Академии»

В.Г. Старов был одним из первых учеников Средней Художественной Школы при Всероссийской Академии художеств. Фундамент его мастерства был заложен в школе юных дарований, и одновременно он вошел в удивительное СХШатовское братство талантливых, высокообразованных лихачей и жизнелюбов, которым все мы, выпускники СХШ, свято дорожим. Мы даже иногда говорим друг с другом на особом языке – том самом, которым говорили с нами наши педагоги – потрясающе честные, искренне любившие нас художники русской реалистической школы, идеалисты, знающие вкус Победы.

Преподавал Владимир Георгиевич очень эмоционально и артистично. В мастерскую всегда приходил вовремя – издали слышны были его быстрые, четкие, как дробь барабана, шаги – широко распахивал дверь в аудиторию первого курса графического факультета и начинал выкрикивать каждому свои замечания, с ужасом хватаясь за голову. Студенты моментально «просыпались» от своего заторможенного состояния, работы начинали «оживать», приобретать энергию... Он был честным педагогом, ко всем студентам от-

носился одинаково, терпеливо все объяснял, пока не добивался результата. Иногда садился и сам писал акварелью, комментируя сложные приемы, щедро делясь секретами своего великолепного мастерства. Конечно, у него были свои любимчики. Надеюсь, что я была в их числе – но лишь потому, что всегда смотрела педагогу в глаза (по его собственному выражению, «прямо как пистолет»), искренне доверяла учителю, разделяла его патриотические идеи, не считала жесткий метод преподавания обидным – как, впрочем, и большинство студентов. Старов не переносил вялости, лени, отсутствия внутренних принципов и достоинства, показной угодливости перед начальством.

Будучи настоящим бойцом, никогда не позволял он глумиться над своими духовными ценностями, четко знал границы, которые нельзя переступать, и всегда стойко давал отпор. Владимир Георгиевич был «неудобным» для коллег, говорил правду в глаза, не делал вид, что чего-то не слышит или не знает, не рассыпался в незаслуженных комплиментах, не избегал неприятных ситуаций в интересах собственного спокойствия.

Это был настоящий герой, и нас, студентов, он учил жить так же, часто досадуя, что мы уже не то поколение, многого понять не можем, не ценим каждый отпущенный нам момент жизни и творчества. Состояние счастья бытия, восторг и жажду побед он сумел воспитать в своих питомцах.

Старов – замечательный рисовальщик: в своих работах он никогда не прячет руки – во-первых, потому что он прекрасно рисует, и ему не приходится уходить от трудностей – да это и не в его характере, – а во-вторых, руки чрезвычайно ярко характеризуют образ и душевное состояние. Обратите внимание на руки в произведениях Владимира Георгиевича! Своих студентов он всегда учил тому же.

Старов мог бы стать замечательным писателем-публицистом. Подтверждением этому служат его статьи в защиту реалистического искусства. Владимир Георгиевич упрекал за то, что с молчаливого согласия «творческой интеллигенции» в залах Государственного Русского музея не только демонстрируются, но и закупаются в коллекции пошлые антихудожественные поделки. В статье «Русскому музею нужна дезинфекция» над глумлением над русским флотом на выставке «Власть воды», где были выставлены издевательские фотопортреты очень больших размеров, представляющие кривляющихся психически больных людей, одетых в форму капитанов и адмиралов, а также издевка-поделка: грязная консервная банка, проткнутая гвоздями под названием «субмарины» и т.д. На той выставке не было ни потрясающих полотен русских маринистов 19 и 20 веков, ни свидетельств преображающего, целительного таинства освящения воды, ни других произведений на эту тему, которых много в русском

искусстве.

По поводу выставки «Рисунок и акварель в России 20 века», которую все ждали как подведения итогов работы одной из самых сильных мировых школ рисунка и акварели, Владимир Георгиевич написал с сожалением: «Обман и профанация». Великолепные художники были просто «забыты», а само существование мощнейшей школы русского реалистического искусства в области рисунка и акварельной живописи – подвергнуто сомнению. Мне тогда стало очень стыдно, что все мы не дали решительный отпор гадости, пошлости, цинизму – и это еще один урок, преподанный нам всем нашим учителем.

«Старов никогда не приспособливался, не завидовал успехам коллег и не искал признания за границей. Тем более, что у успеха, в его современной интерпретации, далеко не всегда чистая родословная», - писал о нем Н.Н. Громов.

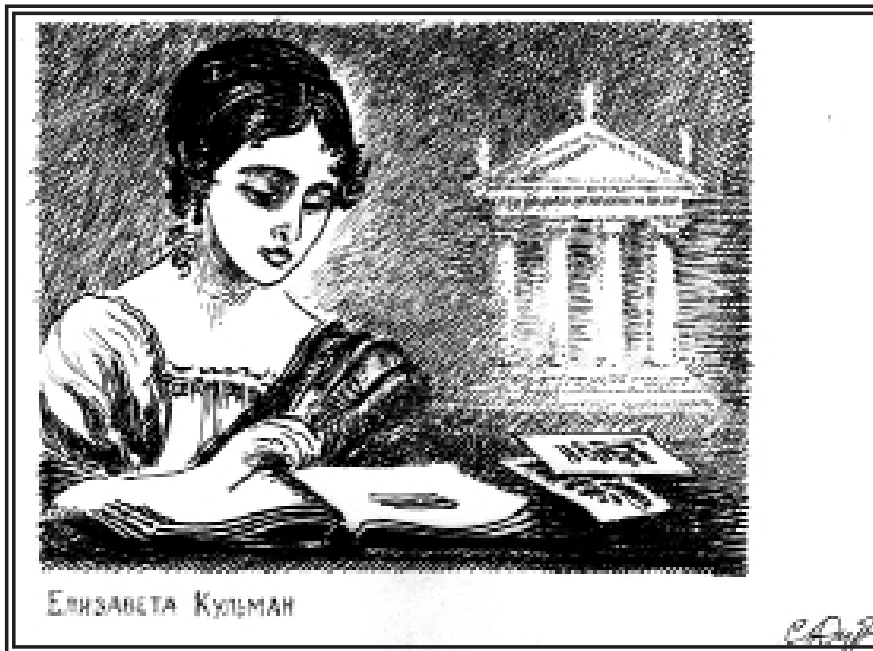
Сам же Владимир Георгиевич написал о себе так: «Да, я счастливый человек. Меня, солдата Великой Отечественной, шесть раз контуженного и раненного, пощадила судьба во время войны, не отвлекла от любви к искусству, от призвания, наделила радостным чувством Победы. И я счастлив как художник, потому что все годы, отпущенные для творчества, поступками и качеством исполнения работ старался равняться на избранные мною примеры того, как надо не только трудиться, но и сохранять честь и достоинство».

Именно у такого человека – счастливого, победителя, великолепного художника, мне выпало учиться. Его слова никогда не расходились с делами. Владимир Георгиевич Старов был героем как в искусстве, так и в жизни.



Софья ДУБОВСКАЯ

Вокруг старинной поэтической судьбы



ЕЛИЗАВЕТА КУЛЬМАН

Исключительность горячих денёчков начала мая. Поэтический вечер увлекает слушателей в путешествие поверх границ и таможен. Кругом всё обещает взаимопонимание. На краю весны, на пути к летнему теплу рисуется дорога не только вдоль и поперёк меридиана. Можно и во времени мчаться. Искать не долго. История одной поэтической судьбы в городе Святого Петра время от времени у всех на устах. Елизавету Кульман с одинаковым пристрастием ставят в один ряд и с нашими современниками, и с поэтами XIX века, её родного. О Е. Кульман говорили недавно на выступлении поэтов; без упоминания о ней и вечер был бы не так хорош. А сказав «А», тянет по алфавиту, как водится: сравнить две юности на расстоянии более столетия.

В каждом веке на небосклоне реальности вспыхивают необычайной концентрации звёзды. Такою в первой трети XIX века была Елизавета Кульман; «Дева света» - назвал её Вильгельм Кюхельбекер. Такою стала ленинградская художница Надя Рушева. Лиза прожила семнадцать с небольшим лет. Надя прожила семнадцать в середине XX века. Лиза

перевела Анакреонта на восемь языков. Надя иллюстрировала Шекспира, Рабле, Байрона, Лермонтова, Пушкина, Блока, Достоевского... Лиза писала по 100 строк в день – Надя оставила 10 000 рисунков. Они сыграли свои земные роли, выразили, обнаружили себя в художественных образах. Елизавета Борисовна Кульман родилась в 1808 году в Петербурге. Нам она поведала о своём житье-бытье (пер. Е. Дауговет): «...солнце /В лучах зари взойдёт /И мой убогий домик /Весь золотом зальёт!».

Единственной поддержкой в бедности её будней и наставником в литературе стал друг её покойного отца Карл Гросгейнрих, воспитатель детей графа Апраксина и графа Строганова. Знаток поэзии, многих языков, античности, он открыл перед Лизой мир творчества, достойный её дарования. Её пути – от Васильевского острова до Коломны, это при жизни, до кончины в 1825 году. Она простудилась во время наводнения, известного из «Медного всадника». Её не спасли. Могила её кочевала со Смоленского кладбища в некрополь Александро-Невской лавры. Лиза не увидела ни одной публикации своих стихотво-

рений. Впервые вышла книга «Пиитических опытов» в 1833г. Она безусловно верила в это, судя по её жизнелюбию и терпению, любви к природе и близким людям. Когда она выводила детской рукой: «Я избрала путь завидный, / Меня же смерть...Сияньем славы обведёт», она сознавала, что её стихи «будут тешить / На празднествах сердца и слух», она доверяла Будущему и Будущее откликнулось посвящением поэтов, музыкантов и художников.

23 августа 1855 года газета «Санкт-Петербургские ведомости» уведомила читателей об изданной в Берлине книге Егора фон Сиверса «Немецкие поэты в России», издание о 100 немецких поэтах, родившихся или живших в России. Среди них Елизавета Кульман. Два экземпляра этой книги хранятся в Национальной библиотеке Петербурга в отделе «Россика». Лиза владела одиннадцатью языками и писала на нескольких языках. Переводов её стихов на русский язык немного: «А я ведь и не тополь. И розой не была. / И мне ль бояться смерти, / Коль роза умерла?» (пер. Екатерины Дауговет).

В 1992 году двуязычная газета «St. Petersburgische Zeitung / Санкт-Петербургская газета» публикует шесть немецких стихотворений Кульман, среди которых «Номег» (Гомер) и «Самоепс» (Камознс), 1822. Названия говорят о благородстве устремлений девочки-поэта. В XIX и XX вв. её стихи издавались. Но издание готовят профессионалы. Такая работа у филологов. А серьёзное обращение к судьбе Кульман и её стихов у петербургской школьницы Алины Павловой объяснимо только по родству её семнадцатилетней души. Подружки! Такая же, как Лиза, юная мечтательница берёт на свои плечики труд изучения обстоятельств, которые окружали Лизу, способствовали – или мешали её таланту. Поиски, присущие ретро-событиям, приводят юного исследователя в дом коллекционера и наследника материалов этой темы. Среди портретных изображений Елизаветы Кульман наш молодой историк литературы встречает упомянутый выше номер Литературного приложения к газете SPZ со стихами Кульман и её графическим портретом, под которым проставлено имя художника. Это было моё имя. И надо так случиться, что Алина Павлова – ученица шко-

лы, для которой я исполнила художественные работы, а мой партнёр по работе, педагог О.Г. Прутт – литературный наставник Алины! Как тесен наш город. Им показалось мало радоваться стихийной творческой встрече. Меня засыпали вопросами: «А где оригинал? А как появился на свет портретик? А пояснение вы могли бы написать нам на память?». В итоге я вручила заинтересованным лицам свой ответ. Привожу его полностью.

Портрет юной поэтессы

Весной 1992 г. литературные интересы «St. Petersburgische Zeitung» обратились к судьбе поэтов начала XIX - конца XX веков. Романтические порывы XIX в. представлены стихами Елизаветы Кульман на немецком языке. По условиям публикации, портрет автора должен предварять текст сочинения. Никакими портретными изображениями Лизы Кульман в тот момент мы не располагали. Редактор нашёл быстрое решение: предложил мне нарисовать портрет Е. Кульман. Я сделала вид, что и в XIX веке я жила, и помню, как выглядела поэтесса. И начала свой рисунок, глядя на женские портреты того времени, стараясь вспомнить, какой я видела Елизавету в последний раз. Ей минуло 15 лет. Это будет портрет совсем юного создания. Сочиняя с детства, Елизавета так много успела, что лучшая для неё подруга – книга. Пускай она не только с книгой в руках, но всей своей позой обращена к страницам. И рядом её рукопись. Для Лизы античность занимала важное место. Её обращение к знаменитой греческой поэтессе Коринне, героине стихов Элизы, убедило меня ввести в рисунок античный мотив. Появился портик греческого храма на дальнем плане приглушённой линией как подразумеваемое, а не явное. Элиза не только интересами, но и внешностью имела отношение к античности: современники обратили внимание на прямой, греческий носик, тёмные глаза, тип лица гречанки. Наконец, платье и причёска. Здесь надо пристально выяснить, как одевались и укладывали волосы в годы жизни Кульман: до 1820 или в годы 1820-30-е быстро менялась мода, надо вовремя остановиться при жизни поэтессы, оборвавшейся

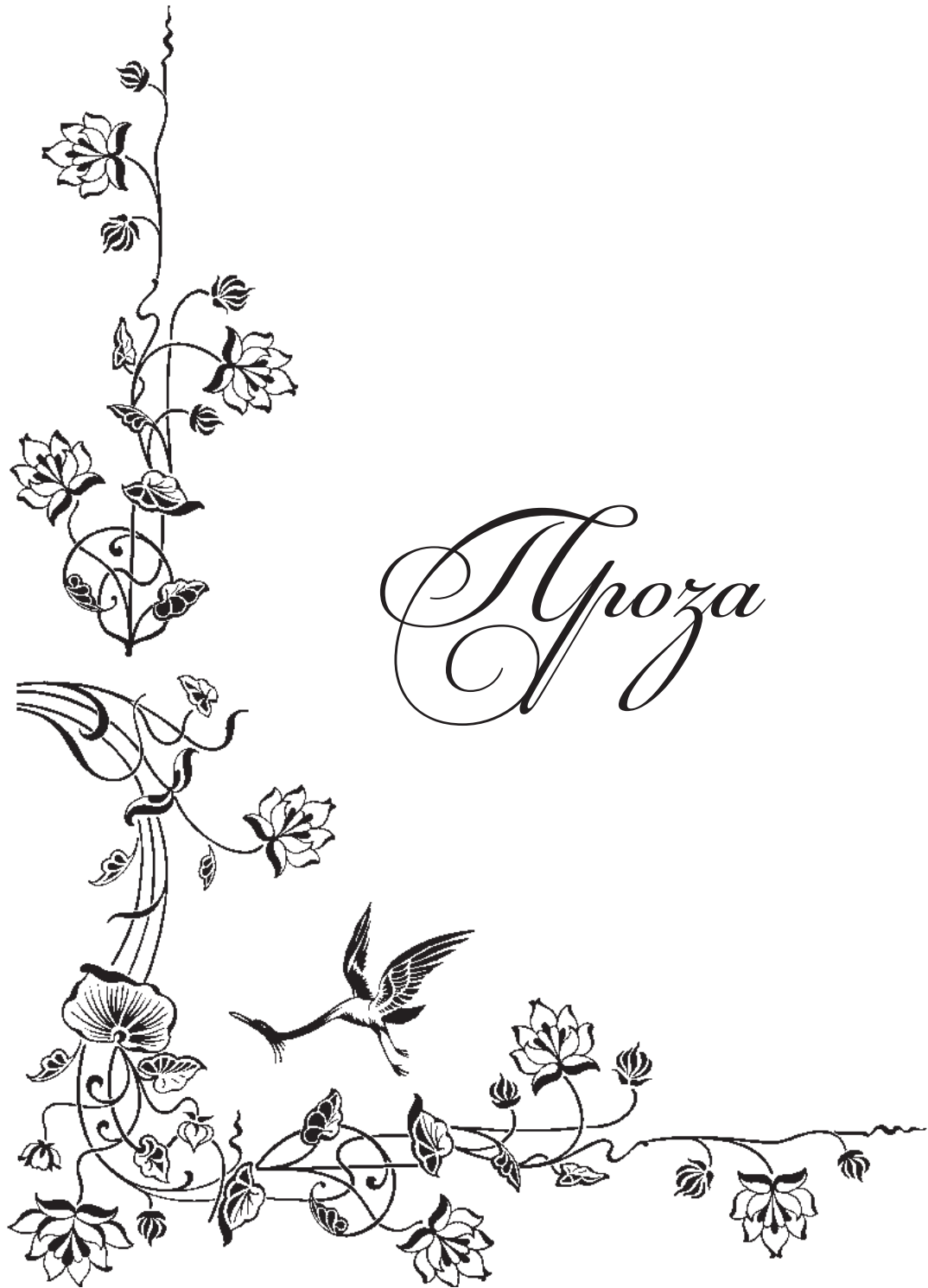
так рано. Несколько слов о художественной стороне изображения. Издательская техника давала лишь один вариант исполнения: штриховой рисунок тушью. Выразительность за счёт линии разной длины, то прямой, то извилистой, и сочетания штриховки, чёрных пятен и белого листа. Рисунок был на выставке моих картин «Сады Петербурга», специально для юных историков 235-й школы.

Вдобавок, я рассказала с удовольствием обо всём, что услышала и увидела или не увидела 18 декабря 1995 г. в Малом конференц-зале Пушкинского Дома на Седьмых научных чтениях рукописного отдела в 3 часа дня. Я превратилась в зрение и слух, когда знаток и исследователь скульптуры Е. В. Карпова повела речь о скульптурном портрете Елизаветы Кульман. Я узнала об итальянском ваятеле Паоло Катоцци, жившем в Петербурге. Он получил заказ от венценосных покровителей Елизаветы в год выхода двух полных изданий её сочинений. И в 1839 году на свет рождается мемориальный памятник, первое изображение поэта. Катоцци не видел Елизавету при её жизни. Но словесный портрет Элизы от тех, кто знал и любил её, вдохновил в работе над мраморным бюстом талантливой мечтательницы, рано покинувшей земной мир. Катоцци соединил в мраморе классический лик в образе греческой поэтессы Коринны, любимицы Елизаветы Кульман, и трогательность юной Лизы. Лавровый венок - дань античности. Катоцци отослал свой рисунок с портрета в Германию, где Карл Бард перевёл его в технику гравюры; гравированные портреты для 4-х изданий стихов Кульман. А в Петербурге облик «юной Коринны Севера» признали для себя моделью живописцы и скульпторы в декоративном убранстве Исаакиевского собора, скульпторы – на фасаде, живописцы в интерьере. Я неосторожно обронила вопрос: как бы увидеть портрет? В ответ мне указали жестом на маленький замочек на двери за спинами сидящих: он там, в кладовке. Но и такой рассказик послужил наводкой и привёл Алину Павлову на встречу с Карповой. Работа школьницы не осталась в тени. Была мысль об издании отдельной книгой. Годы летят, школьницы растут и обрастают интересами, передавая поиски наследникам.

А «Санкт-Петербургская газета», SPZ, вернулась к своему поэту в 2000 г.: ещё один портрет Елизаветы Кульман, акварель художника Визеля, рядом с портретом Роберта Шумана, сочинившего вокальный цикл на её стихи. Эмиль Оскарович Визель, руководитель отдела гравюр и эстампов Эрмитажа, блокадной зимой 1941-1942 гг. написал акварельный портрет Е. Кульман с эрмитажной гравюры, единственное цветное изображение Лизы. Роберт Шуман в 1844 г. концертируя в России, знакомится с судьбой и творчеством Элизы. Взволнованный до глубины души «высокой мудростью, в совершенстве выраженной словом из её детских уст», он пишет вокальный цикл: «песни для голоса с фортепиано» на тексты семи стихотворений, среди них: «Уж ласточки в отлёте. \ Счастливый путь, друзья!.. Но как там ни отрадно \ В полуденном краю \ Вернулась я б обратно \ На родину мою». В посвящении композитор говорит о поэте: «... светлая звезда, и сиянье её широко разольётся над всеми странами». К каждой песне встречаем аннотацию Шумана. К стихотворению «Дай, облако, мне руку...»: «С сердечной любовью привязана она к этому миру, его цветам, благородным людям, повстречавшимся ей на коротком жизненном пути. Но она предчувствует, что скоро должна будет покинуть их». И в наши дни можно услышать в концертном исполнении все семь песен Шумана на стихи Кульман. Последнее слово нашей героине (пер. М. Комарицкого).

Дай, облако, мне руку

*Ты протяни мне руку,
Облако, вольный брат!
Я старших братьев встречу
Вблизи небесных врат.
Хоть я совсем не помню
Родные их черты,
Отца средь них узнаю,
Его увидишь ты!
Они глядят с улыбкой,
Приветливо маня.
Дай, облако, мне руку,
К ним подними меня!*



ЮЛЯ ТАГЕР

Мой папа - физик

Когда мне было лет десять от роду, и мы с мамой ещё обитали в большой старой коммуналке на канале Грибоедова, жизнь была интересная и весёлая.

Была у моей мамы подруга. Скромная женщина с маленькой собачкой и с мужем алкоголиком. Они жили в коммуналке на Мойке. Муж маминой подруги был, хоть и спившийся, но актёр Юра Гамзин. В Новогодние праздники он подрабатывал Дедом Морозом. Ну и пропивал всё, как водится.

По тем временам забежать в гости к Мойки на канал Грибоедова было дело обычное. Мама моя работала тогда учительницей в школе и вечерами бывала дома. С отцом моим она уже тогда рассталась, но он приходил иногда навестить меня или одолжить денег у мамы. Он алкоголиком не был, он был учителем физики, истории и математики, но не мог работать по инвалидности. Подрабатывал частными уроками, пенсия-то была крохотная.

А соседи наши, Коля и Света, супруги, работали в театре. В балете. Он занимался осветительной техникой для сцены, а она была балерина. Стройная, статная и миловидная молодая женщина.

Как-то вечером, когда она кухарничала на общественной кухне, к нам заявился подвыпивший Гамзин. Он о чём-то говорил с моей мамой. Потом пошёл на кухню, и там узрел Свету. Ну, его кобелиная натура не смогла устоять, и он ей говорит: «А Вы знаете, ведь я - артист!».

Света, балерина театра Леонида Якобсона, помешивает ложкой суп в кастрюле и говорит: «Вы знаете, а я - тоже!..». Гамзин потом долго не появлялся.

Зато приходили и другие люди.

Как-то к маме пришла другая её подруга со своим приятелем. А в этот вечер к нам явился мой папа. И, как назло, у нас вырубилась, тогда ещё в новинку, автоматические электропробки от нашей комнаты. Ну, два мужика, которых присутствующие дамы ещё не успели представить друг другу, стали выяснять, что с этими электро-пробками делать. Подтащили лестницу, потолки там были высокие, и пробки тоже высоко. Спутник маминой подруги залез наверх и стал разбираться, что там. А мой папашка возле этой лестницы ходит и говорит: «Давайте я посмотрю, ведь я же - физик!», а стоящий на лестнице академик Аркадий Мигдал ему отвечает: «Я - тоже...». Ну, вот так и познакомились.

Я вырос, стал художником-ювелиром, и ещё написал много стихов. Меня очень радушно приняли в компанию поэтов и других людей творческого труда в серьёзной и профессиональной организации нашего города. Понятное дело — здесь все поэты, артисты, художники и академики. Выпендриваться ни к чему. Работать надо.

А я без ума влюбился в прекрасную даму, она тоже поэт. Но любовь моя оказалась безответной. В жутких муках и от отчаяния я позвонил бывшей любовнице, хоть былое вспомнить. Прошло уже много лет, как мы расстались, и она очень изменилась. Я стал ей плакать в жилетку, что по теперешним временам ювелиру трудно заработать денег, если он художник. На это она мне гордо ответила: «Я - тоже художник. Такие красивые зубы делаю!». Она стала стоматологом в престижной фирме.

Да... господа хорошие, работать надо! Нынче — все художники!..

ВИКТОР ПЕРМЯКОВ

Журавли в чистом небе

Это были далекие послевоенные, пятидесятые годы на Урале. В краю рек, озер и Уральских гор. В краю замечательных русских людей.

Поезд остановился на несколько минут и девятилетний Виталик с папой покинули вагон поезда и вошли в здание вокзала старинного уральского городка Катайска. Через две минуты поезд тронулся и покатил дальше.

Виталику понравилось путешествие в поезде. Он, как всякий шустрый мальчишка, не мог спокойно сидеть на месте. Он то бегал и играл в вагоне, то замирал, стоя у окна, разглядывая пролетающие с ревом встречные поезда и проплывающие станции. За окном мелькали поселки, домики, горы и лес да огромные пространства полей. Папа, как и Виталик, радовался этой поездке. Он наконец-то дождался своего летнего отпуска и отправился с сыном на родину. После большого и шумного города поездка в деревню кажется загадочным и необыкновенным приключением.

На вокзале в буфете, попив чаю, Виталик с папой отправились на автобусную станцию. Но оказалось, что автобусы не ходят и машину подрядить тоже вряд ли удастся, так как всю неделю шли дожди, дороги развезло и машине не пройти. Вздохнув, папа решил идти пешком, хотя путь был не близкий. Взвалив рюкзак за спину, отец и сын отправились в далекую уральскую деревню Улугуши.

Было раннее утро. Идти Виталику было интересно и весело. То он намурлыкивал песенку, то гонялся за бабочками и стрекозами, то смотрел на пролетающих шмелей и пчел. Перейдя деревянный мост через реку Исеть, они очутились в большом поле. Папа был немного встревожен. Надвигались громадные темные тучи, и укрыться от неминуемой стихии было негде. Дорога, по которой они шли, разделяла поле надвое. По обочине тянулась нескончаемая череда столбов с электропроводами. Около столбов находиться во время грозы было опасно, но выбора у них не было. Молнии и раскаты грома не заставили себя долго ждать. Стихия, обрушилась на наших путешественников. Виталику стало страшно.

Он еще никогда не оказывался в подобном положении: укрыться негде. Он, конечно, видел грозы и дожди, но это все было дома, где есть крыша и стены и он считал себя защищенным. Дождь лил как из ведра, и путники вымокли до нитки в прямом смысле. Виталик вспомнил, как ему уже доводилось промокнуть до нитки. Играя с ребятами возле пруда, он не заметил ямы, наполненной водой, и бултыхнулся туда. Тогда друзья помогли ему выкрутить куртку и брюки. Продолжая игру с мальчишками, паренек не заметил, как одежда высохла.

Отец вдруг свернул влево, выйдя на узкую тропинку, и они пошли по ней. Было очень темно. Сверкала молния, гремел гром. Все это «мокрое» путешествие продолжалось долго, и казалось, что оно никогда не закончится. Потихоньку погода стала меняться: выглянуло солнце, тучи стали уходить. Солнце сильно припекало, и одежда стала подсыхать. Опять появились шмели, стрекозы, бабочки. Показались деревья и кустарники - там начиналась еще одна дорога, которая принесла им подарок в виде подводы. Повозкой правил бородатый веселый мужичок. Папа и Виталик поздоровались с дедом по имени Василий. Дед был разговорчив: поинтересовался причиной путешествия в такое ненастье. Оказалось, дед Василий знаком с дедом Егором и его семейством и согласился подвести их до деревни Улугуши. Виталик порядочно устал и с удовольствием залез на телегу, отец, скинув рюкзак, пошел рядом и все разговаривал с веселым земляком. Солнце играло своими лучами и светило в глаза мальчику. Виталик морщился, закрывал глаза рукой и улыбался. Ему было хорошо на душе, ведь позади ненастье и весь мир ему казался чистым и светлым и был рядом папа, который бодро шагал рядом и этот веселый старичок. Дед Василий подбадривал лошадку: «Давай, давай, вперед милая. Скоро приедем. Это хорошо, что в отпуск приехали, в лесу полно ягод, грибов, на рыбалку сходите, отдохнете, наберетесь сил». «Смотрите, смотрите!» - закричал Виталик, указывая на птиц. «Это журавли летят», - сказал дед Василий. «Эти свободолюбивые

птицы тоже отправились в путешествие, как и вы», - сказал дед Василий. Папа с Виталиком долго еще смотрели на улетающих птиц.

Наконец, показалась деревня с бревенчатыми добротными домами с резными наличниками, с сараями, амбарами, со множеством коров, гусей, кур, – в общем, настоящая русская деревня! С добрыми и трудолюбивыми людьми! Поблагодарив деда Василия и пригласив его в гости, на прощание погладили лошадку, которая довезла их до самого дома. Папа подошел к самому дому постучал в окно и громко сказал: «Эй, хозяйева, принимайте гостей!». К окну подошла женщина и вскрикнула: «О, Боже! О, Господи! Афоня с сыном приехали!». Это была папина сестра тетя Ирина. Она выбежала на улицу и стала целовать папу и Виталика. Обнимая мальчишку, причитала о том, какой он худющий: «Ой, ой, ой! Надо тебя творогом откормить, молоком, сливками домашними. Тут не то, что в городе. Здесь продукты настоящие».

Вошли в дом. Дед Егор и баба Милодора (отец и мать папы) стали здороваться ними. Бабушка Милодора была слепая и гладила лицо мальчика пальцами. Она сидела на мягком стуле возле русской печки всегда - и зимой и летом. Редко вставала, так как с трудом передвигалась. Спала тут же, на стоявшем вблизи диванчике. «Небось, устали с дороги-то, умойтесь, скоро будем пировать», - сказала тетя Ирина, подавая полотенце папе. Затем она ушла накрывать на стол. Дедушка Егор, погладив бороду и покрутив усы, ушел к себе переодеться к обеду.

Виталик посмотрел на иконостас, стоящий в красном углу, и перекрестился. Крестили Виталика поздно, в шесть лет, основные молитвы он выучил наизусть. На стенах было развешано множество деревянных рам и рамок с фотографиями многочисленных родственников, ведь у деда Егора только сыновей было девять. Виталик с интересом рассматривал фотографии и увидел своего отца - молодого красноармейца в шлеме (так проносят в деревне), рядом фотография деда Егора в казачьей форме. Он гордился тем, что тоже казак, хотя и маленький. Виталику часто доводилось слышать, как взрослые замечали, что характером он пошел в деда. А вот еще фотография, на которой он с папой и мамой. Многих людей он не знал, особенно с фотографий военного времени. Этих фотографий

было очень много. Папа Виталика воевал на Финской войне, вернувшись, работал на заводе. Потом началась Великая Отечественная война и Афанасию Егоровичу снова пришлось воевать. Но в конце 1941 года по директиве И.В. Сталина: «Вернуть всех специалистов с фронта», отец вместе с шестнадцатью бойцами, с которыми он работал на заводе, вернули на Урал и поставили на «бронь». Все заводы Урала наращивали военную мощь. И не зря говорят, что Урал кузница победы. После гибели сыновей дед Егор стал угрюмым и замкнутым, а бабушка Милодора, оплакивая убитых сыновей – ослепла. Из одиннадцати детей деда остались в живых один сын Афанасий, отец Виталика, и две дочери – тетя Шура и тетя Ирина.

Дверь отворилась, и вошли двоюродные братья Виталика – Виктор восьми лет и Шурик шести лет. Братья уже были знакомы. Они степенно стали здороваться с дядей Афоней и Виталиком. Виталик достал из кармана круглую железную коробку с леденцами и стал угощать ребят. Стол уже был накрыт – ждали деда Егора и гостей. Гости пришли с гармонью за ними пришел дед Василий. За стол не сажались, ждали деда Егора. Шурка позвал: «Дедушка, тебя ждут!». И тут появляется дед, в казачьей форме, нарядный и причесанный. Дед пригласил всех к столу. На столе стояли бутылки с вином и водкой, а также с домашним квасом. Закуска самая простая, деревенская: горячая картошка, запеченная в яйце, утка с квашеной капустой, селедка, зеленый лук, огурцы, помидоры, много разных пирогов: с рыбой, с черемухой, с картошкой, с яйцом и луком. Когда все расселись начали произносить тосты – за дедушку с бабушкой, за папу и Виталика, за гостей, за урожай, за здоровье. Виталик с братьями пили квас и налегали на пироги. И вот настал черед песен. Веселые и грустные, про казаков, про Степана Разина, про озеро Байкал («Славное море – священный Байкал»), сибирские и уральские песни. Мальчики всех песен не знали, да и на дворе было лето, они отправились играть во двор. Виталик все удивлялся, как это петух так ловко ходит по изгороди и не падает, на что братья отвечали, что петух-то у них бывалый и не такое может. Двор за домом выходил на берег озера. Братья открыли калитку и вышли на мостки, к которым была причалена лодка. Это лодка деда, он с ней не расстается. На озе-

ре было много уток. Крякая, утки стайками проплывали совсем рядом. Расположившись на мостках, братья смотрели на озеро, на камыши, на лилии. Вода была чистая и прозрачная. Видно было дно, где проплывали рыбки. Виталик стал плескаться и играть. Омыв холодной водой лицо, сказал: «Здорово! Какая красота!». Виталик любил природу и чувствовал себя хорошо, когда в выходные дни отец и мать брали его в поездки на природу. Особенно ему нравилось бывать на Чусовой. Река эта бурная, извилистая, со скалистыми берегами, на которых растут высокие сосны. Выезжали на такие прогулки с родственниками и друзьями с детьми. Готовили на кострах, мужчины ловили рыбу, ночевали в палатках. Один раз Виталик заснул в гамаке, проснулся от шума сосен, которые шевелились как живые и казались Виталику страшными великанами. Малыш, испугавшись, с трудом выбрался из гамака, и успокоился только найдя папу и маму у костра, попивающих чай.

Утром Виталик проснулся от выстрелов – это дед Егор стрелял по уткам. Стоя прямо у изгороди и положив на нее ружье. Мальчик был удивлен тем, как ловко дед управляется с ружьем и метко стреляет. Потом дед сел в лодку и отправился собирать битую дичь. Иногда, чтобы достать утку надо было разгребать камыши. В это время папа и тетя Ирина возились в погребке. Там их нашел Виталик. Отец пил холодные сливки прямо из кринки и нахваливал. Дал попробовать Виталику, которому сначала не понравились очень холодные и слишком густые, но потом приноровился и оценил вкус природы. Папа говорил, что невозможно сравнить с тем, что они пьют в городе под названием «сливки». Вечером братья с местными ребятами отправились играть в прятки на окраину деревни. Был чудесный тихий летний вечер. Солнце садилось за стога, за деревья, за деревенские дома, которых здесь было много. Постепенно уходило и угасало.

Стрекотали цикады, и было так хорошо на душе мальчишек и девчонок. Становилось темно, и дети разожгли костер и стали печь картошку. Детвора притихла, смотря, как резвится огонь в костре. Было поздно, но уходить не хотелось. Но пора домой, и ребята стали расходиться по домам. Взрослые дома не спали, ожидая мальчишек. Шурка и Виктор по-

звали своего городского братишку спать на сеновал. Виталик согласился с радостью. Мальчишки забрались по высокой лестнице на огромный деревенский сеновал и долго не спали, рассказывая друг другу страшные истории. Наконец братишки уснули. Виталик же еще долго вспоминал как в прошлом году они с папой и мамой гостевали у второй сестры – тети Шуры. Село Гусиное, в котором она жила с мужем Кириллом, находилось в пятидесяти километрах от Улугуши. Тогда Виталик впервые узнал, что такое сеновал. Играя на чердаке, он нашел старое ружье времен гражданской войны. Оно было огромное и тяжелое, даже без затвора, снятого для безопасности. Паренек так обрадовался находке, что стал с этим ружьем неразлучным. Деловито расхаживал с ним по деревне в сопровождении шестилетней сестры Валеньки. Дочь дяди Кирилла и тети Шуры была очень бойкая малышка. Играя в «войну», они прятались в стогах, и с криком «Ура!» шли вместе в атаку на воображаемого врага. Она, как верный ординарец, сопровождала брата в его прогулках с ружьем по деревне, вызывая улыбки взрослых. Дядя Кирилл и тетя Шура разрешили ему взять оружие с собой домой. Однако, отец, зная специфику жизни в городе, категорически воспротивился наводнению Свердловска оружием. Чтобы утешить сына, пообещал приезжать сюда чаще, чтобы мальчик мог предаваться военным утехам.

Село Гусиное находилось на живописном берегу реки Исети. Река радовала селян обилием рыбы. Иногда ее было так много, что на лов ходили артелями. Так было и то лето. Виталик играл с Валюшкой во дворе, и вдруг прибежали два соседа и сообщили дяде Кириллу, что рыба пошла, надо побыстрее собираться. Виталик сильно поразился тому, как мужики узнали, что рыба идет. Между тем, мужчины собрались и, обутые в высокие резиновые сапоги, с сетями отправились к реке. Ребятишки увязались за ними. Им разрешили наблюдать за ловлей с крутого берега, да и то подходить к краю ближе чем на два – три метра строго запретили. Берега были песчаные и иногда обваливались. Но все равно зрелище было незабываемое. Сначала рыбаки зашли в реку, закинули сети и побрели с ними к берегу, подгоняя туда и рыбу. Улов был богатый. Добычу тут же поделили поровну. Доставив

улов домой, начались хлопоты у хозяйки тети Шуры. В летней печке, что стояла на улице посреди двора она решила пожарить рыбки к обеду, а уху сварить и пирогов с рыбой испечь – завтра. Мама Виталика помогала разделывать рыбу, а тетя Шура жарила ее. А сколько кошек собралось на пир! Больше всего рыбных потрохов досталось хозяйской кошке – она ведь первой узнала о добыче. Все соседские коты и кошки, урча, с потрясающей воображение Виталика скоростью поедали все, что щедрая рука хозяйки давала им. Чемпионом по скорости поедания стал бездомный кот с откушенным ухом.

На следующий день Виталик узнал, что пироги особенно вкусны, если они были помазаны маслом гусиным пером, чтобы стали румяными и с корочкой. За завтраком он усердно занимался дегустацией необыкновенных пирогов с рыбой. Мысли о пирогах были последними связными, а потом мальчик уснул.

Виталика поразило, что тетя Ирина встает в пять часов утра, а то и в четыре часа. Наверное, тяжело, ведь именно в это время очень хочется спать. Еще понял, что жизнь в деревне очень тяжела. Надо ходить на работу в поле или на ферму, а ведь у каждого есть свое подворье. Коровы, лошади, козы, овцы, поросята, куры, утки всех надо кормить. Накосить сена на всю зиму, заготовить дров. Виталику нравилось наблюдать каждый вечер возвращение стада домой. Ласковыми словами хозяйки зовут скотинку домой, угощая при этом чем-нибудь вкусненьким.

Были походы за грибами и ягодами, собирали черемуху, купались и ходили на рыбалку. Но отпуск отца закончился, и надо было собираться в обратный путь. Прощались с родными в доме. Бабушка Милодора гладила на прощание Виталика, касаясь пальцами его глаз, губ. Она как бы внимательно изучала мальчика, стараясь запомнить его черты. Тетя Ира, собрала гостинцы – малиновое и смородиновое варенье, мед. Дары были тщательно уложены в рюкзак. На прощанье тетя Ирина стала целовать Виталика и просила приехать следующим летом вместе с папой и мамой. Дед Егор, несмотря на жару, был в фуражке и казачьей форме. Он взял городского внука за руку и с важным видом повел его по деревне. Подтянутый и строгий, он как глава семейства был горд, и ему нравилось, как односельчане

смотрели на эти проводы. Люди приветствовали и провожающих и гостей. Папа с Витей и Шурой шли вместе и оживленно о чем-то разговаривали. Ждать пришлось недолго, так как автобус пришел вовремя. Витя сунул в карман Виталику рогатку и сказал: «Пригодится, может быть». Все дружно простились, и автобус стал медленно набирать скорость. Виталик еще долго смотрел из окна автобуса, стараясь запомнить эту уральскую деревню с непонятным названием Улугуши, родственников и знакомых мальчишек и девчонок. Папа посмотрел на сына и, поправив его взлохмаченные волосы, сказал: «Не переживай, на следующий год опять приедем».

Ушли далекие послевоенные пятидесятые годы, ушли в иной мир дед Егор, бабушка Милодора, тетя Шура и тетя Ира. Не стало папы и мамы Виталия. Наступили, увы, другие времена. Виталий разговаривал по телефону с братом Виктором о жизни, о внуках, о делах. Брат рассказал, что деревня, в которой прошло его детство, влачит жалкое существование: нет молокозавода, нет фермы, нет птицефабрики, нет коров, нет овец, нет пастбищ. Неприкаянная молодежь разъехалась кто куда. Исчезли с географической карты России десятки тысяч деревень и населенных пунктов. Черная злая сила, видимая и невидимая, пожирая все живое, искажая прошлое, стравливая народы и религии, приносит войны и страдания, ведет войну на уничтожение земной цивилизации, и даже, видимо, не понимает, что уничтожает самое себя.

Виталий долго бродил по набережной после разговора с братом Виктором и размышлял. Он вспоминал детские и юношеские годы, учебу в университете, свою работу, которую он любил и, ставшую теперь не востребовавшейся. Мысли его то и дело сбивались...

Вдруг он услышал крик птиц и, повернул свою седую голову, увидел в небе большую стаю летящих журавлей. Они летели по светлому небу и, разговаривая между собой, махали крыльями.

Да, жизнь продолжается, несмотря ни на что: ни на погоду, ни на настроение. Несмотря на радости и печали. Ведь человек всегда стремился взлететь и соединиться в пространстве с вечностью и быть в полете, как журавли в чистом небе.

ГАЛИНА КОВАЛЬСКАЯ

Как я покупала козу...

(рассказ дачницы-неудачницы)

Девяностые годы прошлого века коренным образом изменили жизнь граждан Советского Союза. Государство бросило всех на произвол судьбы, лишив прежних накоплений и работы. Поставив всех перед проблемой – выжить любым способом. Не миновала и меня «чаша сия». Моё родное предприятие закрылось, и я оказалась на улице.

Была я не слишком избалована судьбой. Рано лишившись своей опоры – мужа, воспитывала одна двоих детей. Пришлось братья за громадные сумки, которые были по размеру больше меня, и ездить в Китай и Турцию за товаром. Но надолго меня не хватило. Вскоре я поняла, что при такой, так называемой моей работе, я вскоре могу оставить детей сиротами, поскольку здоровье резко ухудшилось.

К счастью, у меня был запасной вариант: дом в деревне с достаточно большим участком земли. Я решила осесть на земле и заняться выращиванием овощей и, возможно, разведением домашних животных и птицы. В мечтах мне представлялись курочки и поросяток. К этому времени уже появились внуки, моё решение оказалось вполне оправданным: свежий воздух, овощи с грядки, ягоды с куста и из леса. Что может быть лучше для детского организма?

И вот как-то весной привезли мне внука и внучку из города. Были они похожи на бледные росточки, выросшие без солнца. Я посмотрела на них и решила, что надо срочно что-то предпринимать, чтобы поставить их на ноги. Но что? Овощи и ягоды пока ещё вырастут! Зашла соседка, посмотрела на ребятшек. Подпёрла подбородок рукой и вдруг говорит: «Слушай, соседка, мой тебе совет, только козье молоко сможет помочь ребятшкам. Представляешь, парное молочко по стаканчику три раза в день. Сразу румянец заиграет на их мордашках. А к концу лета их не узнают и собственные родители».

Легко сказать! Козу! Да я же городской житель и не имею никаких навыков по уходу за животными. Но ведь эту козу ещё и доить

надо! «Не бойся, - говорит соседка, - я тебе на первых порах помогу, а на зиму, если решишь в город уехать, пристроишь её у кого-нибудь из местных жителей!»

Я призадумалась. Посоветовалась с мамой. Кстати и ей в её возрасте козье молочко не повредило бы. «Ну что ж, дочка! Давай попробуем! Детей действительно надо ставить на ноги. Ишь, как запаршивели они в городе!».

Решение было принято. С помощью той же соседки через «сарафанное» радио я узнала, что в деревне километрах в десяти от нашей продаётся коза. Благо, что до этой деревни можно было добраться автобусом. Поехала я туда, отыскала хозяйку козы. Она, конечно, была очень рада покупателю, принесла стакан с молоком, на «дегустацию», так сказать. Молоко мне понравилось, коза паслась неподалёку. Ну что я могу сказать! Коза как коза, морда козья, вымя приличное, молока хватит всем. Цену за неё запросили хорошую, я пыталась торговаться, но безуспешно. Договорились, что сын хозяйки привезёт эту козу вместе со «станком», оказывается ещё какой-то станок для неё нужен!

И вот свершилось! К вечеру привезли козу вместе с так называемым станком. Это сооружение из досочек и реек, туда загоняют козу и привязывают ноги во время доения, чтобы коза стояла спокойно и не брыкалась. Прибежали внуки, пришла соседка, я выслушала «инструкцию по эксплуатации» козы от хозяина, расплатилась. Он уехал, а я стала загонять козу в сарайчик на ночь. Но не тут-то было! Она сразу показала, что кроме рогов и вымени у неё есть и характер, причём довольно скверный. Видимо, она невзлюбила меня с первого взгляда. Я потащила её в сарай. Но она упиралась всеми четырьмя копытами и дико блеяла. С большим трудом я водворила её на место, бросила веник веток и охапку травы. Ух! Только теперь я начала понимать, каково мне придётся.

Настало утро с новым для меня испыта-

нием. Козу доить надо! Но ведь даже София Луиза Доротея Вюртембергская, императрица Мария Фёдоровна, супруга императора Павла I, держала ферму и собственноручно доила коз. Значит, мне-то и сам Бог велел. Я всё же загнала её в «станок», привязала за ноги, подставила кастрюльку под вымя. Дёрнула за один сосок, молоко полилось почему-то не в кастрюлю, а прямо мне в лицо, дёрнула за второй - молоко полилось куда-то в сторону. Коза орёт и пытается вырваться из так называемого «станка». В общем, если посмотреть со стороны, просто «цирк», приручение дикой козы «Пятницей Робинзона Крузо». Пришлось звать на помощь соседку. Наконец, коза подоена, молоко процежено. Надо выводить её на пастбище. Я нашла хорошую поляну, привязала козу на верёвку, вбила кол в землю. Ну, наконец-то, я могу сварить кашу детям из козьего молока. Все в радостном ожидании. Разложила кашу по тарелкам. Кушайте, дорогие, на здоровье! Смотрю на внучку, она после первой ложки сморщилась и зажмурилась, внук пытается проглотить ложку каши, но у него это почему-то не получается. В чём дело?! Я взяла ложку каши в рот. Боже, какой ужасный запах и вкус! Попробовала само молоко. Да что же это такое?! Ведь хозяйка угощала меня совсем другим молоком. То было вкусное, жирное, без постороннего запаха, а это даже в рот не возьмёшь!

Побежала скорей посмотреть на козу, что же это за преобразование такое? А козы-то и нет на том месте, где я её привязала. Побежала её искать. А эта разбойница выдернула кол и прямо с колом и верёвкой умудрилась забраться на соседскую картошку, которая только начала всходить. Вот тут-то я и услышала от соседа всё хорошее о себе, моей маме и козе. Что же делать? Ведь это молоко пить невозможно! Стали мы с мамой судить-рядить. Всё к тому, что придётся эту козу вернуть. Но возьмут ли её обратно? Видно хозяйева рады-радешеньки, что нашли такую дурёху, как я, и сплавил некондиционный товар. Но, извините, не на ту «наехали»! Решение пришло быстро, завтра отвезу её обратно, не нужна мне такая обуза!

На следующий день потащила я эту козу на остановку автобуса. Но она, видимо, привыкла разъезжать на личном транспорте, а общественный глубоко презирала. Поэтому

она упёрлась всеми четырьмя копытами и мне пришлось буквально катить её до автобуса. Всё сопровождалось диким бляньем. Автобус стоял, благо других пассажиров, кроме нас с козой, не было. Водитель и кондуктор вошли в моё положение и разрешили провезти козу до деревни, ведь собак же возят! Теперь надо было загрузить её в салон. Конечно, она сопротивлялась, как могла: и бодалась, и бляела, и упиралась копытами. Кондуктор и водитель, вдоволь посмеявшись над нами, взялись помочь затолкать её в салон. Кондуктор тащила её за рога, а я, да простит меня Брижит Бардо, весь Гринпис и защитники животных, сорвала крапиву и ударила козу по попе пониже хвоста. Вот здесь-то она проявила всю свою резвость и запрыгнула по ступенькам со скоростью газели. Наверно, Брижит Бардо привлекла бы меня к суду за жестокое обращение с животными. У них на Лазурном Берегу не бьют коз по попе крапивой. Но вернёмся с Лазурного Берега на нашу грешную землю «к нашим баранам», то бишь к козе. Кондуктор, деревенская жительница, посмотрела на козу, зачем-то потёрла её лоб, понюхала и сказала: «Да этой козе сто лет в обед, она даже на мясо не годится. Здорово вас обдурили». Таким же манером мы выгрузили козу в её родной деревне. Я вошла во двор. Привязала козу к изгороди и постучала в дверь. Хозяйка, увидев меня с козой, переменилась в лице и замахала руками. «Я привела вам козу обратно, - сказала я твёрдо, - верните мне деньги!» «Нет, нет. Я ничего не знаю, говорите с сыном, а он на работе, будет поздно». «Ну, ничего, - сказала я, - буду ждать сколько надо, даже останусь у вас ночевать вот на том диванчике. - Я показала на диванчик в прихожей. - Зачем вы обманули меня и дали на пробу совсем другое молоко?» «Я вас не обманывала, у меня пять коз, как я могу определить, от какой козы у меня молоко в ведре?» - ответила она. «Но вы же знали, что коза старая и даже на мясо не годится!» Вот тут хозяйка сникла и сказала: «Ну, ждите!»

Пришёл наконец сын. После долгих дебатов он всё же вернул мне деньги, за вычетом определённой суммы. Когда я спросила, почему, он ответил: «Но вы же её использовали...». Наверно, он удержал эти деньги за те телесные повреждения, которые я нанесла этому несчастному животному.

И я наконец вздохнула с облегчением, как в том анекдоте про козу.

ЕЛЕНА ПОКРОВСКАЯ

Небылица

Правду аль былъ поведаю - дело ваше...
А было оно так:

Середь недели заезжие казаки устроили попойку. Завалились к нам на алтын квасу напиться. Один казак и говорит: «Слыхивал я, казаки вольные, есть шашка лихая у атамана Степана, что в Черновицах живёт. Как махнёт он той шашкой-то, так и лес густой перед врагом встаёт, али горы в защиту войска его. Только шашку ту он никому не показывает - у сердца носит до поры до времени; говорят, татарин ему сто рублёв за неё обещал (лишь бы дал!) да дочку в жёны».

- Врёшь, Телеймон! Сказку сказываешь, а про что - сам не знаешь! - возразил усатый да горбатый казак.

- Врёшь, врешь! - загудели остальные да и завалились в харчевню - квасу пить; глядь - девица по воду идёт - песню поёт про атамана Степана и шашку его разудалую.

Поднялись казаки, повскакивали - да и к окну - ан нет никого!

Что за наваждение!

- Да квасу допились, казаки добрые! - рассмеялась казачка, - какая-такая девица? Ни одной живой души под окном нет.

- Как нет?! - закричал горбатый. - Есть! Вот идёт, и вода в ведре плещется!

- Плещется, плещется, - загудели остальные.

- Ну, раз плещется, - сказала казачка, - пора ещё горилки нести.

Принесла она горилки ещё на целый алтын, а казаков и след простыл - нет никого!

Как так? Куда девались целых десять? Глядь туда, глядь сюда - пусто! Она к окну - горы да лес стоят и нет никого, только песня издалёка доносится о волшебной шашке атамана Степана да девице, по воду идущей.

Наблюдал я эту картину да и решил зарисовать - что добру пропадать-то, может, купит кто да алтын даст, а может, и сто рублёв...

Времена-то, что лес да гора, всё одно - враньё... А правда? Правда за ними...

Э-э-эх, сторонка моя, Матушка

Быль

Валька бежал к станции что есть мочи: мамка велела успеть к рабочему поезду - авось, кто из окна проходящего шестичасового выкинет что-нибудь, вдруг - еда! Тогда - не зевай, запихивай быстрее в штаны всё, что попадётся - лишь бы не отнял кто другой!

Валька бежал по большаку, его широкие на помочах штаны колыхались, как рваные паруса едва держащегося на плаву судёнышка. Порывы ветра обдавали холодом и валили с ног, нестерпимо ныло в желудке. Валька понимал, как он смешон в этих широченных штанах! Каждая курица подняла бы его на смех! «Пусть смеётся, пусть! Лишь бы была эта курица, - думал Валька. - Я бы её хватъ - и в штаны! (Чтоб никто не видел) - и бегом до дому! А там мамка наварит щей - всем хватит!»

Всем-то всем... Да осталось в деревне один-два двора. Валькина семья ещё держалась, видать, корень был крепок. Дед Валькин, седовласый исполин, был известен всей округе как кузнечных дел мастер золотые руки, ковал железные цветы редкой красоты, ещё при царской власти хвалёные. Тятка тоже ковал и при «красных» и при «белых»: делу-то всё равно, кто у власти - лишь бы живу быть. Так, бывало, дед говаривал.

Нынче - не до цветов... да и кузню развалили; кто поумирал, кто едва на ногах держится... Дед с тяткой до города кинулись, в шахте работают, авось, что когда пришлют, а когда...

Валька бежал, деревня скрылась за перелеском, а там и до станции рукой подать. Под ногами хлюпали лужи, оставшиеся после ночного дождя; то и дело по обе стороны дороги, нырявшей меж кустов, что-то ухало, трещало и скрипело. Валька бежал, и ничто не могло остановить его. Шум леса, ветер, гроза и дождь в поле были знакомы ему с детства.

Дорога повернула вправо и... не может быть! У самой обочины, в грязной луже копошилась курица!

Валька припустил что было мочи и в два счёта схватив курицу, сунул её в штаны! Зачем теперь бежать к поезду? Обратнo! Бегом обратнo! Домой! Господи, помоги донести эту живность до дома, а там... там маманька наварит щей...

P.S. Вымирающие деревни голодного 33-го были не просто жалки, они были страшны...

Черны от людского горя и нищеты...

МАРИЯ ОРФАНУДАКИ

Мелодия на струне «соль»

Мобильный наигрывает музыку Баха.

- Ко-о-тик? Это ты? Здравствуй, родной мой. Как я рада тебя слышать!

- Доброе утро, Рада. Вернулся ночью из Москвы. Соскучился очень. Хочу тебя. Встретимся сегодня?

- Да.

- Когда? Во сколько?

- Ну-у-у-у... Ни свет ни заря. Митенька, я рада, конечно, встретиться с тобой, но у меня сегодня столько дел. Быть может на часик, не больше. С «хочу» придется подождать. Критические дни, сам понимаешь. А просто увидеться можно. Подбросишь до центра?

- Когда за тобой заехать? Скажи.

- Так, дай подумать. Давай часа через два.

- Кофе угостишь?

- Знаю я твой кофе. Нет, не угощу. В другой раз. Подъедешь - позвонишь на мобильник, и я спущусь. Что? Неправильно тебя поняла? Да нет миленький... Я все читаю между строк. «Каникулы» пройдут, будет тебе кофе. Пока-пока.

Разбудил за час до запланированного подъема. И что мне теперь делать? Заснуть уже не получится. Пойду ванну приму с утра пораньше. Блаженство. Горячая ароматная вода, воздушные хлопья пены, зажженная аромосвеча. Полный релакс и покой. Прикрою глаза и...

- Мамочка, пожалуйста, не гаси свет. Не уходи. Мне страшно!

- Что ты глупости болтаешь! Страшно ей! Ты уже большая девочка, Рада, и должна научиться спать в темноте.

- Мамочка, я боюсь темноты! Чудовища подходят к моей кровати, окружают ее, стоят и смотрят на меня! Смотрят и молчат. Я не могу заснуть.

- Фу, что за глупости ты несешь! Чего ты только не придумаешь, чтобы не оставаться одной в комнате. Эгоистка! Усвой, мое внимание теперь принадлежит не только тебе. У

тебя теперь есть отец!

- О-о-отчим! Он не отец мне, мамочка!

- Дрянная девчонка! Мой муж - твой новый отец. И у тебя скоро братик появится... или сестренка.

Мобильный наигрывает музыку Баха.

- Ко-о-тик? Это ты? Здравствуй, родной мой. Как я рада тебя слышать!

- Рада, солнышко! Доброе утро! Плохо спалось сегодня. Вот, решил пораньше тебе позвонить, услышать твой голос.

- Андрюшечка, какой ты милый! Я уже встала, ванну сейчас принимаю.

- Ванну? М-м-м... Соблазнительно звучит. Можно мне приехать? Примем ванну вместе.

- Проказник. В другой раз.

- Когда?

- Подумаю... Давай, в конце недели?

- Долго ждать, конечно. Ну, да ладно. А может, лучше поедем на этот уик-энд на залив? Отдохнем пару дней в пансионате. Только скажи: «да», и я все устрою. Все, что только пожелаешь.

- Все, что пожелаю? Му-у-ур. Я подумаю.

- Какие на сегодня планы? Увидимся?

- Котик, мне так жаль. Сегодня никак не получится. Подруга попросила с ребенком ее посидеть. Дела у нее какие-то. Сам понимаешь. Разве можно отказать?

- Жаль, конечно. Позвони, когда освободишься. Обещаешь?

- Конечно, родной. Пока-пока.

Аромосвеча с волнующим запахом ванили. На улице серо и промозгло, а я нежусь в ванне, полной душистой пены. Я - Рада. Такое имя дала мне мама, хотя во мне нет ни капли цыганской крови. У мамыши всегда было дурацкое чувство юмора. Цыганка? Если только по духу. Независимая, гордая, своенравная. Я - это длинные ноги, аппетитные бедра, высокая упругая грудь, мягкие и блестящие волосы, нежное личико. Ядерная смесь. Мне хватает

ума разыгрывать из себя обаятельную дурочку в присутствии мужчин, не демонстрировать своего превосходства перед ними. Когда рядом со мной Митя, Андрей, Жан, Володя или кто-то другой, я становлюсь беззащитной, хрупкой, беспомощной. Хлопаю глазками, смеюсь над их глупыми шутками. Цветочек, да и только. Мужчины так любят играть в игру: «Я - добытчик крупного мамонта». Разве трудно им в этом подыграть? Конечно ты, мой дорогой! Мой герой! Единственный...

Я прикасаюсь к своей груди, чуть сжимаю соски и чувствую сильное возбуждение. Обожаю красивые сильные мужские руки. Представляю, как они меня ласкают. А может я зря на кофе Митю не пригласила? Для хорошего настроения. Нет, не зря. Успеется еще. Делу время, постели - час. Прикрою-ка лучше глаза. Я - воздушная пена.

Воспоминания, куда от вас деться?

- Мамочка! Выслушай меня, пожалуйста! Отчим...

- Что?

- Отец, мамочка, отец... Он был пьяный. Он снова сажал меня на колени, когда тебя не было. Обнимал меня.

- Глупая девчонка! Почему отец не может обнять тебя?

- Мамочка, он прикасался к моей груди, пытался под халатик залезть. Говорил, что я очень красивая стала и совсем взрослая.

- Рада, что за вздор ты несешь? Не хочу тебя слышать!

- Услышь меня, мама! Мне было так страшно! Он пригрозил, что мне плохо будет, если я тебе об этом расскажу. Сделай что-нибудь!

Мобильный снова наигрывает Баха.

- Лгунья! Этот чертов переходный возраст! Твои фантазии начинают действовать мне на нервы! Не хочу тебя слышать! Отец любит тебя. Не смей делать из него монстра!

- Мамочка! Чудовища подходят к моей кровати каждую ночь, окружают ее, стоят и смотрят на меня! Смотрят и молчат... Я не могу заснуть.

- Не желаю тебя больше слушать!

Звучит Бах...

Пора вылезать из ванной, вода давно остыла. А мобильный все не унимается.

Кому и что еще от меня надо с утра пораньше?

В моем мобильнике две симки. Звучит «Мелодия на струне соль». Этот номер я даю исключительно мужчинам. Взбесились все самцы сегодня, что ли? И кто же у меня сейчас на подходе? А мобильный все не унимается. Вот проклятый телефон! То тишина гробовая, то звонят с интервалом в пятнадцать-двадцать минут. Точно звери, почувствующие, что у сучки - течка. Как говорила моя бабушка: «Сучка не захочет, кобель не вскочит». А я не хочу! По крайней мере, сегодня.

Мелодия на струне соль.

- Рада, милая! Здравствуй!

- Ко-о-тик? Это ты? Здравствуй, родной мой. Как я рада тебя слышать!

- Я так соскучился по тебе!

- Я тоже, миленький мой. Володичка, ты хочешь предложить мне сегодня встретиться?

С гордым величием вылезаю из ванны. Сколько вас, кобелей, сегодня мне еще позвонит, единственных? Тапочки? К черту! Халат? Зачем он мне - Афродите, вышедшей из пены морской? Отбрасываю его в сторону и голой выхожу в прихожую. Мне это позволительно! Я живу одна.

- А как ты догадалась? - в его голосе звучит удивление.

- Интуиция, мой сладенький, - усмехаюсь я, зачарованно разглядывая свое обнаженное тело в зеркале: «Хороша ведь, чертовка!»

- Ты права! - Володя замолкает на мгновение и продолжает: - Рада, ты восхитительная женщина! Ты так часто читаешь мои мысли! Хотел пригласить тебя сегодня поужинать в ресторане. Согласна?

Быстро включаю мозг. Так, а что по планам? Митя обещал подвезти в центр. В кофе ему сегодня отказано. Андрей? Ну, этот отложен на уик-энд. Звонить, конечно, может. Не запрещено. Сегодня я набиваю очередную татуировку. Очередную? Да, зарекалась, что последнюю сделала, и все... Было это года два назад. Передумала. Довольно гадов и рептилий. Перехожу на милые беззащитные создания. Хочу бабочку. Мишка мне ее набьет, мы уже с ним обо всем договорились. Кстати, обожаю итальянские рестораны!

- Согласна, котик! Хочу пасты с морепродуктами и пиццу «Маргариту».

- Желание леди - закон! На какое время место бронировать?

- Гм-м-м... Давай, часов так на девять вечера.

- Договорились. Заеду за тобой. До встречи.

- До встречи, мое счастье!

Пик-пик. Отбой...

Я стою и выбираю платье. У меня их много. Какое же сегодня мне надеть? Мужчины любят платья, которые подчеркивают изгибы женского тела. Значит, решено. Надену вот это - цикламеновое. Ты кончишь прямо в ресторане, котик.

Воспоминания, будьте вы прокляты!

- Мамочка!

- Рада, как тебе не стыдно! Перед отцом в первую очередь! Я, конечно, понимаю, что у тебя переходный возраст, и месячные начались, но бросать окровавленную простынь и свои трусы у всех на виду... Это уже переходит все границы!

- Мамочка! Это не месячные! Отчим!

- Что?

- Отец. Он... был пьяный...

- Что он? Рада, что?

- Он... Он изнасиловал меня! Мамочка!

Я не хотела, мама! Он пригрозил, что мне плохо будет, если я тебе об этом расскажу. Сделай что-нибудь! Чудовища снова приходили ко мне сегодня ночью! Они стояли и смотрели на меня! Осуждающе смотрели и молчали!

- Что за бред ты несешь? Это ты — чудовище! Твоя ревность не знает границ! Точно ты мне соперница! Твой отчим, тьфу ты... отец любит меня. А ты все время стараешься сделать из него какого-то изверга! Как я устала от твоих жалоб! Рада, не создавай мне проблем! И у тебя скоро братик появится... или сестренка.

«Мелодия на струне соль».

Ну, кто там еще на короткой ноге? Следующий!

- Ко-о-тик? Это ты? Здравствуй, родной мой. Как я рада тебя слышать!

- Рада! Здравствуй, любовь моя!

- Жан, ты уже прилетел из Парижа?

- Да, час назад. Я сейчас в Пулково. Только что получил свой багаж. Мон шер ами!

- По-русски, Жан, прошу тебя!

- Рада, я очень скучал по тебе в разлуке.

Выходи за меня замуж! Я понял, что не могу жить без тебя.

Он такой забавный, этот Жан. Когда волнуется, то говорит по телефону, как марсианин, делая частые паузы между слогами. Мнется-жметя, как барышня кисейная. И что это сегодня на него такое напало? Подумаешь, всего-то два месяца не виделись! Да, аристократ, имя, статус. Над этим, пожалуй, стоит подумать.

- Я очень скучала по тебе, Жан, - говорю это почти искренне.

Отменный любовник, плюс жизнь во Франции, и, если я этого захочу, мне больше никогда не придется работать. А хочу ли я этого? Нет. Я сама себе госпожа. Я - цыганка в душе. Меня зовут Рада.

- Встретимся сегодня? - с надеждой спрашивает меня он.

- Сегодня, - я беру паузу, - нет, сегодня у меня рабочий аврал. Куча работы навалилась! Ай эм сорри! Созвонимся завтра, хорошо? - и первой вешаю трубку.

Пуускай переваривает информацию. Никуда он от меня не денется. Надеваю эротическое белье, чулки. Снова смотрю на себя в зеркало: «Богиня! И ты отдаешься смертным?»

Воспоминания! Когда же я от вас смогу избавиться? Куда мне деться от вас? Скажите мне, проклятые?

- Доченька! Радочка!

- Чего ты от меня хочешь, мама?

Я покинула дом, где меня насиловал отчим, в семнадцать лет. Мать никогда не желала выслушать меня. У нее не было на меня времени. Ни тогда, когда меня трахала эта пьяная скотина, которую я была должна называть своим отцом. Ни тогда, когда я сбежала после его очередного пьяного любвеобильного приставания на улицу, где меня перехватила компашка пьяных юнцов, затащивших меня - орущую - в сраную раздолбанную девятку, затыкая мне рот вонючими потными ладонями и отвезших к черту на кулички, чтобы глумясь, пустить меня по кругу, а напоследок избить.

Поруганная, отверженная, истекающая кровью, ненавистная самой себе, я спряталась в чужой парадной, на балконе, около черной лестницы, воя в полголоса, как побитая собака. А он - незнакомый мужчина, приехавший случайно в гости к кому-то - этакий вальяжный

барин, вышел на балкон покурить. Не хотел дымить в квартире. Его звали Кирилл. Благодарное имя, не правда ли? Увидел вдруг меня и подобрал, как Каштанку, пожалел. Отвез в больницу, к своему знакомому врачу, который зашил мне все разрывы и назначил лечение. Кирилл навещал меня каждый день, а когда я окончательно поправилась, забрал жить к себе. Со временем мы стали с ним близки. Он стал моим Пигмалионом, а я - его Галатеей. Дал мне образование, привил хорошие манеры и самое главное: он научил меня любить себя. А как могло быть иначе, если мужчина постоянно твердит тебе о том, что ты королева? Будучи сам при этом Королем! Сказка закончилась быстро. Через несколько лет он погиб во время утренней пробежки. Незнакомый выстрелил ему в голову, а потом скрылся. Убийство так и осталось нераскрытым.

- Так чего же ты хочешь от меня, мама?

- Доченька, помоги отцу! Нужны деньги! У него цирроз печени прогрессирует.

- Отчиму? Допился, тварь! Туда ему и дорога!

- Рада, сволочь ты! Он тебя кормил-поил-одевал-обувал! А ты - отчиму!

- Ага! Обувал-одевал и регулярно потраховивал, когда тебя дома не было! А ты меня тогда слышала? Я зывала к тебе долгие годы, мамочка! Где ты была?

- Проклятая! Ты мне мстишь, да? За то, что я когда-то недодала тебе внимания?

- Я уже не мщу, мамочка! Ни тебе, ни ему! Но и помогать я вам не буду! Пускай гниет в аду, тварь! Там ему и место!

- Рада! Что ты говоришь такое?

- То, что думаю! Я уже давно взрослая девочка, мамочка! Папочка... тот, который теперь, сука... погибает от цирроза печени

трахнул меня в четырнадцать лет! Он был моим первым мужчиной! А ты тогда решила, что у меня месячные начались. Помнишь, мамочка? Ты знаешь, чудовища все так же приходят ко мне каждую ночь. Они окружают мою кровать, стоят и молча смотрят на меня! И я не могу заснуть. Засыпаю лишь под утро, и так много лет подряд.

- О, Боже! Значит, это была правда?

- Да, и ты об этом знала изначально. Просто отгоняла эту правду от себя. Тебе так удобно было. Я понимаю тебя по-женски. Ты же двоих сыновей от него родила. Двоих потенциальных алкоголиков. Удачи тебе, мамочка! И знаешь, что?

- Что, Рада? Доченька ты моя!

- Да, пошла ты к черту, мамочка! Мне тебя совсем не жалко! Арривидерчи, рома!

Итак, я полностью собралась. Замираю перед зеркалом и придирчиво себя оглядываю с ног до головы: «Ничего не скажешь! Прекрасно выглядишь, королева!»

Опять звучит «Мелодия на струне соль».

Очередной кобель. Как же вас сегодня много по мою душу! И кто на сей раз мне звонит? Митя, Андрей, Володя, Жан или...?

Бросаю беглый взгляд на часы: два часа уже прошло. Значит, это Митенька. Подъехал, миленький. А куда он от меня денется? И не только он. Все они, кобели чертовы, у меня в кулачке сидят. Морщю лоб. По-моему, я что-то забыла перед выходом. Ах, да, надеваю маску «Цветочек», улыбаюсь и подношу трубку мобильного к уху:

- Ко-о-тик? Это ты? Здравствуй, родной мой. Как я рада снова тебя слышать! Конечно, я уже полностью собралась. Спускаюсь, любовь моя.



ЕВГЕНИЙ ДУДНИК

Один день из жизни участкового Ерохина

Солнечный луч радостно проник в комнату через неплотно прикрытую занавеску, пополз по подоконнику и упал на лицо спящего человека. Мужчина средних лет поморщился и открыл глаза, прислушался. В утренней тишине громко тикали часы. Будильник мужчине был не нужен, хоть и стоял на старомодном деревянном камоде у стены. По многолетней привычке он просыпался ровно в шесть часов утра и некоторое время прислушивался, стараясь понять, что же его разбудило. Убедившись, что вокруг всё спокойно, не вставая, несколько минут разминал затёкшие после сна суставы рук и ног. Немного беспокоило ушибленное в прошлом году колено, пока ходишь всё нормально, а вот после сна требовалось привести сустав в рабочее состояние. Поднявшись, он энергично сделал зарядку, оделся и вышел на крыльцо дома. По старой армейской привычке взял стоявшую на крыльце двухпудовую гирю и выжал её по двадцать раз каждой рукой. Этот ритуал мужчина проделывал регулярно, уже больше двадцати лет, убеждаясь, что есть ещё порох в пороховницах.

Ивану Егоровичу Ерохину было сорок семь лет. Семнадцать из них он служил в милиции, теперь по-новому в полиции. За годы службы он поменял несколько должностей в разных службах системы. После скоропостижной смерти своей жены он работал участковым уполномоченным в селе Ухабино, где и проживал. Бывший пограничник Иван Ерохин после срочной службы в армии на протяжении ряда лет работал водителем автолавки РайПО. На своём автомобиле, в любое время года, он объезжал все отдалённые деревни и хутора в районе, порой являясь единственным связующим звеном между людьми и районным центром. Одновременно Иван учился заочно в автодорожном техникуме. После окончания техникума его пригласили в Райком комсомола

и предложили пойти работать в милицию. Так Ерохин попал на работу в органы внутренних дел. Ерохин хотел пойти работать в ГАИ, но ему объяснили, что вакантных мест пока в этой службе нет и предложили попробовать себя в патрульно-постовой службе. В дальнейшем хорошее знание местности, людей и обстановки в отдалённых деревнях, не раз помогало ему в выполнении поставленных задач.

Жена Ерохина Екатерина, с которой он прожил больше двадцати лет, умерла неожиданно. Как-то пожаловалась ему на то, что у неё болит бок. Сельская жизнь напряжённая, то одно болит, то другое, времени на себя вечно не хватает: работа, хозяйство. Когда спохватились, врачи сказали, что ничего уже сделать нельзя. Похоронили Екатерину на сельском кладбище. Сын Владимир уехал в город, поступил в институт и возвращаться в село не собирался. Вот тогда и решил Ерохин пойти в участковые уполномоченные. Что-то в жизни надо было срочно менять. Или затоскуешь, запьёшь горькую, вся жизнь под откос. А участковый, целый день на виду. Посмотришь, как у людей плохо и своя боль отходит, куда-то на второй план. Оказывается, бывает и хуже. Работа помогала Ивану забыться. Скотину он не держал, не знал когда вернётся домой, а собака по кличке Хват, беспородная дворняга, когда-то подобранная по доброте душевной, жила в конуре без привязи. К людям не приставала, но и чужих во двор не пускала. Если хозяина долго не было, ходила к соседям что-нибудь перехватить. Те кидали собаке какой-нибудь еды, понимая, что Егорыч опять где-то на службе.

За семнадцать лет Иван дослужился до звания капитан, что по сельским меркам было хорошо. Потолки званий в сельских подразделениях были ниже, чем в городах. Несмотря на одинокую жизнь, форма его

была всегда выстирана и отглажена. Обувь начищена. Роста Иван был чуть выше среднего, коренаст, волосы чёрные с сединой, глаза карие с хитринкой. Служба в пограничных войсках приучила его к высокой бдительности даже в мелочах, а служба в милиции к постоянной готовности к немедленным действиям, умению правильно оценивать обстановку и правильно принимать целесообразные решения. Вот и вышло, что капитан Ерохин нашёл своё место в жизни. Руководство отдела, в котором служил Иван, оценивало его работу положительно, периодически отмечая это премиями и благодарностями. Что в наше время уже хорошо.

Позавтракав и накормив собаку, Иван завёл служебный мотоцикл и поехал в опорный пункт. На столе у него лежали три заявления. Первое было от Марии Спиридоновой, женщины лет сорока, проживающей на конце села. Жаловалась она на мужа, пьяницу и дебошира. Николай Спиридонов, неопрятный мужчина, напившись, периодически её поколачивал. Застать их обоих дома можно было до начала рабочего дня, когда жена ещё не ушла на работу, а муж не убежал похмеляться к собутыльникам. Поэтому Иван решил разобраться с этим вопросом в первую очередь. Мария писала на мужа не в первый раз, но когда приезжал участковый, чтобы посадить его на «сутки», прощала его и забирала заявление. В этот раз Иван решил, что хватит уговаривать пьяницу и дебошира, пора принимать жёсткие меры. Подъехав на улицу Цветочную и заглушив мотоцикл, вошёл во двор и направился к крыльцу. Постучав в дверь, толкнул её вперёд. Дверь со скрипом подалась внутрь. «Хозяева!» - громким голосом позвал он. Ответа не последовало. Отворив входную дверь в дом, Иван шагнул в помещение. «Хозяева!» - ещё раз позвал Иван. Из соседней комнаты раздался стон. Быстро пройдя вперёд, увидел лежащую на кровати Марию. Левый глаз на её лице полностью заплыл, само лицо представляло собой что-то красно-синее, не имеющее формы. Иван медленно начал закипать. «Где муж?» - спросил он у Марии, та показала рукой на улицу. Понятно, уже

ушёл к друзьям похмеляться. Вызвав скорую помощь на Цветочную улицу, направился искать дебошира. Куда идти Иван знал, ведь не зря вырос в Ухабино, свой контингент изучил хорошо. Через дом от Спиридоновых жил горький пьяница по прозвищу «ботало» - Степан Погодин. У него дома постоянно собирались местные пропойцы. Если сам хозяин был безобидным, то гости у него могли оказаться какие угодно, судимых в Ухабино хватало, да и «залётные» могли оказаться. Подойдя к дому Погодина, не смотря на раннее время, участковый услышал громкие голоса. Постояв у забора так, что его не было видно, из разговора понял, вечером ждут каких-то гостей. Надо будет вечерком проверить, подумал Ерохин. Толкнув калитку, вошёл во двор. На крыльце дома сидели три человека: хозяин, Николай Спиридонов и неизвестный парень лет двадцати пяти. Подойдя к ним, Иван сказал Спиридонову: «Пойдём со мной. А это кто?» - спросил он у Погодина, показывая на парня. «Это мой племянник Серёга, вчера приехал в гости из города». Этот ответ пока удовлетворил Ерохина. Взяв Спиридонова под руку, повёл его к своему мотоциклу. Николай не сопротивлялся, только спросил: «Машка, сволочь, заяву накатала?» Иван, вспомнив распухшее лицо Марии, еле удержался, что - бы не двинуть как следует дебоширу. «Ладно, - подумал Ерохин, - в этот раз отсидишь все пятнадцать суток, лично походатайствую перед судьёй». Доставив Спиридонова в опорный пункт, вызвал дежурную машину из отдела. Пока оформлял документы, машина подъехала. Отправив задержанного в район, посмотрел на часы. На часах было без пятнадцати десять.

Второе заявление было от Антипенко Петра Николаевича, довольно пожилого человека. Жаловался он на своих соседей - молодую пару, проживавшую во второй половине двухквартирного дома. Молодёжь допоздна слушала громкую музыку, которая мешала отдыхать ветерану Замечания, которые он делал соседям, оставались без удовлетворения. «Надо с ними серьёзно поговорить, - подумал Иван, - совсем молодёжь распоясалась.

Никакого уважения к старикам». Почему-то вспомнился собственный сын. Как он там, в городе? Что-то давно не звонит и не приезжает. Надо будет сделать ему внушение. Иван любил и жалел своего сына. Считал себя виноватым, что не настоял на своевременном медицинском обследовании жены. Вот теперь сын без матери, а он сам всё время на работе и не может уделять ему достаточно внимания. Улица 1 Мая на которой проживал Пётр Николаевич, находилась в центре Ухабино. Подойдя к дому, участковый решил зайти сначала к заявителю. Ветеран был дома, собирался идти в магазин. «Здравствуй Пётр Николаевич, как ваше здоровье?» - поинтересовался Ерохин. «Здоровье-то ничего, Иван Егорович, да вот соседи больно шумливые. Я им слово, они мне два, совсем не хочет молодёжь нас, стариков, слушать. Хоть ты бы на них повлиял. А так жить можно, пенсия хорошая. Сейчас у нас всё есть и телевизор, и холодильник, телефон вот к 9 Мая провели. После войны мы об этом даже и не мечтали». Пообещав ветерану разобраться в его проблеме, Иван направился к соседям. Соседями Антипенко была молодая пара лет двадцати семи, Светлана и Игорь Перепёлкины. Нормальная семья, которая, как большинство молодёжи, имела на всё своё мнение, не всегда правильно отражавшее жизненную действительность, в большинстве состоявшую из приобретённой житейской мудрости. Постучав в дверь, Ерохин прислушался. Услышав тихие шаги за дверью, обрадовался, что дома кто-то есть, не придётся приходить ещё раз. Дверь открыла Светлана, молодая, привлекательная женщина. Удивлённо посмотрев на участкового, поздоровалась. «Здравствуй, здравствуй, хозяйюшка, - ответил Иван. - Разреши зайти к вам в гости, разговор есть». «Проходите, раз пришли», - уважительно ответила хозяйка и пропустила гостя вперёд. Жили Перепёлкины по сельским меркам неплохо, была в доме и новая мебель, телевизор, большой холодильник. На тумбочке стоял большой музыкальный центр. «Смотрю, вы новый агрегат прикупили», - сказал участковый, показывая рукой на музыкальный центр. «Да, Игорь на лесовозе водителем работает, на

безденежье не жалуемся. Зачем пришёл, Иван Егорович? Ты ведь человек государственный, зря казённое время тратить не будешь». «Да вот порадоваться за вас хочу, сами хорошо живёте, весело, да ещё пол-улицы бесплатной музыкой по вечерам обеспечиваете, до глубокой ночи веселитесь. И старики с вами за одно, веселятся - приговаривают, ай какие Перепёлкины молодцы, сами не спят и нам не дают. Нехорошо, Светлана, не одни здесь проживаете, соседей уважать надо, тогда и вас уважать будут». Хозяйка дома покраснела, видно, слова Ерохина возымели необходимый эффект. «Ты вот мне скажи лучше, почему у вас, такой хорошей и обеспеченной пары, до сих пор детей нет? Вроде и живёте не первый год, в семье достаток, может, болит что? Тогда я пойму». Женщина покраснела ещё больше. «Был бы ребёнок, другая в доме музыка была бы, - продолжал воспитывать хозяйку Иван. - Ты не боишься, что Игорёк твой поедит, поедит да и найдёт кого помоложе. Мужика в доме, кроме весёлой хозяйки, дети держат. Мой совет тебе: заводите детей, дом без детей пустое место. Годы-то быстро летят». «Ладно, кончай воспитывать меня, Иван Егорович, совсем в краску вогнал. Насчёт музыки я поняла, наверное, сосед пожаловался, да и про детей твоя правда. Муж всё говорит, давай для себя поживём, а годы действительно летят». «Если поняла, тогда я пошёл», - сказал участковый и направился к выходу. «Вот ещё одно заявление рассмотрено», - подумал Иван. Хорошо, что вот так всё, по-мирному разрешилось, а то бывает и по-другому. Разные люди, разные судьбы. А ведь есть в селе и почти профессиональные сутяжники, пишут друг на друга жалобы пачками. Мало того, что обиды выеденного яйца не стоят, так ещё и уступать друг другу не хотят. Вот тут и становится участковый тем буфером, разделяющим две воюющие стороны. Так и ходил Ерохин от одних к другим, от дома к дому, от человека к человеку, помогая людям, считая, что добрыми, разумными словами можно порой добиться гораздо большего. Но со своей житейской мудростью понимал, что иногда необходимо и власть употребить. Хватало на селе и разного сброда. Коль не

хочет человек понимать хорошего отношения, тиранит родных, близких, просто жителей села, к таким участковый был беспощаден. Разбирался с ними капитан Ерохин с тем упорством, с каким уже более двадцати лет каждое утро выжимал двухпудовую гирию: тяжело, а надо. За это и уважали его на селе, приговаривая за глаза: Ерохин сказал - значит сделает. Вернувшись в опорный пункт, Иван оформил необходимые документы, подумав про себя: «Боремся с бумагами, боремся, а их всё больше и больше». Посмотрев на часы, с удивлением увидел, что уже обед. Быстро времялетит. Разбирая чужие проблемы, Ерохин забывал о своих, а у него, как и у других, они тоже имелись. Недавно после дождя потекла крыша. Надо заехать в магазин, заказать пару листов шифера. Не велик ремонт, а затягивать не надо. «После обеда поеду рассматривать третье заявление, заодно и в магазин заскочу», - подумал Иван, заводя свой выдавший виды служебный мотоцикл.

Заехав после обеда в сельский магазин, Ерохин разговорился с продавщицей, одинокой женщиной лет сорока, Фроловой Зинаидой. Жители села любили её за весёлый характер, бойкий язык, за доброту и отзывчивость. Всем была она хороша, да вот замуж никак выйти не могла. По молодости жила она с каким-то мужичком, да видно не срослось, после нескольких лет совместной жизни разбежались. И детей у неё не было. Так и холостяковала Зинаида. Иван ей давно приглянулся, серьёзный, положительный, и, что не маловажно, одинокий. Хоть сейчас под венец. Но, несмотря на все её заигрывания, разговоры о женитьбе Иван сразу пресекал. Видно не перегорело ещё в душе после смерти его Катеньки. Зинаида была женщиной умной и этот вопрос не форсировала, но и виды на Ивана со счетов не сбрасывала. Шутками да прибаутками старалась расположить его к себе. Решив вопрос с шифером, Ерохин в магазинное окно увидел приезжего парня, которого видел утром у Степана Погодина. «Слушай, Зинаида, а этот паренёк к тебе сегодня не заглядывал?» - показал он сквозь окно на незнакомца. «Да как же, заходил, даже

два раза. Купил какую-то мелочь, а в магазине толкался полчаса. Всё выглядывал что-то, а приобрёл спички, да полотно для ножовки по металлу». «Понятно», - сказал Ерохин и двинулся на выход. На улице он с удивлением увидел, что паренёк куда-то пропал, как в воздухе растворился. «Надо вечером зайти к Погодину, выяснить, надолго ли к нам его родственник, да заодно документы проверить», - ещё раз подумал Ерохин.

Третье заявление было от заведующей детским садом «Дюймовочка». Кто-то вечерами в выходные повадился ходить на детскую площадку садика, распивать спиртное. После этих посиделок в песочнице оставались пустые бутылки, окурки и разный другой мусор. Конечно, она догадывалась, что это были местные подростки, но поймать пока никого не удавалось. Ерохин знал, что группа подростков ПТУшников, обучавшихся в соседнем посёлке, приезжает домой в село на выходные. Верховодил среди них Сергей Заухин. Подросток был сложный, пятнадцать лет, переходный возраст. В семье Заухиных два брата находились в заключении, отец пил. В общем, та ещё семейка. Подъехав к дому так, чтобы не был виден служебный мотоцикл, участковый пошёл к калитке. Расчёт был на неожиданность, а то дверь здесь могли и не открыть. В этой семье Ерохина не любили. Двух сыновей хозяина дома отправил в места заключения участковый Ерохин. Подойдя к входной двери, он толкнул её вперёд, одновременно громко позвал: «Хозяева!» Заухин-старший сидел за столом. Перед ним стояла открытая бутылка водки, до половины налитый стакан, на тарелке было нарезанное сало, два солёных огурца и кусок хлеба. «Поздно обедаешь, Пётр», - сказал Ерохин. «Да я не обедаю, сынов своих вспоминаю, тобой посаженных Иван Егорович». «Это хорошо, что ты их не забываешь Пётр, а если с младшим Серёгой не разберёшься, то, возможно, и третьего вспоминать будешь». «Что он ещё натворил?» - спросил хозяин дома. «Сдаётся мне, что это он по выходным с дружками повадился в детский садик ходить, спиртное там распивать. Намусорят, стекла

битого набросают, а ведь там маленькие дети играют». «Хорошо, я поговорю с Серёжкой. Больше они туда ходить не будут». «Ну вот и ладушки», - сказал Ерохин, направляясь на выход. Разговор с Заухиным дался нелегко. Что в этом доме ему не рады, Иван знал точно. Два сына Заухина сидели по одной статье. На танцах в местном клубе братья до полусмерти избили приезжего дачника, тот стал инвалидом. Они и до этого случая любили похулиганить. Ерохин не один раз проводил с ними профилактические беседы, да видать не в коня корм. Как напьются, про все обещания забывают. После происшедшего, Иван не стал с ними церемониться, и в суде всё решилось быстро. В общем, сели оба брата надолго. Младший брат тоже не был паинькой, всё стремился верховодить местными малолетками. Не упустить бы этого. Надо поговорить с инспектором по делам несовершеннолетних. Может, организовать какую-нибудь футбольную команду, а его назначить капитаном. Надо перевести его энергию из знака минус в знак плюс. В общем, над этим надо будет ещё подумать.

Ерохин ехал в оперпункт и думал: «Отзвонюсь дежурному по отделу, узнаю свежие указания начальства. Может быть, есть, что то срочное». Дежурный выслушал доклад участкового, сделал пометки в журнале и сказал: «Ты там смотри, в соседней области был замечен бежавший из ИТК четырежды судимый убийца и насильник Свиридов. Он очень опасен. При побеге убил конвоира, ему терять нечего, все равно вышка. - Дежурный перечислил приметы беглеца: - Фото получишь завтра в отделе. Одной из примет был шрам на правой щеке». Рабочий день приближался к своему завершению. Оставалось съездить к Погдину проверить его гостя. Подсознательно этот парень вызывал у капитана Ерохина чувство настороженности. Чем больше он о нём думал, тем больше всплывало в памяти мелких подробностей, из которых, складывалось какое-то недоверие. Раньше Иван этого родственника в Ухабино никогда не видел. Когда забирал Спиридонова, незнакомец, как будто невзначай, убрал свои

руки за спину, но Ерохин успел заметить на его руках наколки. Что там было наколото, изучать не было времени, а ведь это открытая книга для тех, кто в этом разбирается. Как бы паспорт и прописка в уголовном мире. Болтался возле магазина, что-то высматривал, но ничего толком не покупал. Наконец купил полотно для пилки по металлу, что собирается пилить? Когда участковый вышел из магазина, куда-то исчез, словно не хотел, чтобы его лишний раз видели. На первый взгляд, ничего не значащие, мелкие, разрозненные события при внимательном анализе выстраивались в тоненькую цепочку подозрения. В чём Ерохин подозревал незнакомого парня, сейчас он и сам ещё не мог бы сказать. Конечно, по ориентировке он на разыскиваемого Свиридова не походил, был слишком молод, но проверить документы было необходимо.

За годы работы в органах внутренних дел, Ерохину приходилось задерживать многих, и когда работал в патрульно-постовой службе, и в уголовном розыске. Сейчас, когда его работа участковым уполномоченным сводилась больше к разбору различных конфликтов между людьми, он не забывал навыков, полученных при работе в смежных службах. Дела, которыми занимался Ерохин сейчас, отнимали у него много времени. Работая с населением, его оружием был не пистолет, а авторучка, хотя пистолет у него тоже имелся. Люди приходили к Ерохину в любое время. Если в городе сотрудник после работы может затеряться в каменных джунглях городских домов, то в селе, каждый сельчанин знает дом, где живёт участковый. Многие жители Ухабино приходили к Ивану домой в нерабочее время. Ерохин принимал это как должное. Если мог, давал совет на месте, если нет, говорил, чтобы приходили в опорный пункт. Но каждый обратившийся к нему житель села знал, что без внимания его обращение не останется. Потому жителям Ухабино и нравился участковый Ерохин. Спокойный, уверенный в себе, одним словом - профессионал.

Подъехав к улице Цветочной, участковый заглушил мотоцикл и решил пройти к

дому пешком, тихо, без лишнего шума. Эта привычка выработалась у капитана давно. Только в кино, работники полиции подъезжают к месту вызова с включёнными маяками и воем сирены. Если бы так было в жизни, то в большинстве случаев, к моменту прибытия на адрес, ловить было бы некого.

Подойдя к калитке, у которой он был утром, осторожно заглянул во двор. Во дворе никого не было. Отворив калитку, Ерохин пошёл к дому. Подойдя к крыльцу, увидел шевельнувшуюся занавеску в окне. Заметили. Громко постучал в дверь. Через какое-то время, из-за двери раздался голос хозяина дома: «Кто там?» «Открывай Степан, - сказал участковый, - ты же знаешь, я не уйду». Дверь тихонечко приоткрылась. «Что надо Иван Егорович? Зачастил ты ко мне, вроде я тебя не вызывал. Или жалоба на меня какая поступила?» - «Да вот, хотел с твоим родственником поближе познакомиться, что-то я его здесь раньше не видал». - «Да нет его, ушёл погулять, дело молодое». Пускать участкового в дом Погодина, видимо не собирался. «А давай мы в дом пройдем и подождём его», - сказал, напирая на дверь, Ерохин. Дверь медленно поддалась. «Вот так будет лучше. Откуда говоришь, твой родственник приехал?» Погодина, молча, хлопал глазами. «Да вот он сам идёт, у него и спросишь», - сказал Погодина. Во двор входили двое. «Давай-ка, пройдем в комнату, а то, что мы тут в твоём предбаннике топчемся», - сказал участковый. В окно было видно, что по тропинке к дому идут два человека. Степан заметно занервничал. В руках того, что помоложе, был цветной пакет. «Кто второй?» - спросил Ерохин? «Знакомый», - процедил сквозь зубы Погодина. «Ты не говорил, что ждёшь ещё кого-то». - «А я и про первого тебе ничего не говорил». Дверь в дом приоткрылась, и Иван услышал в прихожей бряцанье бутылок. Стало понятно, с чем был пакет. Видно, знакомцы решили хорошенько отпраздновать встречу. Войдя в комнату и увидев в ней капитана полиции в форме, замерли, как на картине Репина «Не ждали». «Ну что ж ты, Степан, гостей у порога держишь, приглашай

в дом», - сказал участковый. «Проходите, проходите», - засуетился хозяин дома. Между тем, Ерохин медленно двинулся к дверному проёму, намереваясь встать так, чтобы ни у кого не возникло желания неожиданно покинуть комнату. Вспомнился и утренний разговор на крыльце, о том, что вечером должен кто-то приехать. Одним из вошедших был так называемый родственник Погодина, второй, был мужчиной гораздо старшего возраста. Взглянув ему в лицо, Ерохин увидел заметный шрам на его правой щеке. Да и по другим приметам, которые сразу «прокачал» участковый, вновь пришедший был похож на разыскиваемого Свиридова. «Может, совпадение», - подумал Ерохин, рука сама потянулась к застёжке кобуры. Но достать пистолет участковый Ерохин не успел, события начали стремительно развиваться. Тот, что был помоложе бросился на Ерохина, на ходу выбросив правую руку вперёд, целя участковому в лицо. Иван перехватил кисть незнакомца в запястье, резко поднырнул под руку, одновременно выворачивая её назад, со всей силы рванул руку вверх. Раздался хруст и одновременно дикий крик. Так, один не боец. Краем глаза Ерохин заметил какое-то движение сбоку. Развернуться в ту сторону он уже не успевал. Острая боль пронзила ему спину выше пояса. «Достали», - мелькнуло в голове. Поворачиваясь вправо, Ерохин увидел звериный оскал на лице Свиридова, в том, что это он, уже не было никакого сомнения. В руке Свиридова был окровавленный нож. Рука с ножом находилась на уровне пояса участкового. Понимая, что в небольшом помещении допускать нападающего близко к себе нельзя, Иван носком ноги нанёс сильный удар по кисти, держащей нож. Тот с шумом вылетел из руки. Видимо, не ожидал убийца такой прыти от раненого участкового. Не давая опомниться нападавшему, Ерохин бросился на него и не заметил, быстро выставленную ногу Погодина. «Вот тебе и тихоня», - подумал, падая с грохотом, Иван. Воспользовавшись образовавшейся заминкой, Свиридов бросился в освободившийся дверной проём и выскочил из дома. Перемахнув через невысокий забор, он бросился бежать огородами к ближайшему

лесу. Преодолевая сильную боль в спине, участковый, вскочив на ноги, бросился за убегающим. Увидев убегавшего, капитан понял, что ему его не догнать. Ведь уйдёт, заляжет на дно, ищи свищи его потом, сколько жизней заберёт ещё этот зверь. Ерохин не мог видеть, что вся его одежда, сзади была мокрой от крови. Вытащив из кобуры табельный ПМ, участковый стал прицеливаться в убегавшего. Перед его глазами вдруг закружились мелкие чёрные мушки, и земля, вдруг стала какой-то податливо мягкой. «Врёшь, не уйдёшь», - подумал Иван. Из последних сил напрягая волю, поймал в прорезь прицела мушку пистолета, совместив её, как делал много раз на стрельбах, с фигурой убегавшего, плавно нажал на спусковой крючок. Человек продолжал бежать, или это только казалось Ерохину. «Ничего», - подумал Иван, поймав его ещё раз на мушку, вновь нажал на спусковой крючок. Где то всё время слышались голоса, но в уши как будто натолкали ваты. Темнота. Наверно, выключили свет. Это было последнее, что зафиксировало слабеющее сознание капитана Ерохина.

Яркий свет, белый потолок, большое окно, незнакомая комната, запах хлорки. Больница. что ли, подумал Ерохин, оглядываясь вокруг. Очнувшись, услышал он, чей-то женский голос. Открылась дверь и в палату быстро вошёл врач. «Ну как чувствуешь себя, герой?» - спросил врач. Иван смотрел на него непонимающим взглядом. Пощупав пульс на руке, врач внимательно поглядел в глаза Ерохину. «Понятно, ещё не совсем пришёл в себя. Там к тебе гости рвутся, я их на пять минут запущу, в целях получения положительных эмоций». Выглянув за дверь, сказал кому то: «Заходите, только на пять минут, он ещё очень слаб». В палату вошли осунувшийся

сын Владимир и Зинаида. С собой у них был пакет с фруктами. Глядя на них, Ерохин подумал: «Как это здорово иметь близких людей. Надо будет получше присмотреться к Зинаиде. А вдруг ещё не поздно начать всё сначала». Взахлёб они рассказывали Ивану, что выстрелы услышали соседи и позвонили в полицию. Они же вызвали «скорую помощь». Потом приехала оперативная группа и нашла в огороде убитого преступника. Поймала в ближайшем лесу второго, с поломанной рукой. Забрали и Погодина до выяснения. Потом ему Ерохину четыре часа делали операцию, и он едва выжил, в больнице он уже четвёртый день. Потом приезжало руководство отдела и сказало, что готовит документы на награждение Ивана правительственной наградой.

Вот так прошёл один день обычного сельского участкового уполномоченного, капитана Ерохина. Надо добавить, что выйдя из больницы через два месяца (лечение было сложным), Иван узнал много нового. Напарник убитого Свиридова рассказал, что они готовились ограбить магазин в Ухабино. Он был отправлен вперёд, чтобы осмотреться, потом должен был подъехать Свиридов. Случайно они попали в поле зрения Участкового Ерохина. Оказывается, очень давно Погодин сидел вместе со Свиридовым по малолетке, где и познакомились. Потом капитану вручили орден «За личное мужество», ещё через какое-то время ему присвоили звание майора полиции, приказом начальника управления области. В личной жизни у теперь уже майора Ерохина, тоже всё наладилось. Иван женился на Зинаиде, через девять месяцев у них родилась хорошенькая девочка, назвали они её Катей. Будете в Ухабино, спросите участкового Ерохина и всегда сможете получить порой так необходимую помощь.



АННА СКВОРЦОВА

Юбилей

*Юбилей бывает грустным,
Если радость не делить,
С человеком, что искусно
Смог любовью окрылить.*

Анна Скворцова

Жизнь незаметно пролетает мимо нас, пряча скорость бегущего времени. Пучина земной круговерти затягивает, скрывая биологические изменения организма. Стремление улучшить своё положение присуще каждому человеку. В погоне за улучшением мы не замечаем, как стареем. Правда, знакомые, долго не видя нас, отмечают изменения. Беззаботное детство длится, как нам кажется, очень долго. Но долгожданные семнадцать лет включают скорость счёту. И те, кто не наигрался в детстве, продолжают играть по жизни.

В данном случае у мальчишки было бедное послевоенное детство, в далёком Сибирском пригороде, на берегах Оби. Жизнь, несмотря на детство, многому научила. Поэтому, когда семья оказалась в одном из Волжских городишек, юноша уже знал к чему надо стремиться. Цель, которую он поставил себе, ко многому обязывала, поэтому волю своим эмоциям он давал в кругу только самых близких людей.

Энергия, юмор, лёгкий нрав открыли дорогу быстрому карьерному росту и помогли забыть долговязую, с бледной кожей, невыразительную девчонку, которая так увлекла его: быть может, это была первая любовь. Рана измены долгие годы напоминала о себе. Но на новом месте работы он встретил Жанку, которая помогла забыть и сумела повторить ту девчонку своим выходом замуж.

Всё это очень быстро пролетело и карьерный рост к юбилею подарил обыкновенный стул, который больно напомнил о министерском кресле под гербом Двуглавого Орла.

«Странно, - думал он. - Был министром, стал пенсионером. Жизнь промчалась, а я и не заметил, как подкатил этот юбилей».

Подготовка к нему началась давно. Выбор помещения времени много не занял - друг помог, а продукты и спиртное, имея деньги, не затруднили. Жена заботилась об украшении столов и зала. Только мысли тиранили юбиляра. Желание пригласить на свой юбилей Жанку не давали покоя. Да и вообще, он вспоминал о ней всегда, когда обращался к своей жене:

*Ты, как и я, не позабыл
те чувства наших прошлых лет.
О них друзьям ты сообщил
и через них прислал привет.
По жизни рядом мой фантом
в семье твоей, как дух, живёт.
Стегает память, не кнутом,
а именем, что образ ткёт.
Жену зовут, как и меня,
наверно шалости судьбы,
Ведь каждый день, тебя дразня,
не слышит жалобной мольбы.
Мне душу в марте мысль твоя
выводит из забвения.
И каждый год ко мне летя,
тревожит без стеснения.*

Как ни странно, немножко мистично, спустя годы, Жанку тоже стали тревожить воспоминания. Успокоение приходило после выплеска их на бумагу в стихах:

Сегодня - День Восьмое марта:

*цветы, подарки и звонки,
Но нет в душе бывшего старта.
Младые чувства - далеки
А вот фантом твой без отрыва
даёт общение с тобой.
Он мысли днём без перерыва
в сон гонит тёплой волной
Всё это с нами – не случайно!
Ведь много лет тому назад
Весна пришла необычайно.
Любви и ласки был каскад.
Нас чувства нежные томил.
Нам не нужны были слова.
Мы просто искренне любили,
и нить любви ещё жива.*

Март для Жанки всегда был судьбоносным: смерть брата, выход замуж и развод, а восьмое марта однажды:

*Праздник всем - восьмое марта
стал для нас ступенью старта.
В ресторан весной пошли,
развлекаться от души.
Танцевать толкал ритм «Рока»,
хоть и Африка - далёко.
Мои «па» всегда хвалил,
как и я, ты «Рок» любил.
На площадке визжал дико,
модный звук летел от крика.
Все движения - резки
и в пульсации виски.
Будто души африканцев
нападали среди танцев.
Джунгли были далеко,
воплощались всё ж легко.
Дружба - старт, разлука - финиш.
Годы жизни все окинешь,
Танцевать «Рок» не пойдёшь,
в «Вальсе» радость всю найдёшь.*

Спустя годы она дописала последнее четверостишие. В трансляциях по радио ста-

ли чаще передавать песню, которая была в записи на пластинке, подписанной Валеркой, и Жанке всё время напоминала о его дне рождения.

*Пластинку ту, что подарил,
запрятав бережно храню!
Я знаю, ты её любил,
и Ободзинского ценю!
Волнуясь, слушаю её.
Твой образ вспыхивает в миг.
Я чувствую любви тепло,
наверно, в песню ты проник.
В ней о глазах певец поёт
и просит их не отвести,
А вот судьба все нити рвёт
и не даёт их вновь сплести.
Под спудом чувства все без сна
зачем хранит нам много лет.
Семей зачем наших она
лишает счастья, скрыв секрет.*

Вот так март будоражил не только Жанкины чувства, но и Валеркины. Она помнила его день рождения и знала, что в этом году у него юбилей. Не знала только, как его поздравить, да и он искал причину приглашения, но все варианты не стыковались. Такой мятеж в их душах затянулся на целую неделю перед торжеством. Смятение длилось до восьми часов вечера последнего дня, пока он не принял решение:

- Ни к чему всё это.

Правда, на вечере душа была не спокойна. Ему не хватало её присутствия. Жалость сжимала сердце и заставила его вспомнить о ней вслух при разговоре с общими друзьями:

- Я хотел жениться на ней.

И Жанкина, душа в унисон с его душой, накануне успокоилась, а потом во время этого разговора испытала лёгкое волнение.

Страхов уже не было, всё ушло, потому что:

*Шесть десятков - цикл большой,
но для жизни мало.*

*Понимаем всё душой.
Легче-то не стало.
Как ракета, летят дни
месяца, недели.
Молодость сбежала в сны,
крепко закрыв двери.
Изменить не в силах мы
жизнь земной спирали.
Осознали, что мудры,
не найдя педали.
Возраст ясности ждёт цель
на пути к здоровью,
Без неё – больная хмель
и крестов подворье.
Цель находится в любви,
без неё мы киснем.
Боже, деток озари,
продли нам дни жизни.
Изворотливым открой
на седьмом десятке:
В бескорыстии любой
счастлив и в палатке.*

Жаль, что так пролетает жизнь, даря дни рождения с юбилеями и унося детство и юность, любовь и чувства в прошлое:

*Притупилось осязанье,
нет волнения в груди.
Огрубело прикасанье,
интерес весь позади.
Жизнь инерцию в подруги,
не спросив, легко взяла.
И топтанье по кругу
бескорыстно отдала.
Потому что тело - тленно.
Вечный дом Души - астрал.
Пролетает жизнь мгновенно,
губит грех нас, как вандал.*

Этот юбилей открыл Валерке двери новой жизни: покоя, отдыха и лёгких воспоминаний, где мысли о Жанке оставили свой след и тихонько генерировали.

А Жанка, как ни странно, написав этот рассказ, на следующий день открыла для себя, что он, как и Валерка, родился в один день, только шесть лет спустя после его юбилея. Манера написания соответствовала возрасту. Была спокойной, без особых эмоций передачи мысли.

Какие-то невидимые нити тепло связывали их души.



СВЕТЛАНА ПАНОВА

Приключения Нансона

(Продолжение; начало в №№ 6 и 7)

Пульт разбушевался

- Ну, что теперь будем делать? – спросил Нансон, дрожащими руками еле удерживая скользкий аппарат, по поверхности которого взад и вперёд перекатывалась букашка-Катя.

- А что? – неудомевала Вика.

Нансон долго объяснял девочке что к чему. Она согласно кивала головой, но смотрела подозрительно и на путешественника и на букашку. Вика отказывалась верить, что на крышке какой-то простой зелёной коробочки сидит в виде кузнечика её закадычная подруга.

- Держи и ничего здесь не трогай, - приказал Нансон Вике, отдавая пульт. - Я за бабушкой сбегаяю.

Вика подошла поближе к окну. Букашка на пульте действительно сидела. И не просто сидела, а что-то ещё там такое стрекотала. Вика ничего не понимала.

«Наверно, этот странный родственник Бахтеевых меня просто разыгрывает, - подумала она. - Пульт как пульт. Что я пультов не видала что ли? Вот тут, наверно, переключатель программ, а это усилитель звука».

Она нажала на мигавшую зелёную кнопку. У неё вдруг закружилась голова. Она закрыла глаза, а когда вновь открыла их, то увидела прямо перед собой зелёное существо в красном халате. Вика пригляделась получше и наконец узнала Катю. Узнать её было довольно-таки трудно, она сильно переменялась. Шея её непомерно вытянулась и причудливо изогнулась, руки представляли собой какие-то серые щупальца, на спине торчали маленькие крылышки. Только халат был Катин. Застёгнутый на одну пуговицу, он топорщился, еле прикрывая туловище.

- Это ты? – поразились Вика, разглядывая подругу.

- А это ты? – в свою очередь удивлённо

заморгала глазами Катя. - Как ты изменилась!

- Я тоже могу сказать и про тебя, - пискнула в ответ Вика.

- Я теперь понимаю, всё это произошло из-за нансоновского пульта. Эта адская машинка превратила нас в неведомых насекомых. Ну, вот кто ты такая есть, знаешь? – Катя ткнула щупальцем в зелёную грудь своей подруги.

- Я Вика Дорощенко.

- Ха, ха, ха, пугало огородное ты, а не Вика.

- От пугала слышу.

- Викочка, как же мы с тобой теперь на дискотеку пойдём? Я ж не смогу такая Славке Огородникову показаться, он меня засмеёт.

Горячие пирожки

- А вот пирожки горячие, с мясом, с грибами, с капустой, - будто сказочная печка, зазывала прохожих бабушка.

Нансон её сразу заметил. Всю дорогу он нёсся к метро и думал, как сказать ей о случившемся. Но, увидев старушку, вдруг испугался и не мог связать двух слов и только мычал. Правда, бабушка и без слов сразу поняла, что случилось несчастье.

- Что-нибудь с Катюшей произошло?

Нансон молча тряхнул зелёными волосами.

- Постой тут за меня, а я домой сбегаяю, - сказала старушка, снимая фартук.

Нансон быстро нацепил бабушкин передник и нарукавники.

- А вот гроби горячие с мясом, с капустой, - завопил он так громко, что проходивший мимо старичок подпрыгнул от неожиданности.

- Кого грести? – поинтересовался он.

- А всё, что твой душе угодно, - ответил продавец.

Он наложил старику пирогов совершенно бесплатно, ведь в муравейнике денег никто с него за еду не брал. Удивлённый старичок поспешил поскорей ретироваться. Но на смену старику уже бежали бойкие раздатчицы объявлений и дворники. Вскоре образовалась толпа: каждый желал уцепить бесплатный пирожок. Но тут как из-под земли вырос охранник.

- Что за шум, а драки нет? – поинтересовался он.

- Да вот какой-то чудак бесплатно раздаёт пироги, - икая прохрипел толстяк, жуя на ходу.

- Ваши документы, - сказал охранник Нансону.

- Какие документы?

- Удостоверение личности. Вы от какой организации торгуете? Что-то я раньше тут вас не видел.

- Я не из организации, я из муравейника.

У охранника глаза от удивления полезли на лоб.

- Пройдёмте, гражданин, – страж порядка взял незадачливого продавца за рукав и повёл в отделение.

Бабушка

Бабушка бежала к дому не разбирая дороги. Шутка ли, единственная любимая внучка в опасности. Что это за опасность, бабушка ещё не знала, но предполагала самое худшее. Лифт в доме не работал. Когда старушка поднялась по лестнице на пятый этаж, то еле держалась на ногах. Дверь в квартиру была распахнута. Вокруг никого не было, лишь на пороге валялся знакомый зелёный аппарат, который накануне им демонстрировал Нансон. Бабушка наклонилась и подняла пульт. На крышке сидели две маленькие букашки. Одна была в коричневом платье, другая – в красном. В одной из них Прасковья Фёдоровна признала свою внучку, хотя сделать это было довольно сложно.

«А вторая кто же, неужели Катина подружка? – про себя размышляла старушка. - И как их угораздило. А всё непослушание, ну что теперь делать? Да, влипли мы в историю! В школу надо идти», – решила она наконец.

Бабушка поправила сбившуюся на бок косынку и поспешила в школу. Здание школы находилось недалеко, на соседней улице. Когда Прасковья Фёдоровна появилась на школьном крыльце, всюду звенел звонок, означавший что скоро уже начнётся урок. Опоздавшие ребята торопливо пробегали мимо сторожа. Вдруг бабушка заметила Славку Огородникова. Он шёл с угрюмым видом, чуть прихрамывая на правую ногу.

«Вот кто мне нужен сейчас», – подумала Прасковья Фёдоровна и подалась вперёд, навстречу мальчику.

- Слава, – позвала она.

Славка быстро обернулся и увидел старушку, в которой узнал бабушку Кати Бахтеевой.

- Подожди секундочку, - заторопилась та, придерживая под мышкой какой-то предмет. – Мне надо с тобой срочно переговорить.

Славка

Славка не был первым учеником, но товарищи уважали его за прямоту и честность. И ещё он всегда приходил на помощь тому, кто оказался в беде.

Отличаясь весёлым нравом, он никогда не унывал. Но сегодня весёлость оставила его. И всё из-за биологии. По этому предмету у Славки назревала двойка, и он обещал учительнице, Елене Петровне, исправить её, подготовив доклад о членистоногих. Вечером они с мальчишками играли в войну, вооружившись палками, храбро прыгая на ходу с «поезда», то есть с крыши гаража, поэтому пришёл домой он поздно. Он думал скачать статью о насекомых из Интернета, но компьютер, как назло, завис на середине. Он так и не узнал, почему насекомые так малы, почему рот мухи не похож на рот комара, и как отличить кобылку от кузнечика.

«Какое мне дело до каких-то там букашек. У них своя жизнь, у меня своя, - думал расстроенный Славка, шагая утром в школу. – Ну, летают они там и пусть себе по-тихому летают. Тем более у них по шесть лап. Наверно всё успевают сделать, не то что я. Взялся вчера починить Вовкин сотовый телефон и уже было настроил, да нечаянно упустил в ванну с

водой, когда шёл мыться».

Кроме того, правая нога мальчика сильно болела, видно он вчера всё-таки неудачно в последний раз прыгнул с «поезда» Увидав Прасковью Фёдоровну, он сначала подумал, что Катя заболела и старушка хочет предупредить, что та не придёт сегодня в школу. Но бабушка, отозвав его в сторонку, очень просила после уроков не задерживаться и обязательно зайти к ним.

- А что случилось?

Но старушка лишь махнула рукой.

- Иди, а то в школу опоздаешь.

- Хорошо, - пообещал озадаченный Славка.

В караулке

Нансона привели в караульное отделение и заперли одного до прихода начальника в маленькой комнатке. Нансон подошёл к окну. Оно было немного приоткрыто, но решётка не позволяла вылезти.

«Как же теперь быть? – думал Нансон. – Вот я тут сижу, а без меня Катя пропадает. Был бы я, как прежде, насекомым, то свободно пролез бы в любую щёлку и убежал».

С досады он стал отчаянно трясти безжизненные крылья, полученные в дар от царицы муравьёв, Лили. Вдруг у него за спиной, в том месте, где они прикреплялись к спине что-то щёлкнуло, будто завёлся какой-то механизм. Нансон расправил крылья и взлетел к потолку. И когда начальник отделения вошёл в комнату, он заметил над собой только промелькнувшие пятки задержанного.

- Стой! – закричал начальник, но насекомый уже парил в воздухе и был далеко от того места, где его задержали. Он взял курс на запад, где, по его разумению, находился Катин дом. Пролетая над школой, он заметил вдруг внизу Прасковью Фёдоровну. Она двигалась как-то боком, держа в руках небольшой узелок. Нансон сложил крылья вместе и спикировал прямо ей на голову. Старушка отшатнулась в сторону, но узнав Нансона остановилась.

- Ты опять стал летучим насекомым? – спросила она.

- Это получилось совершенно случайно, – Нансон вновь пытался оживить волшебные

крылья, но они снова безжизненно повисли за спиной, будто в них кончился завод.

- Что вы тут делаете и где Катя? – в свою очередь поинтересовался насекомый.

- В узелке сидит, – горько призналась старушка.

- Ну, пойдёмте скорее домой, посмотрим, чем можно ей помочь.

Когда Прасковья Фёдоровна развязала свёрток, то, к удивлению Нансона, на крышке его пульта сидели уже две букашки. Насекомый осторожно переложил их на принесённое бабушкой чайное блюдце. И пока та кормила Катю с Викой крошками от пирога, Нансон внимательно осматривал «адскую машинку» Как ни тряс он пульт, как ни переворачивал с боку на бок, зелёная кнопка больше не загоралась. Тогда он решил разобрать прибор, чтобы осмотреть его изнутри. Он отвинтил почти невидимые невооружённому глазу шурупы от крышки и теперь обследовал корпус. Наконец он заметил сбоку небольшое клеймо. Он хотел прочесть выбитые на нём знаки и не мог: так мелки они были.

- Здесь нужно увеличение по меньшей мере раз в десять, - признался он Катиной бабушке.

Между тем двери отворились, и на пороге появился вихрастый запыхавшийся мальчишка.

- Чего это у вас всё распахнуто? – поинтересовался он.

- А, Слава, проходи, - тихо сказала Прасковья Фёдоровна, - у тебя случайно нет с собой лупы?

Курс на муравейник

Все очень обрадовались, когда среди сломанных телефонных трубок, наушников, старых плат и деталей к компьютерам, на самом дне бездонного Славкиного рюкзака в тетрадке по биологии вдруг отыскалось небольшое увеличительное стекло. Нансон долго рассматривал сквозь него еле проступавшие буквы. Потом передал лупу Славке. Наконец, с большим трудом перенесли увиденное на бумагу. Их взору предстала следующая надпись: 1)3 ^2) 4 >|| X 2

- Что бы это могло значить? – спросил

Славка?

- Предположим, что в этой надписи заключена команда, - рассуждал Нансон. - Тогда цифра 1 означает первое действие. Три раза надо нажать на верхнюю стрелку.

- А во второй – четыре раза стукнуть по стрелке, показывающей направо, догадался Слава. - Тогда чего же означают вертикальные линии, крест и цифра 2?

- Этого я ещё не знаю, - отозвался Нансон. - Может быть надо что-то помножить на два?

- Знаешь что, у меня же есть дневник Лили. Может у царицы что-нибудь про это сказано.

Нансон достал свой рюкзак и вынул папирус. Он долго изучал записи и наконец нашёл описание аппарата, очень похожего на зелёный пульт. Вот, что писала Лили:

«При неисправности прибора воспользуйтесь запасной схемой. Если вы вдвоём хотите превратиться в летучих насекомых, то возьмитесь крест накрест за руки. После этого прибор примет нужный размер».

- Ага, значит крест это скрещенные руки, а два - количество превращающихся, понятно.

- А про то, как обратно превратиться из насекомых в людей, там ничего не сказано? – спросила у путешественника Прасковья Фёдоровна.

Нансон покачал головой. Когда он вновь поставил крышку на место и прикрепил её, то сказал Славке:

- Ну что, слабо попробовать?

- Мне слабо? – вспыхнул Славка.

Бабушка тщетно пыталась отговорить мальчика, он был непреклонен.

- Иногда просто нельзя поступить иначе, сказал он старушке.

Та молча стояла в сторонке и утирала платком слёзы.

- Не унывайте, - подбодрил старушку Нансон. – Мы полетим прямо на муравейник. Лили непременно поможет, она найдёт выход.

Какая-то минута отделяла друзей от старта. Зелёный человечек и вихрастый мальчишка, взявшись за руки, тут же нажали на стрелки.

На лугу

Нюся вместе с другими насекомыми уже несколько часов тряслась по ухабам на железной шестипалой гусенице. Все они ехали на слёт букашек-биологов. Собрание должно было проходить на опушке Дальнего леса. Дорога оказалась неблизкой. Шестипалая гусеница еле плелась. Внутри её что-то страшно скрежетало, а шестой палец постоянно застревал в рыхлой почве

«Надо было на собаке ехать, - думала Нюся. – Да разве начальника экспедиции, члена санитарной комиссии, жука-Навозника можно переубедить? Упёртый, как незнамо что».

В верхнем кармане курточки лежал у неё написанный на пожелтевшем листке осиниуса доклад, с которым Нюся должна была выступить перед делегатами слёта. Пришпиленный булавкой листок шелестел в кармане, и Нюсе казалось, что он вот-вот вывалится. Она поминутно проверяла на месте ли булавка и вертелась при этом, как на иголках, мешая другим пассажирам. Нюся явно волновалась. Да и как не волноваться, готовилась к докладу целую неделю. Он был посвящён злободневной теме: обучению букашек. Ведь не секрет, что каждому насекомому, входящему в жизнь, предстояло многому научиться у старших особей. Молодой муравей запоминал запах своей семьи, пчела - сборщица мёда - изучала местность вокруг улья, да мало ли ещё чего предстояло им вбить в свои маленькие головы. А тут этот ЕГЭ. Система явно не оправдывала себя. Многие букашки не имели даже простых карандашей, а муравьи и вовсе передавали свои мысли на расстоянии, не прибегая к написанию знаков на листке. Это никак не увязывалось с нынешним обучением. Нюся знала об этом не понаслышке и хотела поделиться своими наблюдениями с другими букашками.

Так, задерживаясь на каждом шагу, доехали они наконец до опушки. Железная гусеница прошагала мимо доски почёта, где были вывешены портреты выдающихся букашек: Рыжего муравья, осы-Бамбекса, Пчелы-труженицы.

А на поляне тем временем уже собралась толпа насекомых: жуки, букашки, кузнечики, мошки лежали и сидели в тени высокого Травника. В воздух была поднята целая туча комаров из лётной эскадрильи Прудеро. Лётчики удерживали на весу огромный транспарант, на котором стебельчатым швом было вышито: «Привет участникам слёта». В это же время у подножья большого дуба подходил к концу боевой турнир, огромные жуки-олени мерились силами. Они нападали друг на друга, выталкивая противника загнутыми рогами. Наконец, победил самый огромный жук. Он остался на площадке один, гордо затрубил, а потом припал к источнику с чистейшим дубовым соком и стал жадно пить его. Не успел закончиться турнир, как тут же начались показательные выступления дождевых червей. Сразу двадцать Дождевиков приняли участие в соревновании. Засунув свои головы в пещеры, они губами отрывали кусочки земли, проглатывали их, используя свою подвижную глотку как молоток. Зрители с интересом смотрели, кто из участников пропустит через себя больше почвы. Вдруг под старым дубом раздался звон колокольчика – это заняли своё место в президиуме букашки-старейшины. Среди них был и дедушка Ной. Он известил собравшихся насекомых о прибытии посланцев Главного Хранителя. Посланцы были удивительно похожи на местных тараканов. Только передние лапки у них были короче, но зато усы в два раза длиннее. Гости расселись на первом ряду и многие насекомые, чтобы лучше разглядеть их, сразу же забегали по проходу, производя невероятный шум. Чтобы добиться тишины Ной даже постучал щупальцем по графину с водой.

- Друзья мои, - воскликнул он, - прошу тишины! К нам с дружественным визитом прибыли посланцы главного Хранителя, представляем им слово.

Речь посланца

Гость приветствовал собравшихся букашек на чистейшем тараканьем языке. Но,

между нами говоря, он также прекрасно мог разговаривать на любом наречии любого животного Земли.

- Уважаемые букашки! - пропищал посланец. - Мы очень рады видеть представителей многочисленного рода насекомых Земли. Мы, конечно, несколько обескуражены, так как предполагали, что животный мир на планете будет развиваться несколько по другому сценарию, в котором одну из главных ролей будут играть членистоногие. Хотя бы общественные насекомые: муравьи или пчёлы. Но, как говорится: Хранитель предполагает, а природа располагает. После многих непредвиденных изменений климата пальму первенства на Земле заняли млекопитающие, а главными среди них стал человек.

Люди обитают в большом человеческом муравейнике. Много раз переделывали и перестраивали они его. То выбирали себе царей, то убивали их, не зная как сделать лучше. Люди пытливы и умны, но расчищая перед собой жизненное пространство, они потеснили многих обитателей планеты, тем самым разорвали замкнутые природные циклы. Потребовались миллионы лет, чтобы совместными усилиями микроорганизмам удалось накопить пригодный для существования на Земле жизненный слой, а человек уничтожал его и продолжает делать это и поныне. Кроме того, человек показывает иной раз плохой пример для всех обитателей планеты: любит приобретать блага, не напрягая муравьиных мускулов и обманывая только что вылупившихся сородичей, наживаясь на их простоте. Что делать с ним и как достучаться до его разума, мы не знаем...

Тут с задних рядов послышался шум. Шум всё усиливался. Наконец на сцену прорвались четверо не известных науке насекомых. Одежды они были в удивительные наряды.

У одной из букашек на спине топорщилась красная накидка, другая же была затянута в коричневый балахон, а третья оказалась пристёгнута к серой прорезиненной курточке. Позади букашек важно выступал не то богомол, не то кузнечик.

Читатели наверно догадались что это были за насекомые.

(Продолжение следует)

ИВАН ИЛЬИН

Медовый Спас

*Руки, вы словно две большие птицы,
как вы летали, как оживляли всё вокруг...*

(Из романа Клавдии Шульженко «Руки»)

Мужчины бывают *ораторы* и *гладиаторы*. Ораторы только и умеют, что уговаривать, а гладиаторы!.. Гладиаторы умеют еще, и гладить женщину по самым «*чуйствительным*» и приятным для неё местам. А места эти у разных женщин тоже разные. У гладиаторов руки нежные трепетные и ласковые. Такие руки сами находят на теле женщины такие места, где ласки ей особенно приятны. Гладиаторы очень чутко реагируют на женский трепет и лепет. Некоторым женщинам нравится, если её ласкает тёплая и сухая мужская рука, а некоторым нравится, если эта рука легко скользит по телу смазанная кремом или шампунем. Но руку можно намазать мёдом, тогда мужская рука будет как бы прилипать и тянуть, например, за грудь, а потом этот мёд можно слизнуть...

Однажды моя подруга плавала на надувном матрасе в тёплом море. А я плавал вокруг с бутылочкой ароматного мёда. Выдавливал мёд на ладошку и нежно обмазывал подругу со всех сторон. Она лежала то на спинке, то на пузечке, то на бочок ложилась. Ручки ножки сводила, разводила, поднимала, опускала, сгибала. Я и сам весь мёдом перемазался. Мы стали слизывать мёд и перевернулись. Отмывали то друг друга, то матрас. То грудь в грудь, то ложка в ложку. А маленькие волны потихоньку вынесли нас на дикий пляж

необитаемого острова. Мы бросили матрас на горячий песок и... И на следующий день мы тоже очень вкусно пахли мёдом и облизывались.

А когда мы уже ехали на электричке назад в город, то всё так же пахли морем и мёдом. Нам всё время хотелось взаимно облизнуться, но напротив нас сидели три чопорные старушки в тёмной одежде и в платочках, завязанных до самых глаз. В руках у них были сумки с банками мёда. Они возвращались из церкви, где освящали мёд. Оказалось, что это совсем не простой день. *Это был Медовый Спас!!!*

Мы очень удивились и, конечно, умилились, когда узнали, что Медовый Спас называется ещё и «*Спасом на воде*» в честь малого водосвятия.

А эта прекрасная и страстная девушка уже давно стала симпатичной старушкой с внуками. Но мы каждый год поздравляем друг друга с *Медовым Спасом!!!* И мы так загадочно и хитро улыбаемся, читая эти взаимные поздравления.

(Медовый Спас — Википедия (копия):

ru.wikipedia.org/wiki/Медовый_Спас (также М^аковский Спас, П^ервый Спас) - народный и православный праздник в первый день Успенского поста 1 (14) августа. «Спасом на воде» медовый Спас именован в честь малого водосвятия.)

Литературный дебют

МАРИНА КАМЕНЕВА

(Гость «Золотого Слова»)

Сон Кузьмича

Нелегка жизнь в деревне. Вот раньше, бывало, даже поспать некогда, все успеть надо: и корову подоить, и коз подоить, и поросятам корма дать, и за огородом присмотреть. Много работы, много забот. И мысли не лезли в голову, чужие мысли, которые пришли в голову не сами по себе, а извне, от чужих людей. Кузьмич не любил эти чужие мысли, которые без всякого спросу лезли в его голову и забивались там в самые сокровенные и темные места сознания, в которые даже ему не было хода. Вот на днях, к примеру, дочка позвонила, сказала, что надо бы у матери на могиле памятник поставить, а то уже давно решили, а до дела руки не дошли. Сетовала, что денег надо, да взять неоткуда, да и не хорошо вроде, без памятника-то. Загрустил сразу Кузьмич, как вспомнил про жену. Вроде 5 лет прошло с ее смерти, а все не забыть никак. Бывало по утрам, еще во сне, он слышал легкую поступь ее шагов в кухне, чувствовал свежий и сладкий запах утреннего хлеба и молока. И так радостно в тот момент было на душе, что и пожелать нельзя. Но открыв глаза, Кузьмич видел только пустой дом, холодный и без всяких запахов. Или, например, поле соседнее. Вроде гоняет туда Кузьмич свою корову да козу, много лет гоняет на пастбище. Трава там хорошая, мягкая да сладкая, такая молоку вкуса придает необыкновенного. Но стали у них в деревне слухи ходить, что хотят на поле этом дом построить, большой, на тысячу квартир. А значит, станут там люди жить, и не будет этого поля со сладкой травой, где Кузьмич еще ребенком играл с мальчишками, гонял на лыжах и санках, а летом в футбол. Грустно все это. Нет, не уснуть никак. Повернулся Кузьмич на левый бок, закрыл глаза, и про внука своего вспомнил. Кольку. И опять загрустил. Дочка та его, Наталья, одна растит

сына. Не помогает ей никто. Как сбежал от нее зятек-то, Андрей, так и кукует одна. Эх, жаль мальчишку, вроде хороший такой, головастый, тянется к знаниями, собирает модели самолетов, не пропащий, а все равно, есть у него в глазах грусть какая-то, что посмотришь в них и плакать хочется.

Вспомнилось Кузьмичу прошлое лето, когда к нему погостить внук приехал. Был конец августа, самое любимое время Кузьмича. Выйдешь, бывало, на крыльцо, а отовсюду душистым сеном тянет. Ох, как любил он этот пряный, томный запах сухой травы. Он напоминал ему о детстве, о ушедшей юности. Птицы поют, чирикают где-то в листве деревьев, петухи орут, собаки лают: вот жизнь-то где. Колька, не успев проснуться как следует, уже бежит на крыльцо.

- Деда, когда пойдем кузнечиков собирать?

Любимая забава внука - насекомые, он уже собрал достаточно большую коллекцию различных бабочек, пауков, жуков.

- Подожди, Колька. Надо сначала поесть нормально, а потом посмотрим. Чего с утра торопиться, кузнечики от нас никуда не денутся, они с утра ленивые, к вечеру разгуляются, тут и брать их надо.

- Не охота ждать, хочу сейчас. Мне надо пауков кормить.

«Вот вечно он спешит, все ему некогда да неохота, - подумал Кузьмич, глядя на внука. - Уже взрослый, а забавы детские».

- Ну, налови им мух, они, знаешь, какие вкусные, их пауки за милую душу слопают.

- Не слопают, а высосут. Ты же, деда, знаешь, как едят пауки, у них же зубов нет.

Кузьмич усмехнулся, представив себе паука с зубами. Еще то зрелище бы было. Не любил Кузьмич этих ползающих тварей, хоть

и была от них польза.

- Вот завтрак съедим, а там посмотрим.

Разочарованный Колька, почесав живот, вернулся в дом. На столе стояла каша, молоко и хлеб. Все, что смог с утра приготовить Кузьмич.

Вообще-то он был не большой мастер по части готовки, раньше все жена делала, но пять лет одиночества приучили его полагаться только на себя одного. Вот и выучился он щи варить и пироги печь.

Так и сидели они вдвоем, внук и дед, ели кашу, запивая молоком, смотрели друг на друга или за окно, в сад, где яблони уже полны яблок, а осенние цветы радуют глаз. Не любил Кузьмич и цветы, уж больно много мороки от них. Но жена-покойница приучила его.

- Ничего ты не понимаешь, старый, - сказала она как-то. Посадишь цветы, а они, как дети, распустятся в срок, и будут радовать глаз. И запах от них и красота.

Действительно, красиво от цветов этих. Ярко-красные, розовые, желтые, голубые цвета, как яркий восточный ковер устилал землю. Приятно ходить по этому ковру, чувствуя себя султаном, среди роз и жасмина. Любимым занятием Кузьмича стало теперь выходить в сад ранним утром, когда бутоны еще не раскрылись навстречу солнцу, а полны холодной ночной росы, ощущать свежесть утра босыми ногами, вдыхать аромат ночи, еще висящий в воздухе, но уже начавший таять, словно туман в лучах солнца. Это была та особенная благодать, которая была по сердцу Кузьмича, и ничего более он не желал от жизни.

Где-то вдали послышалось негромкое ворчание собаки, и Кузьмич тихо вздохнул. Не шел сон сегодня. Впрочем, чего греха таить, и раньше бывали бессонные ночи, полные шепотов и вздохов.

- Посмотри, деда, у тебя клюет!!! - рассмеялся звонко Колька, толкнув деда локтем. Тащи скорее, а то упустишь. - В голосе внука слышалось нетерпение, но Кузьмич не торопился дергать удочку.

- Обожди, пусть закрепится получше, а то сорвется. Вот так, еще немного и подтягивай потихоньку, по чуть-чуть. Кузьмич осторожно подтягивал леску, наматывая ее на барабан. Видно было, что на другом конце лески, на крючке, висело что-то довольно тяжелое. Пока

этого что-то было не видно, но еще мгновение и дед с внуком радостно улыбнулись, это была щука. Не очень большая, Кузьмич имел счастье и крупнее ловить, но вполне годилась стать поводом для гордости. Колька радостно вздохнул, подбежал к рыбе, бьющейся о берег и подтянул леску к себе.

-Ух ты, деда. Какая большая, не то что вчера, только мелкота одна.

Для Кольки, проявляющего истинный интерес ко всему живому, эта рыба была еще одним объектом внимания, чудесным даром темных вод пруда, у которого он жил.

- А мы можем сохранить эту рыбу? - очевидно, Колька вспомнил про то чучело рыбы, которое он увидел в одном рыбацком доме, куда они с дедом ходили в гости.

-Ну, попробовать можно, - Кузьмич призадумался, - правда я в этом деле не понимаю, но можно узнать, как это делается. Рыба и впрямь хороша. Бедная щука, так и не узнавшая своей участи, была словно переливающаяся на солнце вода, она сверкала различными красками чешуи, блестела и искрилась. Кузьмичу показалось, что он и в самом деле стоит на берегу пруда и смотрит на щуку, которая искрится в лучах солнца, и до того ее блеск его ослепил, что он крепко зажмурился, а когда открыл глаза, увидел лишь бледный лунный свет, льющийся в окно у кровати. Кузьмичу захотелось встать и выйти на улицу, взглянуть на луну и на звезды, но он почувствовал ужасную сонливость, которая сделала его голову и веки такими тяжелыми, что не было ни сил, ни желания их поднимать. Кузьмич закрыл глаза, подумав о звездах. Когда-то давно, много лет назад, когда его дочь сама была не старше Кольки, они много говорили о звездах, сидя на скамейке в саду.

- Представляешь, когда мы смотрим на эти звезды, мы смотрим в прошлое.

- В прошлое? Это как, папа? - маленькая Оля была заворожена ярким блеском звезд и луны, сверкающих высоко у нее над головой.

- Многие звезды находятся так далеко, что до них можно лететь сотни, тысячи лет. Их свет стремится к нам из далекого далека, почти из прошлого. Например, если какая-то звезда уже мертва, то ее свет может жить тысячи лет, пока не дойдет до нашей планеты и не будет увиден астрономами. Мы думаем,

что звезда жива, но она мертва уже сотни лет.

- Но разве это возможно, чтобы ты умер, а свет от тебя еще жил?

- Возможно. У нас, у людей, это называют памятью.

Оля была зачарована. Она долго думала, глядя на звездное небо.

- Значит, когда люди умирают, их свет еще живет в мире?

- Конечно, живет. Смотри, твоя собака Дина, она умерла год назад, но ты ведь помнишь о ней?

- Да, Дина была хорошей собакой, и я ее никогда не забуду.

- Вот, значит, ты видишь свет, который исходил от Дины, даже сейчас, когда с ее смерти прошел год, Дина жива в твоей памяти.

- Но ведь это не значит, что Дина сможет ожить?

- К сожалению, нет, но та память, которую она оставила, будет согревать тебя еще долго.

Воспоминание померкло, оставив лишь горький след в душе Кузьмича. Он вспомнил про жену, про ее уход. Тогда ему казалось, что весь свет мира стал тусклее. Но постепенно свет снова стал ярким и жизнерадостным, потому что, Кузьмич верил, его жена будет вечно жива в его памяти. Как-то ему приснился удивительный сон, в котором он стоял на лугу, залитым ярким светом, таким ослепительным, что он не видел ничего, кроме травы у него под ногами. Он увидел свою жену такой молодой, какой она когда-то вышла за него замуж. Она подошла к нему, излучая такую любовь и нежность, что Кузьмичу показалось, что он попал прямо в рай. Жена сказала ему, чтобы он не горевал о ней, ведь она так счастлива. Проснувшись, Кузьмич почти заплакал, но не от горя и печали по жене, а от той невиданной радости за нее, от той радости, что когда-нибудь он сам будет с ней, будет также счастлив, как она. Это чувство сверхпоглощающей любви было столь велико и сильно, что Кузьмич подумал, что действительно побывал в раю, что для него приоткрылась тайна мира, волшебный полог земной жизни был откинут и он стал свидетелем жизни небесной. После этого сна Кузьмич стал по-другому смотреть на мир, на все, что происходит в нем. Он верил, что стал частью чего-то необыкновенного. Кузьмич никому не рассказал о том сне,

ведь было слишком сложно, почти невозможно передать чувства, которые он испытал. Но с тех пор его больше не мучила горечь потери жены, не щемило сердце, когда он просыпался посреди глухой зимней ночи, дрожа под одеялом. Жизнь его снова заискрилась и заблестела, как та щука, которую они выловили с Колькой.

Где-то негромко замычала корова, тихо закудахтали куры на насесте. Наступало утро, а сон все не шел. Кузьмич вспомнил, что сегодня он обещал Кольке помочь построить плот, чтобы переплыть на нем на одинокий островок, который возвышался посреди пруда. Плыть на лодке Колька не хотел, ему, недавно прочитавшему «Дети капитана Гранта», хотелось почувствовать себя авантюристом, искателем приключений. Он грезил, что там, на острове, томится в опасности его отец, смелый капитан, потерявший свой корабль, а он, его храбрый сын, должен спасти его. Кузьмич разделял эту игру, он понимал, что мальчику необходим если не отец, то светлая и хорошая память о нем. Пусть Андрей и не был яркой звездой на небосклоне, но Кузьмич хотел внушить Кольке, что тот свет, который он видит, это свет его отца, а не другой звезды, пусть даже живущей в душе самого Кольки. Кузьмич стал думать, как они станут делать плот. Вот они возьмут несколько деревьев, поваленных бурей еще в прошлом году, срежут с них все ветки и сучки, отполируют так гладко, чтобы, приставив их один к одному, сделать самый надежный плот.

Затем все свяжут веревкой и спустят в воду. Колька уже заранее приготовил удочки, баночку с червями: он собирался порыбачить.

Протяжно пропел где-то вдалеке петух, приветствуя утро нового дня. Солнечные лучи еще не достигли той силы, при которой даже самые мрачные закоулки мира освещены ярким светом, но ночная мгла начала потихоньку рассеиваться. Кузьмич подумал, что пора и вставать, ведь он привык просыпаться рано, идти во двор, проверять, как животные провели эту ночь. Впереди его ждал еще один день, который станет очередной незабываемой страницей в его жизни. С этими мыслями Кузьмич совсем уже решил, потянул с себя одеяло и ... проснулся.

СЕРГЕЙ ПСАРЕВ

Весенний туман

Мы тогда засиделись за картами до полуночи, а потом пришло время рассказывать разные удивительные истории. Признаюсь, две бутылки Hennessy тоже сыграли в этом свою коварную роль. Пожалуй, из всех историй мне более всего запомнилась одна, которую нам рассказал хозяин квартиры, художник Врублевский. Он тогда потягивал из рюмки янтарную, ароматную жидкость, говорил со значением и не торопясь. Тень от лампы делила его лицо пополам. Мне были хорошо видны кончик его крупного носа, чувственные, красивой формы губы и твердый бритый подбородок.

- В жизни происходит много удивительного, порой необъяснимого. Воля ваша верить мне или нет. Неделю назад после напряженной работой над последней картиной, я едва не забросил ее в камин. Все получалось неудачно и блекло, работа совсем не шла. Утром следующего дня было решено все отложить и пойти на лыжах по Лахтинскому разливу. Стоял легкий мороз, но неожиданно за окнами свалился густой, как молоко туман. Свет фонарей поднимался сквозь него, как из подземелья, мертвый и бледный. Однако, через час он ушел, и над горизонтом в дымке засверкало холодное малиновое солнце. Лучшей погоды для прогулки невозможно придумать. За час я пробежал на лыжах по лесу до самого Ольгино и теперь возвращался обратно по льду. Снег лежал совсем нетронутый, сверкал на солнце до боли в глазах. Вокруг была совершенно ровная, как белая скатерть поверхность, линии горизонта не видно совсем. Все это создавало ощущение какой-то бесконечности и покоя. Туман посеребрил вдоль берега деревья инеем и продолжал висеть где-то впереди. Вдруг, вижу, что-то приближается ко мне в тумане, идет очень быстро. Скоро замечаю какую-то странную фигуру с посохом. Точно, это был не лыжник и своим посохом она работала как веслом. Даже не шла, а надвигалась на меня вместе с туманом. Теперь вижу огромную

красивую девушку в облегающей серебристой тунике, словно ожившая кариатида из старинного дворца. Только была она раза в три больше обычной, человеческой. Нет, она совсем не шла, а скользила вместе с туманом, не касаясь поверхности льда. У этой странной девушки было узкое лицо, большие, притягивающие глаза болотного цвета и рыжие волосы, убранные сзади в короткую французскую косу-колосок. Руки у нее красивого тонкого рисунка, с длинными пальцами и были теперь сложены на груди. Ничего не говорит, проходит через меня как облако, ни понять, ни испугаться не успел... Слышу, что-то рядом упало со звоном. Поднимаю - осколок льда, похожий на звездочку, он тут же тает у меня на ладони. Будто и не было его и ничего вообще не было, все исчезло. Снова светит и играет солнце над кипящей поверхностью этого странного тумана. Как седые великаны показались в нем, уже вполне реальные, ближние высотные здания. На самом крае тумана теперь всеми цветами играла радуга. Не поверите, но тогда я первый раз увидел радугу в такой морозный день. Только тогда ко мне пришел запоздалый страх, губы сами зашептали слова молитвы, а персты совершили крестное знамение. Придя в себя, пошел дальше. Но странное было дело, никто этой радуги совсем не замечал, и я ее всем тогда показывал. Все останавливались, смотрели на нее и тоже удивлялись. Скоро и радуга исчезла. Только с крыш барабанила веселая капель, а на асфальте появились черные проталины. Словно кто-то пел свою веселую песенку, что скоро пройдет холодный март и наступит апрель, будет настоящая весна...

Дома, совершенно машинально, поставил что-то из Бетховена. Оказалось «L. Van Beethoven. Son. №2, op. Largo Appassionato». С самых первых аккордов узнал это самое любимое мною глубокое произведение. Душа моя будто бы раздвоилась. Одна часть ее плыла в волшебной музыке, а другая снова видела лицо этой странной девушки, скользившей по краю серебристой морозной дымки. Будто кто-то говорил мне ее слова

о весне и любви, радости и грусти, о жизни, которая всем нам станет прекрасной...

Острова

Ганин встретился с Аллочкой на пяточке, у Владимирской. Стоял обычный хмурый февральский день с его черным городским снегом и лужами на асфальте. Рядом, над суетливым людским потоком возвышалась бронзовая, кодированная под гранит фигура Достоевского. Великий писатель выглядел здесь усталым и изможденным. Сцепив пальцы, он мрачно смотрел куда-то в сторону поверх голов бегущих пешеходов. Будто сам понимал всю несуразность окружающего его пространства с новорусским ремонтом Кузнечного переулочка и Большой Московской и свою несоразмерность проему улицы. У этого памятника, как и исторического центра Петербурга, была одна трагическая судьба.

Они, не теряя времени, заторопились по Загородному проспекту. Тротуары с этой стороны были узкими, с крыш уже не просто капало, а текло. Им поминутно приходилось прижиматься друг к другу, обходя очередной поток. Получалась какая-то веселая игра взглядов и соприкосновений, которая нравилась им обоим. Теперь Ганин постоянно чувствовал ребром локоток Аллочки, от чего к нему приходило состояние уверенности. Нужно было поспеть к 17 часам к Юре Губерману, у которого сегодня проводился квартирник.

Это было первое такое мероприятие в его жизни, и оно страшно влекло своей необычностью и экзотикой. Для непосвященных можно сказать, что квартирник - это выступление музыкантов, поэтов, прозаиков - чтецов в домашней, непринужденной обстановке. На них совершенно стираются границы между выступающим и зрителем. Получается такой милый междусобойчик, где можно проверить себя, насколько ты интересен как человек, чего действительно стоит твоё творчество. Если раньше квартирники проводились вследствие политики запрета и невозможности выступить, то теперь это скорее неформальное общение среди близких тебе по духу.

У Разъезжей они нырнули под арку, потом

еще одну и, наконец, оказались в самом обычном питерском дворе-колодце. Убегающие вверх стены с обнаженными местами кирпичной кладкой, рисунками граффити делали их похожими на большую географическую карту, по которой меридианами тянулись длинные хоботы водосточных труб. Где-то высоко серым осколком медленно проплывает петербургское небо.

Теперь по лестнице с качающимися перилами пешком на пятый этаж. В подъезде почему-то стоит запах квашеной капусты. Этот знакомый всем, стойкий петербургский запах живет здесь не одно столетие. Скоро наверху хлопает дверь и в квадрате лестничных перил появляется круглая голова Юрки Губермана. Он будто парит над нами, не хватая только ангельских крыльев.

Все это очень необычно для Ганина. Он вел раньше достаточно уединенный образ жизни, далекий от всякой творческой тусовки. Строчил простенькие стихи, прозу в Интернете. Все больше для души. Точно так же занимался в свободное время живописью. Потом как-то совсем незаметно появились его публикации в журналах, вышла первая книга. Вместе с ними в его жизнь неожиданно ворвался новый яркий и очень пестрый, неведомый мир.

Литературные встречи с успешными авторами, обсуждения, презентации книг с демонстрацией настоящего и призрачного чужого успеха уже не пугали и притягивали его, как магнит. Вместе с этим, времени на собственное творчество у него оставалось все меньше. Он писал часто очень торопливо, мало работая над текстом, будто боялся куда-то опоздать. Ганин все чаще чувствовал себя бабочкой-однодневкой на последнем бредущем полете, но остановиться уже не мог.

Его сегодняшняя спутница Алла, поэтесса достаточно известная в своих литературных кругах. Она всегда чувствовала себя в этой жизни как рыба в воде. Алла тонкая, ироничная по складу ума, изящная по всем своим движениям и изгибам летающих мыслей. Она пишет только о любви и весь остальной мир ей кажется малоинтересным. Кстати, стихи у нее хорошие, глубоко цепляющие за душу. Ганину самому иногда кажется, что во многом она бывает права. Алла здесь всегда и везде

свой человек, всегда и все знает.

- Все, наконец забрались, - задыхаясь от быстрого подъема, сказала Аллочка, повиснув на его плече. - Ну и жесть...

Вот она уже здороваается и целуется с круглоголовым Юркой и его подругой Таней.

- У нас не разуваяются, - торжественно провозглашает Юрка для непосвященных новичков. Новичков, пожалуй, кроме Ганина здесь не было. Все больше проверенные временем друзья-поэты.

Начиная с ванной комнаты, крохотной кухни и огромной квадратной комнаты с эркером и остатками старинного камина, здесь демонстрировался скромный быт питерской интеллигенции. Кажется, что почти ничего не менялось со середины 60-х годов прошлого столетия. Такая квартира-музей, по которой можно определить жизненные ценности и приоритеты ее хозяев. Скромное достоинство людей, не желающих или не умеющих добиваться от жизни материальных благ, дорогих автомобилей и роскошных костюмов.

У таких людей деньги, даже появляясь, быстро протекают меж пальцев, не задерживаясь. Просто многие из них искренне убеждены, что в нашей бедной для большинства стране, интеллигент не должен превращаться в вора и богача. Сытость часто затягивает и портит творческого человека, он перестает чувствовать правду. Она тебе уже больше ни к чему и мучеником за нее не станешь, страшно терять этот достаток. Ты начинаешь писать на пике своего творчества ради денег, или перестаешь вовсе, если это тебе мешает их зарабатывать.

В общем, здесь все было по делу. Самое ценное все же было. Это фотографии их друзей, они здесь повсюду. Самые разные. Есть даже очень узнаваемые лица: певец Эдуард Хиль, ушедший в партизаны «БГ» (Борис Гребенщиков) и Юрий Шевчук...

Раздвинутый стол накрыт под чай, все остальное гости несут и ставят по мере своего прибывания. Для разогрева компании выпили по одной, пожелав здоровья гостеприимным хозяевам. Потом Юрка исполнил под гитару что-то из своего нового питерского альбома «Белые птицы». Песни, где текстом стали стихи Тани. Это счастливый и проверенный временем творческий союз. Такие песни нравят-

ся всем. Конечно, Губермана трудно назвать самостоятельной фигурой в русском роке. Музыка он пишет мало, все больше хороший домашний исполнитель.

Теперь Катя Миловидова читает свой святочный мистический рассказ-сон. Фонтан из мыслей и пробегающих образов, за которыми проглядывает окружающая действительность с ее маленькими человеческими радостями и пороками. Рассказ притягивает к себе внимание, разгорается нешуточный спор о замыслах автора и целях такого творчества.

Аллочка сидит на диване и, жмурясь, неторопливо потягивает коньяк. Сейчас она похожа на большую дикую кошку. Кажется, что она расслаблена и занята только собой, но это только видимость. Она все замечает и слышит, реакция у нее стремительная. Определенно, ей весь этот спор и рассказ не интересен, и сама она сегодня ничего читать не будет. Ее больше увлекает сама атмосфера этого праздника, возможность встреч и общения. Рядом с ней ее подруга Елена, тоже поэтесса, которую он уже видел на литературных встречах. Ганину хорошо виден ее точеный профиль, рассеянный взгляд и отливающие темной медью волосы. К слову, говоря, Ганин любил во внешности собеседника находить физиономию какого-нибудь зверя или птицы. Это потом помогало писать их портреты. Грызуны и хищники ему попадались гораздо чаще.

Обстановка становится все более раскованной. Поэты, сменяя друг друга, читают свои стихи. На кухне выключили свет, и какая-то молодая парочка увлеченно целовалась в углу. На лестничной клетке в полумраке, среди вспыхивающих огоньков сигарет, тоже что-то читают.

Кто-то уже ушел, но людей меньше не становилось, сюда приходили все новые и новые гости. Ганин собрался с духом и представил главы своего будущего романа. В Интернете эти страницы у него шли «на ура»... Здесь, кажется, его уже почти не слушали, но принялись обсуждать еще более жарко, чем предыдущего автора. Оказывается, его раньше читали и знают вполне.

- Какая любопытная авторская концепция... Ваш герой любит женщину, а она ему изменяет. Он продолжает ее любить и все ей прощает. Она возвращается к нему. Во всем

этом есть какая-то натяжка и искусственность. Разве такие женщины могут кого-то любить по-настоящему, кроме себя?

- А по-моему, очень даже интересно. У романа обязательно будет свой читатель, здесь есть тема для разговора - человеческие ценности...

Оценки звучали самые противоположные. Кажется, каждый вкладывал сюда частицу своего жизненного опыта. Было заметно, у счастливых людей чаще позитивное восприятие окружающего, свое особое понимание его ценностей.

Что же, интерес к новому роману был, и это уже неплохо для первого раза. Ганин лучше других понимал все то, что происходило на его страницах. По большей части, многое в нем касалось его самого, его жизни. Уже пять лет прошло, как они расстались с Галиной. Невозможно даже сказать, что она ушла от него. Они не жили вместе, это было странное параллельное сосуществование. Оба считали, что быт только убивает чувства. Не хотели приспособливаться, им казалось, что так будет честнее. Никто не стремился переделывать друг друга под себя, оказывать давление. Они состоявшиеся люди, со своими привычками и шероховатостями. Совместными стали только радости, а печаль у каждого была своя. Все это долго и крепко связывало их. Только каждая женщина всегда вправе рассчитывать на что-то большее, она всегда живет в ожидании настоящего счастья. Ганин тогда хорошо запомнил ее слова...

- Ты всегда где-то там, в другом, придуманном тобою мире. Даже если мы вместе, то ты не со мной. Тебя нет рядом. Я устала от ожидания, от этого странного одиночества вдвоем...

Галина, делавшая карьеру в питерском бизнесе, была всегда очень самостоятельной в жизни и не любила уступать, подстраиваться. Если ей что-то не нравилось, то возникали паузы в отношениях. Потом следовал ее звонок, все вспыхивало с новой силой, будто и не было этого охлаждения. Но здесь было другое, разрыв...

Ганин после этого надолго впал в состояние жестокой депрессии, мысли у него ходили самые разные. Ведь он тоже всегда берег состояние личной свободы, свою независи-

мость. Но за все приходится платить, порой очень высокую цену. Друг тогда посоветовал ему загрузиться работой, любимым делом.

- Это спасет тебя от уничтожающих мыслей, ты сможешь снова обрести себя...

Нет, ни в чем другом он уже спастись не мог. Литература, живопись всегда занимали его, но они едва ли могли составить смысл его жизни. Это только часть жизни. Целью жизни может стать только она сама, со всеми ее радостями и печалью. Нужно полюбить этот мир, и он ответит тебе тем же... Это когда все лучшее, созданное тобой, ты несешь своей любимой, по ней сверяешь свои образы. И вдруг все это рушится в один миг. Ты понимаешь, что уже никакой не писатель и не можешь написать ни одной строчки. Просто у тебя больше нет статуи для пьедестала, а без этого многое теряет свой смысл...

Юрка снова берет гитару и нарушает нестройный диалог поэтов. Он перебирает струны и что-то вспоминает. Потом неожиданно для всех исполняет «Романс миссис Ребус» Владимира Высоцкого....

*Но слабеет, слабеет крыло –
Я снижаюсь все ниже и ниже, –
Я уже отраженья не вижу –
Море тиной заволкло.*

*Бьется сердце под левым плечом,
Я спускаюсь все ниже и ниже,
Но уже и спасателя вижу –
Это ангел с заветным ключом.*

Теперь все заговорили о Высоцком - поэте, его времени и стихах. Хорошо было то, что у каждого здесь был свой собственный Высоцкий. В чем-то сходились все и тогда говорили о таланте, честности поэта, не принятого ни в одно писательское объединение своего времени. Ни в одно, кроме самого главного – всеобщего, где он любимый всеми поэт, исполнитель своих песен и актер, негибимый оперативник Глеб Жеглов и белогвардейский поручик Александр Брусенцов - символ своего времени.

Он тогда сумел уйти от привычных штампов и принести в литературу яркий, сочный язык улицы, все многообразие сленга. Песенные строки, превращенные в душевный раз-

говор, поющиеся легко, на одном дыхании. Писал о том, что волнует, о чем болит душа и сердце, о том, что дорого и что ненавидел...

*Я не люблю фатального исхода,
От жизни никогда не устаю.
Я не люблю любое время года,
Когда веселых песен не пою.
Я не люблю себя, когда я трушу,
И не терплю, когда невинных бьют.
Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более – когда в нее плюют...*

Юрка вспомнил, как в Хайфе присутствующие в зале ресторана люди долго не отпускали его после исполнения песен Высоцкого. Для всех это стало большим праздником. Сегодня он был почему-то очень похож на Леонида Броневского, того самого, из Покровских ворот...

Юра с Таней вообще оказались очень радужными хозяевами и просто купались во всеобщем внимании. Стремление нравиться, быть неким центром всеобщего притяжения в них, по-хорошему, просто неистребимо. Что же, сегодня от этого никто из присутствующих не проиграл.

Ганин сам вспомнил свою единственную встречу с Высоцким. Было это в Ростове-на-Дону, кажется, в далеком 1971 году. Он был курсантом высшего военного училища. Помнится, что тогда к ним подошел человек и предложил послушать песни Высоцкого. Билеты у него были какие-то странные, на плохой бумаге. В назначенный час они с другом пришли по указанному адресу. Никакого клуба там не было, их с улицы пригласили в длинное подвальное помещение какого-то дома. Оно оказалось забито зрителями до отказа, на первых рядах сидели с магнитофонами для записи. На импровизированной сцене только один стул и микрофон. Потом микрофон отключили, он свистел и рычал. Вышел Владимир Высоцкий и начал свой концерт-разговор... Посыпались записки, он читал их и снова пел свои песни. От концерта и всей этой необычной обстановки осталось очень сильное впечатление, долго не расходилось.

Становилось все шумнее, говорили про новые издания и подготовку к выступлению на радио «Мария», снова читали свои стихи. Те-

перь Ганин смотрел на большую фотографию-портрет на стене. Она давно привлекала его внимание. Удивительно интересная там была девушка, но какая-то совсем не современная и очень похожая на хозяйку дома. Это фото казалось ему волшебным зеркалом, в котором люди становились красивее, а время останавливалось. Это была ее дочь, которая умерла двадцать лет назад... Рядом, на приземистом комодке, стояли старые мягкие игрушки дочери, добродушные медведи и куклы Кати и Маши с пухлыми, удивленными лицами. Таких кукол уже давно нет, но они сохранили тепло детских рук... Вещи из их прошлого помогали сохранить ушедшее время, по крайней мере, его самые дорогие мгновения. К этому здесь относились очень трепетно...

Еще недавно Ганину казалось, что весь окружающий его мир качнулся в худшую сторону так, что совсем не осталось ничего доброго для души и ума. Он хорошо помнил то время, когда все книжные прилавки в одночасье заполнила бульварная книжная продукция. Литература тогда обживала тематику зоны и борделей, осваивала их непривычный язык. На все это находились деньги, деньги немалые... Это было какое-то обольванивание общества, поскольку само оно не могло так быстро поглупеть. По его убеждению, главная проблема заключалась в головах тех, кто занимался таким издательским бизнесом. Это им подобные темы были близки и понятны. Многие из этих руководителей не заканчивали университетов, с трудом отличали прозу от поэзии. Проблема сохранения литературы и русского языка перед ними никогда не стояла. Им было важно только одно – заработать деньги. Ганин никогда не причислял себя к литераторам, но все происходящее глубоко трогало и ранило его.

Он часто задавал себе вопрос: почему большинство людей сегодня считают, что вся современная литература это ерунда, которая не стоит времени и денег? Лучше пойти в магазин за продуктами. Может быть потому, что она впервые в своей истории стала такой массовой? Литература перестала быть делом избранных. Теперь каждый, кто захочет, при наличии доступа в Интернет, может свободно выражать себя как его душе угодно. Можно писать свои романы, рассказы и стихи. Кто-

нибудь, хоть немного, но прочитает... Можно даже книгу издать, найдется издатель желающий заработать деньги.

Известно, что в вожделенный круг избранных сегодня ведут большие деньги, престижные вещи, реже - ум и талант. Эти, последние из них, еще нужно чем-то доказывать. Вот и пишут романы, а некоторым даже литературные негры помогают. Издаются, обретают известность. Потом можно будет гордо причислить себя к особой культурной касте и отделить себя от остальной части общества, демонстрируя свой столичный или местечковый, районного масштаба снобизм. Только литературой это уже назвать нельзя. Но чем же тогда? Можно было назвать это самовыражением. Еще недавно все это оставалось в дневниках, рукописях и пылилось в ящиках столов. Теперь все это выплеснулось на страницы Интернета.

Ганин всегда любил читать классику и имел определенное представление о хорошей литературе. Становилось понятно, что современной русской литературы сегодня почти нет. Есть женские романы, анекдоты и боевики с ярким тюремным уклоном и соответствующим языком. Здесь совсем не нужно думать, это было только развлечение.

Он вспомнил, как когда-то летом в электричке Ладожского направления пожилой фронтовик продавал тонкую книжечку своих стихов о Дороге жизни. На его груди была одна, но самая дорогая ему медаль «За оборону Ленинграда». Пассажиры брали предлагаемую книгу неохотно, словно делали одолжение автору. Ганин тогда тоже купил себе эту книгу. Стихи старого солдата были далеки от совершенства, но в них бился пульс живого участника тех страшных событий. О тех рейсах по Ладоге, где вода стояла по самые ступицы, где машины уходили под лед, сегодняшний образованный автор так честно не напишет, просто не сможет. Этот солдат-поэт хотел рассказать нам свою правду, ведь завтра этого не сможет сделать уже никто. Их, участников войны, просто не будет.

Как-то раз, на выходе из станции метро Политехническая, Ганин встретил старушку, продававшую книги со своими стихами и книги известных зарубежных авторов со своим переводом. Это была Галина Усова, член

Союза писателей Союза ССР, автор 240 публикаций и многих книг. Когда-то с помощью ее переводов многие знакомились с поэзией поэтов-романтиков Англии: Байрона, Блейка, Шелли, читали стихи поэтов Шотландии: Роберта Бернса и Вальтера Скотта. Сегодня ей просто не хватало на хлеб... Кажется, что даже сейчас, мы еще не разучились удивляться. Для него это стало потрясением.

- Может ли иметь будущее страна, столь беспечно относящаяся к своим людям, составляющим ее бесценное достояние?

Здесь, среди своих друзей, Ганину показалось, что этот мир настоящей, умной литературы продолжал жить. Ему будто слегка приоткрыли клапан и дали кислород в залитые мутным потоком легкие. Правда, только чуть-чуть... Нет, этот замечательный мир не изменился. Только он превратился в маленькие острова среди океана в обществе потребления.

Таким островком для него стало литературное объединение, которое он посещал в одной из районных библиотек Васильевского острова. Здесь многое держалось на энтузиазме и любви к настоящей литературе. Было очень непросто привлечь сюда известных, талантливых авторов, поддержать и не оттолкнуть молодых, делающих в творчестве свои первые шаги. Мысленно Ганин часто называл это место своей гаванью, причалом, куда его, как корабль, всегда тянуло после скитания по житейским волнам. В этом мире у него возникла какая-то особая, внутренняя духовная подпитка, которая позволяла держаться на плаву в безбрежном океане. Все иначе, даже выходящий здесь литературный альманах, был совершенно некоммерческим проектом. Он получался доступным каждому автору, дело оставалось только за уровнем творчества. Здесь были свои долгожители, кто уже не мыслил себя без этого круга и те, кто, сделав первые самостоятельные шаги в литературе, шел дальше покорять новые вершины. Все же это именно круг, какая-то особая геометрическая конструкция с изменяющимся от обстоятельств диаметром и постоянным центром, неизменной точкой. Им в данном случае были его руководитель - Диана Сергеевна и еще четыре - пять поэтов, без которых работу литературного объединения представить было

трудно. Сюда приходили многие, иногда даже мест не хватало. Подтягивалась и молодежь. Она несла с собой юношеский максимализм и иное восприятие мира, новый язык поэтических строк.

Почему все талантливое сегодня так трудно пробивает себе дорогу? Он знал многих авторов, которые не могли продвинуть свою вещь, у них банально не было денег на хорошие отзывы и рецензии, печать в престижном издательстве. В любом деле побеждали его сильнейшие участники, и читатели имели на книжных прилавках то, что имели.

Ему вспомнился недавний вечер творчества интересного автора, поэтессы Елены Майской. Он стал первым в ее жизни. Конечно, были и раньше выступления на радио, в «Книжной лавке» на Невском проспекте и кафе «Бродячая собака», но чтобы вот так, в Союзе писателей представлять свою книгу и все творчество... Это было очень волнующе... Рядом, за столом, задумчиво застыл председатель Союза. Он, как всегда, деловит и монументален. Идет представление автора, а потом Елена читает свои стихи. Она слегка волнуется, и ее вначале слушают рассеяно. Зал медленно, постепенно въезжает в заданную тему. Но это была настоящая поэзия, она постепенно захватила и увлекла всех слушателей. Елена Майская умела читать свои стихи, это тоже очень важно для автора. Умеют не все, и тогда многое теряется. Ганин подумал, что творческие люди - актеры, поэты, писатели, иногда бывают не очень заметны в будничной жизни. Но стоит только выйти на сцену, как они меняются самым удивительным образом. Они начинают жить миром созданных ими образов. Будто исходит от них особый свет, какое-то внутреннее свечение. Ганин все смотрел и не мог понять, откуда оно шло... Совсем не от глаз, мягких, притягивающих, от всего лица... Очень раскрывается человек в своем творчестве. Часто ироничная в стихах, Елена сейчас читала лирическое и, казалось, выплескивалась ее душа...

Сидим с тобой в кафе.

Я счастливо беспечна.

Ты ешь. Я пью тебя,

как жизни эликсир.

И кажется, что мы

*с тобой знакомы вечно -
С мифических времён,
как Нимфа и Сатур.*

Она закончила читать, и ощущение этого божества ушло. Было обсуждение, сказано много заслуженных лестных слов для автора.

Ганина не оставляло чувство сожаления, такие вечера по большей части, посещаются собратями по перу и далеки от обычного читателя, которому должны быть адресованы в первую очередь. Правда, оставался еще Интернет и крохотные тиражи ее книг и публикации в журналах.

Может быть, просто нужна реклама или уже окончательно утеряна большая часть наших постоянных читателей? Кому-то просто не хочется приложить усилия, чтобы отыскать нормальную вещь? Прошел сериал по мотивам романа Достоевского «Идиот», и появилась книга в киосках, взлетели ее продажи. Есть запрос, всем понадобился роман «Идиот», его читают в метро и автобусах. Читают и в обычных книгах, и в электронном виде. Потом вышел «Высоцкий. Спасибо, что живой». Теперь Высоцкого читает сегодняшняя молодежь, нужно быть в теме. В книжных магазинах бум. Только кому-то совсем не важно, что после этого фильма его воспринимают как заурядного наркомана...

Видимо, не стоит все так драматизировать. Когда Дон Кихот увидел огнестрельное оружие, он сказал, что кончилось рыцарство. Значит, не нужно быть мужественным и выходить один на один против сильного противника, чтобы доказать свое мужество и отвагу, защитить свои идеалы. Кто-то сказал, что с появлением печатного станка кончилось слово. Теперь, с появлением Интернета, хоронят книгу... В новых реалиях всегда что-то происходит, и какие-то процессы идут дальше. Важнее всего - скорее выбираться из духовной ямы, все это тоже уже было в нашей истории...

С нами нет и уже никогда не будет Пушкина, Лермонтова, Толстого и Чехова. Не стоит даже сравнивать с ними нынешних авторов. Они жили и творили совершенно в других условиях, но оставили нам свои книги. Сегодня уже все иное...

Ганин шел по ночному городу. Дул холод-

ный, обжигающий ветер и весна, казалось, совсем не торопилась сюда. Но он знал, что перемены всегда придут. Нужно было только уметь ждать, а ждать-то мы всегда умели. Ганин улыбнулся и почему-то вспомнил строки из последнего стихотворения Аллочки, с которой они сегодня вместе торопились на квартирник:

*Календарь возвестил о Весне,
и синоптики врут нам, как дети,
(Чуть смущаясь и взгляд отводя),
что вот-вот и дождёмся тепла.
Воцарится! На этой продрогшей,
застеленной снегом планете,
Что по имени Питер... Не верим...
Да ладно - они не со зла...*

*Горожане взывают: «Уйди!»
Но Зима (что ей жалобы эти?)
Не спешит... Не пою в общем хоре.
Спокойно стою в стороне.
Почему? Потому что, едва возвратясь,
вновь мечтаю о Лете
Предстоящем... неистово-знойном...
а вовсе не о Весне...*

Период дожития

У него зазвонил домашний телефон. Кто же это мог быть? Телефон теперь молчал неделями. Трубка «поздоровалась» приятным женским голосом.

- Печёнкин, Сергей Иванович?

- Да, это я...

- С вами говорят из Приморского военного комиссариата. Почему вы к нам не приходите за справкой для оформления страховой части пенсии?

- Знаете, все как-то не получалось дойти. Все хлопоты не отпускали: больница, поликлиники, похороны...

В трубке сочувственно вздохнули.

- Ладно, справку вашу мы перешлем сразу в пенсионный фонд в 9-ю комнату. Поторопитесь, пенсию вам будут начислять только с момента подачи заявления...

Печёнкин грустно вздохнул. Проходит жизнь. Пожалуй, в последний раз он будет со-

бирать все эти справки. Больше некуда, доехали. Теперь, если понадобится, справки будут собирать уже без него.

Он посмотрел в окно. Снег шел крупными хлопьями, получалось какое-то странное броуновское движение. Снежинки задорно кружились в воздушном потоке, поднимались вверх, шли в сторону но, падая вниз, таяли в мартовских лужах.

- Вот и у людей так же. Все куда-то торопимся, суетимся, а жизнь, оказывается, прошла, - подумал Печёнкин.

Через два дня необходимый пакет документов был собран. В назначенный день Печёнкин встал пораньше и прибыл в районный пенсионный фонд еще за час до его открытия. Так его научила долгая жизнь. Все самое важное в жизни достигается после продолжительного ожидания в очередях. Оставалось только найти нужную дверь в этой странной высотке. Суетливо обежав дом дважды, Печёнкин нужной двери не нашел. Неужели он по своей теперешней рассеянности ошибся адресом? Нет, адрес оказался верным...

- Прямо наваждение какое-то, - пронеслось в его разгоряченной от волнения голове.

Следовало прибегнуть к старому и проверенному способу. Печёнкин на мгновение зажмурил глаза и произнес знакомые ему с детства волшебные слова: «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом!».

Помогло! Когда он открыл глаза, заветная дверь с красной табличной была прямо перед ним. Правда, у нее он оказался уже вторым, но все это теперь не имело особого значения. Очередь к пенсионному фонду за его спиной быстро росла. Настроение у Печёнкина поднялось, и он весело шутил, рассказывая очередной анекдот стоявшим рядом пенсионерам. Ему сегодня нравилось быть центром общего внимания. До открытия оставалось не более 15-ти минут, как Печёнкин вспомнил, что забыл взять с собой один из документов. Пришлось бежать домой. Когда он вернулся, к заветной двери ему пришлось пробираться через плотную толпу посетителей.

- Гражданин, здесь общая очередь!

- Простите, но я же уже занимал ее. Вот, пришлось за документами бегать, - пролепетал он задыхаясь.

В этот момент вид у Печёнкина, взмокшего

от беготни, был жалок и вызывал общее сочувствие. Ему стало нехорошо, он присел и не даже заметил, как у него в руках оказался стакан с водой.

- Что же вы так себя не жалеете? Ладно, проходите следующим...

Наконец его проводят за заветную дверь, и он присаживается на свободный стул. За столом у компьютера сидит молодой человек и внимательно изучает документы Печёнкина. Он вальяжен и нетороплив. У него короткая стрижка и приятная легкая небритость на щеках, спортивную фигуру обтягивает модная рубашка с открытым воротником. Его зовут Максимом Сергеевичем, он студент 5 курса Петербургского университета государственного управления. Определенно, работать после университета он здесь не будет. Не тот уровень. Это только его учебная практика. Выяснение пенсионных вопросов дается ему трудно. Максим Сергеевич поминутно ищет глазами своего куратора и в этот момент похож на большого лобастого теленка.

- Тамара Васильевна-а-а-а, а чего мне здесь еще сделать? Не пойму я, что-то...

Тамара Васильевна, приятная дама балзаковского возраста, успевает управляться со своей работой и разбирает проблемы пытливого студента. Делает все это она с улыбкой, внимательно и не без видимого удовольствия.

Максим Сергеевич постепенно въезжает в заданную тему и теперь ему уже самому становится интересно. На его мониторе выстраиваются необходимые данные. О Печёнкине здесь все известно, вся его трудовая жизнь выстраивается в электронном виде.

- Что же вы, Сергей Иванович, не следите за вашими пенсионными отчислениями? Частные фирмы нередко грешат такой забывчивостью. Очень мало получается. Наше дело оформить пакет документов, а об окончательном решении вас известят письменно. В любом случае за вами остается право обращаться в суд...

Печёнкин всегда хорошо помнил, когда и зачем ему следовало ходить на работу, а все остальное, по его мнению, должно было делаться само, по определению...

- Подскажите мне, что такое период дожития? Странный какой-то у вас термин...

Максим Сергеевич снисходительно улыб-

нулся...

- Это все условно, Сергей Иванович. Живите долго и счастливо. Так определяется период, на который при вычислении пенсии делится сумма, накопленная на страховом пенсионном счете. Все очень просто.

Было это действительно просто, но из уст юного чиновника звучало уничтожающе грубо и оскорбительно. В этом есть что-то от понятия старого, отработанного и совершенно ненужного.

- Значит, ты уже теперь не живешь, а доживаешь. Тобою тяготятся и считают оставшиеся у тебя дни.

Печёнкин вышел на свежий воздух. Сегодня торопиться было уже некуда. У дверей сбербанка он увидел знакомый красочный плакат, призывавший граждан участвовать в очередной пенсионной программе. Пенсионеры на этом плакате выглядели элегантно: седовласыми аристократами и сверкали белозубыми улыбками на фоне океанского побережья. Таких пенсионеров Печёнкин вокруг себя не видел. Его друзья-пенсионеры не путешествовали по миру, а по большей части, продолжали работать. Они донашивали свои старые вещи и часто выглядели старше своих лет. Иногда надевали по праздникам свои пиджаки с орденами и медалями. Нет, на этом плакате все было из какой-то другой, незнакомой ему жизни.

- Как же, понесут они туда деньги... Опять же все разворуют, - вздохнул он. Не о нас там думают.

Ему вдруг вспомнилась забавная песенка из старого детского кинофильма про Буратино:

*Несите ваши денежки,
иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки
заройте в землю там.
И в полночь ваши денежки
заройте в землю где?
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле чудес,
Поле чудес, в стране дураков.*

Последние строчки, про поле чудес и страну дураков, почему-то привязались к нему на-

крепко...

Вечером того же дня у Печёнкина опять прихватило сердце. Он хлебнул каплею корвалола, вызвал скорую и открыл дверь в квартиру. Потом снова лег и стал ждать.

Печёнкин старался держаться в сознании и не закрывать глаза, но все куда-то проваливалось. Внезапно, он увидел себя молодым лейтенантом, снова услышал ракетный гром. Вокруг была цветущая красными тюльпанами степь. Все куда-то плыло и двигалось: трава, песок с барханами и дрожащая линия горизонта. Небо над ним было высокое, синее-синее. В лицо дует горячий ветер, поет свою песню песок. Они идут вместе с Айгуль, корреспонденткой из молодежной алма-атинской газеты. У нее длинные черные косы, почти до земли...

- Айгуль, а что означает твое имя по-казахски?

- Ты же знаешь, я - лунный цветок...

Все это быстро превращается в новый мир. Черные ветки карагача, на них качаются побелевшие от солнца ленты... По земле ползут трещины, это дно мертвого моря. Словно за кадром странного кино слышится испуганный крик Айгуль.

- Сережа, не исчезай, я спасу тебя...

Печёнкину очень хочется пить, и он с трудом открывает глаза. Рядом с ним сидит молодой врач скорой помощи.

- Я сделал вам укол. Скоро станет легче. На завтра вызову врача. Сами знаете, как у нас сейчас в больнице. Ничего хорошего. Не обижайтесь. Вы-то по возрасту, уже на дожитии...

Разговор о вере

Все дальше от Питера, новый день только начинался... Ганин смотрел на убегающий за окном городской пейзаж. Приятно думать, что тебя ждет отдых на даче, вдали от горячего асфальта и городского шума. После остановки в Тосно вагон электрички заметно опустел. Теперь пассажиры, не торопясь, устраивались основательно, с возможным удобством. Народ вокруг был привычный, мастеровой, по большей части работающий в Питере, но живущий

где-нибудь в области. У таких иногда полжизни проходит в дороге, на колесах, чего тогда зря время терять... Кто-то без лишнего стеснения снимал обувь и, кинув сумку под голову, ложился спать на лавку. Другие здесь же пили, закусывали и, горячась, кляли самыми последними словами жадность своих хозяев и беспросветную жизнь. Рядом сидела шумная группа молодежи с рюкзаками, палатками и упаковками баночного пива. Эти едут на Волхов, вырвались от родительского присмотра на свободу. В общем, самая обычная картинка нашей сегодняшней жизни.

Мерное покачивание вагона постепенно нагоняло легкую дремоту. Кажется, Ганин так бы и клевал носом до самого Трубниково. Где-то в Ушаках вошла в вагон старушка, махонькая такая, и села прямо напротив него. Все на ней дышало утренней свежестью и опрятностью, повязана белым платочком. Глаза у нее ему понравились сразу: васильковые, светлые... Взгляд добрый, с каким-то внутренним светом, вроде читает тебя насквозь... В руках держит букет свежих, только срезанных лилий. Поверите ли, в вагоне сразу стало как-то уютнее...

Ганин давно замечал, что случайных встреч в дороге у него почти не бывает, будто кто-то расставляет на пути интересных людей. Со временем это приучило его делать короткие записи для памяти, и в дальнейшем он уже сам искал такие встречи. Разговор между ними возник сразу и легко.

- Красивые у вас цветы, сами такие вырастили?

Старушка улыбается и бережно поправляет свой букет.

- Свои, в этом году этой красоты осталось совсем мало, морозы все побили... Вот, в Любань собралась. Место не дальше, а церковь там хорошая, старая. Праздник у нас сегодня, Ильин день.

- А что надо делать в этот праздник? Знаю только, что после этого дня купаться нельзя – вода остывает.

- Как что? – старушка светлеет лицом.- В храм нужно идти, молиться... Илью-пророка еще зовут Громобоем, катится на своей колеснице по небу, громом гремит, молнией бьет нечистую силу. Мне было годков семь или восемь. Помню, было это на Ильин день. Му-

жикки наши мылись в бане. Бани-то у нас все на берегу, за огородами. Напарятся и выскакивают – прямо в речку и ныряют. Мы, ребяташки, на берегу были. Вот и бабка Матрена вышла из своей бани, к нам подошла. Посмотрела и говорит: «Ишь, что удумали! Да разве на Ильин день в реке купаются? Только черти сегодня в воде и сидят». Сказала так и ушла. И вот мы смотрим, как на той стороне, по камышу, появился кто-то черный, косматый – давай прыгать. Унырнет – снова вынырнет, унырнет – и опять выскочит. Сам-то черный, волосья у него длинные, все руками по воде хлопает. Кто это мог быть? На человека совсем не похоже. Испугались мы, домой побежали...

- Интересно вы все это рассказываете. Только и молиться можно всегда, если душа просит.

- Если душа просит, то и молитва тебе поможет. Вы молодой, может, сами и не знаете всего этого. Во время войны всем трудно было, мерзли, голодали... Что на фронте, что здесь, все едино – везде одно, смерть. Много народа тогда к Богу пришло, кто верил, тот сумел выжить.

Слова попутчицы заставили Ганина задуматься и вспомнить один из эпизодов службы в армии, когда ему впервые пришлось оказаться в настоящей боевой обстановке. Постыдное, всесильное чувство охватившего его страха и собственной незащищенности... От него тупеешь и превращаешься в грязь, ты уже больше не человек. Он не верил в Бога, знал это всем своим образованием, что его нет, но просил Господа сохранить ему жизнь. Ганин не знал ни одного слова молитвы, но тогда эти слова находились сами и хлынули из него. Такие мгновения разом превращают человека в солдата, и он уже потом стыдился проявления своего страха. Со временем у него даже появилась уверенность в собственной неуязвимости, но связь с особым миром, вне его сознания, осталась уже навсегда. Она стала его невидимым хранителем на долгие годы. Даже совершенные законы физики и астрономии больше не мешали этому.

- У каждого своя дорога к Богу, - словно читая его мысли, продолжает старушка. - Без веры душа бродит в темноте, можно совсем потерять себя. Сколько соблазна и греха вокруг.

- Ужели можно и сейчас ждать каких-то новых чудес, мироточивых икон и благодатного огня?

- Это только род лукавый сегодня ищет чудес, - улыбнулась старушка. - Христос являет чудеса тем, кто принимает его и без чуда. Бог себя не навязывает, к нему приходят сами...

- Вот сейчас часто говорят, что это раньше людям была нужна помощь Бога, что-то вроде подпорки. Теперь человек развился, повзрослел и сможет спокойно обходиться без него. Люди и так могут жить, не убивая друг друга по принципу «все дозволено».

- Человек так уж устроен, что он все равно будет чему-то молиться. Если нет Бога в душе, то нечистого будет звать, или из богатства себе идола сделает. Пустоты-то не бывает, все едино кто-то придет. Посмотрите, сколько ненависти в людях, сколько зла стало вокруг... С тем старушка и попрощалась, ей пора было выходить.

Электричка подъезжала к станции. «Любань». Слово-то, какое красивое и ласковое... Так зовется городок, который раскинулся на берегах реки Тигоды. Живописное место, хорошо в любое время года. Сейчас здесь все утопает в зелени. Его издавна называли городом цветов: «В дощатом городе Любани к перрону вынесли цветы».. К слову, она старше Питера на 200 лет. Правда, поднялась только с появлением северной столицы. Сначала здесь проходил почтовый тракт, а потом и знаменитая Николаевская железная дорога на Москву. Потому проезжали через Любань все известные в России люди: А.Н. Радищев, Г.Р. Державин, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов, а сколько другого, прочего люда, по служебной и иной надобности, и вовсе не счесть... Вон и золотые купола церкви уже виднеются, она как в Петербурге зовется - Святых Апостолов Петра и Павла... Этот храм много натерпелся, как и все русские люди. Был там и склад, и запустение. В войну туда попала авиабомба, так и стоял потом без крыши и колоколов... Все восстановили, теперь приезжают сюда молиться даже из других мест.

«Нет, не истребить веру в человеке, - думал Ганин. - Каждый к этому приходит, только иногда очень поздно, когда жизнь прошла и неизвестно на что была истрачена».

Даже у Маркса о религии не было сказано плохого: «Религия – это вздох угнетенной твари, душа бездушного мира, сердце бессердечных порядков, цветы, украшающие цепи, опиум народа». Говоря по-другому, религия – это способ остаться человеком в нечеловеческих условиях. В отличие от Ленина, он был более глубоким мыслителем и понимал, что осуждению следует подвергать не религию, а само несовершенное общество. Только раньше нас не учили так понимать, а самим доходить до всего этого бывает хлопотно...

Вечерело, Ганин со своим другом Петровичем уютно устроились на открытой веранде. После баньки выпили уже по четвертой, хорошо сиделось. По небу бродили темные тучи, громыхало, но дождя не было. Где-то вверху искрило молниями, освещая сад мертвенным голубоватым светом. Птицы шептались, металась почти у самой земли...

- Эко светопреставление сегодня, разгулялся Илья-пророк, - говорит Петрович, выливая очередную стопку в горячий чай и прихлебывая. - Ишь, как стрелами бьет. В народе это зовут «воробьиной ночью», завтра снова будет ясный день.

Утро

Облака были легкими, как перья. Они таяли и уходили куда-то вверх. Небо в окне постепенно светлело и розовело красками. Теперь луна казалась мне призраком, осколком странного инородного тела на утреннем небосклоне. Она бледнела, а ее далекие океаны и моря бурь и дождей складывались в одну печальную гримасу. Наконец, скользнув своим взором в последний раз, луна исчезла совсем.

Вот уже край неба над горизонтом из серых крыш, башен и куполов церковей светится подобно угольям костра, торопливо обнажая ослепительный диск солнца. Через мгновение его первый же луч отразился в каждом оконном стекле, пробежал и вспыхнул на игле далекого собора Святых Апостолов Петра и Павла. Уличные проспекты, словно реки, постепенно наполнились шумом и торопливым людским потоком. Снова привычно стоят в бесконечно длинных пробках автомобили задыхающегося города. Сизая дымка подни-

мается с городских улиц и постепенно прячет солнце. Где-то внизу бегут вагоны, гудят тяжелые рельсы подземки, медленно ползут вверх ступеньки эскалаторов. Теперь город с его паутиной улиц, площадей и мостов напоминает с высоты большой разбуженный муравейник.

Душ сбрасывает с меня остатки сна и ослабленности. Первый же звонок на мобильный возвращает в реальность и съедает весь лимит времени на сборы. Торопливая чашка кофе, сигарета. Во дворе дрожат осенней листвой березки. Растворяюсь в общем потоке. Начинаясь новый день большого города.

Путешествие из Петербурга...

Вольский комфортно устроился в мягком кресле и раскрыл книгу. Это была «История государства Российского» в изложении историка Карамзина. Призвание князей варяжских в Россию. Нужно было управлять и защититься от самих себя. Удивительный и беспримерный в летописях случай. С действительностью в этой истории уже не разобраться...

В салоне автобуса не многолюдно, всего 6 человек. Дорога предстояла неблизкая. За окном медленно плыл Московский проспект с его серыми, парадными зданиями в стиле сталинского ампира. Автобус поминутно оставался в бесконечном движущемся стальном потоке автомашин. Наконец, он выехал за городскую черту и пошел быстрее. Проехали Шушары. Когда-то здесь были совхозные поля, а сейчас тянулись унылые промзоны. Навстречу автобусу двигался поток тяжелых фур.

«Неужели все это так необходимо человеку для его существования?» – подумал Вольский.

Некоторые из этих фур уже сворачивали с трассы, и тогда стальные склады открывали ворота-пасти и начинали заполнять свои бездонные чрева контейнерами и коробками. Вокруг суетился беспокойный человеческий муравейник.

Мегаполис представлялся Вольскому ги-

гантским, ненасытным спрутом со стальными щупальцами из ручейков погрузчиков и юрких автомашин развозчиков... Он перевернул новую страницу и снова углубился в чтение труда историка. «Муж обрабатывал землю, плотничал, строил; жена пряла, ткала, шила, и всякое семейство представляло в кругу своем действие многих ремесел. Но основание городов, торговля, роскошь мало-помалу образовали людей особенно искусных в некоторых художествах: богатые требовали вещей, сделанных удобнее и лучше обыкновенного»..

- Как далеко все это ушло. Теперь уже вещи совершенно подчинили человека. Не они, а он служит им, стал их покорным рабом.

Дорога была хорошая, трасса федерального значения. Автобус идет еще быстрее, нет остановок. По обеим сторонам дороги теперь поднимается высокий лес. Ям-Ижора, Ульяновка. Всего-то час, другой езды от Питера, а это уже совсем другая Россия. Россия без просвета и перемен. Как быстро здесь заканчивается наше благополучие. Депрессивная зона. Это когда край гибнет без войны. Целые города, деревни. Серые, покосившиеся избы. Нищета выедает глаза провалившимися крышами и заколоченными окнами.

- Сколько таких сейчас по России? Не защитить в них человека, не спасти закрытой сельской школы...

Переворачивались страницы давно забытой истории... «Города пустели, - пишет Нестор, - в селах пылают церкви, дома, житницы и гумна. Жители издыхают под острием меча или трепещут, ожидая смерти. Пленники, заключенные в узы, идут наги и босы в отдаленную страну варваров, сказывая друг другу со слезами: “Я из такого-то города русского, я из такой-то веси! Не видим на лугах своих ни стад, ни коней; нивы заросли травой, и дикие звери обитают там, где раньше жили христиане!” К умножению несчастий Россия узнала в сие время новый бич естественный: саранча..., покрыв землю, совершенно истребила жатву; тучи сих пагубных насекомых летели от юга к северу, оставляя за собою отчаянье и голод для бедных поселян»...

Проехали поселок Жары. Это 7 почерневших от времени домов вдоль дороги. Одна только мастерская светится благополучием и яркой вывеской «Шиномонтаж», рядом ее улыбающийся хозяин – загорелый южанин...

- Только дорога здесь кормит, брат...

Небо за окном весеннее, синее. Ползут плоские облака, похожие на блины и пироги. Будто, печет их кто-то в огромной печи за горизонтом. Снег слежался и блестит на солнце, как начищенная сковорода. В салоне автобуса становится жарко, и водитель включает кондиционер. Часы в салоне автобуса показывали 8 вечера.

- Неужели мы едем так долго? – рассеянно подумал Вольский.

Нет, эти часы показывали правильное время только один раз в сутки. Они стояли. Время за окнами, казалось, тоже остановилось и не менялось десятилетиями. Рябово. Об этом сообщал красивый дорожный указатель на русском и английском языке.

- Разве это русское название может так же легко читаться и произноситься на другом языке? Оно и верно. Прочитать что-то всегда можно. Только понять эту жизнь будет труднее.

Рядом, на одном из домов кумачовый плакат: «Дом продается»... Собственно, самого дома уже не было, оставались только его стены...

Река Ушачка, и до Москвы оставалось еще 637 километров. Теперь автобус подходит по трассе к Энску. Дорога сразу стала хуже, затрясло. На обочине колонна груженых фур. Из кабины соседнего автомобиля спускается женщина. Поеживается от холода. Ей подаются сумочку. Покачиваясь, она направляется к следующей машине. У дороги крохотная церковь под зеленой крышей и серой луковицей купола. Рядом покосившаяся изба смотрит заколоченным фанерой окном, словно подбитым глазом.

- Может быть здесь и начинается та, самая настоящая, а не придуманная в телевизионных ток-шоу Россия?

Теперь она казалась Вольскому ближе и дороже. С таким чувством думают о неудавшейся судьбе своего ребенка, о старой и больной матери. В них много боли и слез, их и любят поэтому более других... Это было и его прошлое. В таких местах когда-то жили его родители, рос он сам.

Автобус, покачиваясь на ямах, сворачивает на стоянку. Покосившиеся столбы, лужи. На двухэтажном здании красуется надпись «Мотель». Остановка на 15 минут. Вольский

вошел в маленький зал бистро. Полумрак. Он заказывает себе чашку кофе. Следом толстый мужчина в кожаной кепке берет себе бутылку водки на вынос.

- Водитель? – спрашивает он Вольского.

- Нет, пассажир...

- А я генеральный директор, жду водителей. Нужно дать им денег. Какая дорога может быть без денег? Это тебе каждый скажет.

Маленькие восточные черные глазки директора плывут от выпитого спиртного.

Вольский присаживается у окна. За соседним столиком скучают две ярко накрашенные девицы. Их худые, длинные ноги выставлены посетителям напоказ.

- Эй, ковбой, - обращается одна из них к долговязому водителю. – Угости девушку сигареткой.

Водитель пьяно усмехается.

- Может быть, вам еще и по стакану налить?

Девицы весело смеются.

- Мы от хорошей компании не откажемся...

Водитель прячет бутылку за пазуху и направляется к выходу.

Автобус трогается дальше. На обочине автомашина ДПС. Инспектор дорожной полиции останавливает фуру. Водитель вытаскивает документы, деньги и обреченно направляется к нему. До Великого Новгорода оставалось еще 65 километров...

- Кто и зачем сегодня идет на государственную службу, во власть? Разве не ищут многие только место хлебное, чтобы поставить на кормление себя и многочисленных чад своих? Мало там осталось людей душою радеющих за Отечество в наше смутное время. Вот и видим теперь таким главное дело рук своих...

«...Россия в первый раз увидела торжественное собрание князей своих на берегу Днепра в городе Любече. Сидя на одном ковре, они благоразумно рассуждали, что отечество гибнет от их несогласия; что им должно, наконец, прекратить междоусобие, вспомнить древнюю славу предков, соединиться душою и сердцем, унять внешних разбойников... – успокоить государство, заслужить любовь народную... Каждый был доволен; каждый целовал святой крест...»

Сильная женщина

Медленно иду по горячему песку вдоль берега. Мимо лежащих тел, словно через поле битвы. Кажется, сегодня солнце побеждало, и тела уступали, прятались в тень. Усиленная автомобилями, мотоциклами, мотороллерами и вездеходами человеческая плоть вновь и вновь шла в наступление.

Плоское блюдо залива блестело как зеркало. Вода отошла, обнажая поляны зеленых водорослей и торчащие, словно спины доисторических животных, камни. Присаживаюсь на один из них и начинаю набрасывать в альбоме живописную группу загорелых девушек, едва прикрытых лоскутками купальных костюмов. Заметив внимание, они начинают откровенно позировать.

Из-за ближайших кустов стелется сизый дым и запах горящего мяса, сдобренного специями. Ну какой же русский отдых обходится без шашлыков? Это такое же незыблемое правило, как и охота до быстрой езды. Помутневшие от спиртного и солнца глаза. Красные, медленно жующие потные лица, висящие подбородки и дрожащие как студень груди, - все это сливалось в одну кривую гримасу. Ощущение вечно-го праздника безделья дополнялось проходившей в соседнем кафе свадьбой. Неувядающим голосом комсомольского работника невидимый ведущий уверенно выстраивал действия гостей и поздравлял молодых. Звучала музыка из бра-зильских сериалов.

Больше уже работать не хотелось. Поднявшись в верхнее кафе, едва успеваю несколькими линиями набросать одинокую фигурку дамы в шляпке с крохотной собачкой на руках. Она будто искала кого-то и совершенно выпадала из атмосферы общего праздника. Почувствовав мой взгляд, она нервно поводит плечами и быстро уходит.

Теперь неспешная чашка кофе за столиком. Звонок моего телефона словно взрывает этот мир тревожным сигналом.

- Где ты сейчас? Мне очень плохо, слышишь? Приезжай, я...

Было странно, но в этот момент оказываюсь почти рядом. Нас разделяло всего несколько сотен метров.

- Я уже здесь, я бегу...

- А ты ведь не ждал моего звонка...

Лифт, длинный коридор гостиницы с открытой настежь дверью. Ее фигура у окна. Всегда тонкая и прямая, сейчас она будто сло-манная грубой рукой игрушка. Казалось, непо-

сильная тяжесть опустилась на плечи. И глаза, незащитные и широко открытые... Так смотрит ребенок, которого ударил взрослый человек, хорошо уверенный в своей безнаказанности.

Осторожно беру ее руки, пальцы холодны как лед. Сжимаю их в своих ладонях, они теплеют. Вот мы и опять рядом. Капля за каплей уходит боль и обида. Теперь тревоги видятся нам легче, уже как бы со стороны.

Мы ведь давние друзья и дорожим своими отношениями, но видимся очень редко.

- Все же приятно, что в такие минуты, я оказываюсь первым в списке твоих друзей.

- Ты не груб, как многие, и с тобой всегда как-то спокойнее за себя.

Она постепенно возвращалась в прежнюю себя, ироничную, уверенную в себе женщину. Только в уголках серых глаз еще затаились маленькие льдинки. Может это оставались слезы, которые она всегда умела скрывать.

- Только не очень обольщайся на свой счет. Ты ведь знаешь, что мне никто не нужен. У тебя творческая натура, а мне с такими людьми всегда не везло. Ты ведь тоже всегда один.

- Люди искусства не слишком хороши для семьи. Они заняты больше собой, ищут признания и хотят, чтобы служили им, - отвечаю я.

Она была одной из тех успешных питерских женщин, для которых любая цель достижима, нужно только сильно захотеть и много работать. Это давно стало жизненным принципом. Казалось, ее годы остановились где-то чуть за 30-ть. В таком возрасте женщина может находиться сколь угодно долго, если умеет следить за собой. Только нужно всегда находить чуточку времени для себя. Даже в спортивном зале, где мышцы тянутся до боли.

Нет, здесь не было любви к себе. Это давно превратилось для нее в жестокую необходимость существования, планку, которую ниже не опускала.

Совершенно незаметно для себя мы оказались в мире вещей, нужных и не очень. Удобные, красивые вещи любят и берегут. Какое-то место в этом мире занимаем и мы. Нами ведь тоже пользуются, как бы при этом не называли. Иногда беззастенчиво используя, потом отбрасывают и забывают. Как старую вещь, как надоевшую игрушку. В таком мире все имеет свою цену. Значит, ее нужно постоянно поддерживать, но со временем это становится все труднее. Только нужно еще постараться не сойти с ума. Иногда все это кажется мне странным, дурно затянутым сном. Стоит только разом оч-

нуться, подставить воспаленную воображением голову под ледяную воду, и все приобретет нормальный человеческий вид.

Теперь мы сидим на полу, и я осторожно кормлю ее черешней из своих губ в ее ждущие, приоткрытые губы. Медленно, жадно целуемся до изнеможения, два истосковавшихся по теплу и ласке человека.

- У нас с тобой все как в песне, про то, как встретились два одиночества, развели у дороги костер...

В эту светлую летнюю ночь она была и сильной, и слабой, и незащитной. Но именно такой она нравилась мне более всего.

Наступило утро следующего дня, и снова жаром накалялось летнее солнце.

Украдкой любуюсь совершенными линиями ее обнаженного тела, блеском глаз, в которых осталось тепло и усталость прошедшей ночи. Она чувствует это и отвечает счастливой улыбкой.

Позвонила дочь. Теперь она с живым интересом наблюдает за моим разговором по телефону.

- Какие у тебя хорошие и доверительные отношения с дочерью.

- Да, я очень люблю ее, она самый близкий и дорогой мне человек.

У нее тоже была взрослая дочь, но отношения порой складывались трудно. Наверное, приходит такое время, когда у женщин это получается иногда немного сложнее, чем у мужчин.

На парковку к гостинице подъехал автомобиль дорожной полиции. Кто-то из наших соседей развлекался и гонял ночью на встречном движении по Приморскому шоссе. Случилась авария, пришло время разбираться и платить по счетам.

Она тоже любила свой автомобиль, похожий на серебристый снаряд. Любила мчаться на нем по дамбе через гладь залива, нырять в длинный гулкий подводный тоннель. Казалось, что в какой-то момент за спиной вырастали крылья, и колеса уже отрывались от земли, воздух рвался и свистел в ушах. В такие мгновения она могла забываться и не думать совершенно ни о чем.

Я снова и снова набираю номер ее телефона. Трубка не отвечала, гудки... Охватывала тревога за человека, доверившегося тебе и ставшего очень близким. Может быть сейчас там, за этим поворотом мелькнет стремительно ее серебристый автомобиль, и снова услышу самые простые в мире слова:

- Здравствуй, это я ...

ЛЕВ ГОРЯНИН

Дорога в никуда

1

Невысокого роста, плотного телосложения, с густой черной шевелюрой, с узкими прорезями глаз и скуластым смуглым лицом, Туйгун являлся ярким представителем одной из ветвей узбекской нации. Не вызывало сомнений, что его дальние предки были кочевниками.

В возрасте тридцати двух лет он имел черноглазую, стройную, как газель, красавицу жену – Мухаббат*, четверых детей, высшее образование и интересную работу по специальности.

Со Львом они были друзьями еще со студенческих времен.

Всегда энергичный и жизнерадостный, Туйгун вдруг сделался раздражительным. Что-то случилось в его жизни. Лев решил выяснить причину его частого изменения настроения.

– Мои сыновья достигли такого возраста, когда приглашают муллу, чтобы совершить мусульманский обряд. А это стоит больших денег, – стал объяснять он, – настала пора устроить праздничный той. Надо позвать всех родных, махаллю, музыкантов. Ты знаешь, гостей будет около двухсот человек. Чего стоит только большой казан плова, а еще надобно уплатить музыкантам за игру, мулле – за операцию, после которой сыновья станут мужчинами, одарить всех родственников подарками. От этих проблем голова идет кругом. Каждый той, по затратам, равен приобретению новой машины. Как, удивлен? А что делать? Это так. У меня есть небольшой сад с огородом. Все, что на нем вырастает – реализуется на базаре, но эти дополнительные доходы не спасают создавшегося положения. Кстати, ты знаешь, что такое подарок по нашему обычаю? Попробую тебе вкратце рассказать. Из самых чистых побуждений, глубоко уважая своего родственника, в момент торжества, от всей души ты вручаешь ему дорогой подарок. Одновременно с этим ты его разоряешь. А дело все в

том, что его оценочная стоимость записывается в книгу приношений. Обычно это делает бабушка или старший член семьи. Теперь этот родственник обязан вручить на твое торжество подарок той же стоимости, что получил сам. Представь себе, что в год будет двести приглашений – по количеству родных и знакомых, а может быть и больше. Не все могут позволить себе роскошь – приобрести такое количество подарков. Найден выход. Многие мусульмане, не имея денег, пускают эти же подарки в оборот, то есть они их хранят (если они не портящиеся) и затем их же дарят при очередном приглашении, но уже другой семье. Бывает так, что через год или два, первая семья получает свой же подарок, обошедший весь круг родственников и друзей. Все понимают, что это не совсем этично. Однако, что делать? А как обеспечить прием гостей, если их такое множество? Вот почему вопрос наличия денег в достаточном количестве у нас, узбеков, становится ключевым. Наши устоявшиеся обычаи порой очень строги и во многом непрактичны, но пренебречь ими никто не рискует. В противном случае, на нарушителей ляжет тень неверного по отношению к священному писанию. Вот и представь себе, сколько должна зарабатывать семья, чтобы чувствовать себя самодостаточной.

– Ты мне об этом не рассказывай. Я все это знаю не хуже тебя. Лучше скажи – что ты придумал?

– Есть один вариант. Он может обернуться большим убытком, но иначе я поступить не могу. Именно это обстоятельство и гложет мою душу. Но я уже принял решение. Сегодня едем в старый город для участия в петушинных боях. Это тот случай, при котором можно заработать достаточное количество денег, а можно и проиграть – диалектика, как бы сказал ты.

– Остановись. Это большой риск, друг. Ставки на этих боях высокие, такие же, как на ипподроме, на скачках. Тебе придется занять внушительный капитал, чтобы включиться в игру.

– У меня нет выбора.

Отговорить Туйгуна от его решения было невозможно.

2

Владельцы бойцовых петухов сидят важно вокруг ринга диаметром около двух метров, поглаживая по перьям своих любимцев и гордясь их бравым видом. Первая пара подходит к месту боя. Среди зрителей разгорается спор по величине ставок на победителя. Но вот страсти улеглись. Все заметно облегчили кошельки. Образовался внушительный банк. По команде выпускают петухов, которые метеором влетают на ринг. Поле боя является привычным местом для пернатых бойцов.

При виде противника шея у них вытягивается, глаза «вылезают» из орбит. Растопырив крылья, наклонив голову, они вначале крадутся, а затем, развивая скорость бега, сближаются с соперником. Миг, и они уже столкнулись грудью. В ход пущены шпоры, крылья, клюв. От обеих птиц летят разноцветные перья во все стороны, на теле появляются кровоточащие раны. Вид крови еще больше раздражает бойцов, ими руководит выработанный тренировками инстинкт победителя. Петухи яростно сшибают друг друга с ног и тут же вскакивают, продолжая битву. Подпрыгивая в воздух и с ожесточением налетая друг на друга, каждый из них пытается заставить своего противника позорно бежать с ринга.

Зрители в состязании принимают активное участие. Нервы у них напряжены. Все кричат, толкают соседей, работают локтями, стремятся прорваться ближе к рингу. Первый ряд уже перегнулся через ограждения. Разгоряченные в споре лица похожи на уродливые маски. Задние ряды лежат на передних, желая своими глазами увидеть кровопролитие.

А петухи, тем временем, продолжают свою потасовку. Удивительно, сколько энергии выплескивают на ринге, казалось бы, слабые создания.

Но вот один из драчунов не выдержал. Весь окровавленный, почти лишенный своего прекрасного радужного оперения, опустив голову, как бы от стыда за свой проигрыш, волоча по травяному ковру крылья, собрав последние силы, на подкашивающихся ногах убегает от противника. Энергии продолжать бой, у него

не осталось. Он проиграл. Но второй боец не может выйти из возбужденного состояния. С невероятным упорством он продолжает его преследовать, сбивать несчастного корпусом и крыльями, бить шпорами, раздирать клювом кожу на голове, норовя выклевать глаза. Вокруг раздаются одобрительные крики болельщиков, свист и улюлюканье.

Некоторые участники боя смотрят на окружающих с торжеством, другие – с горечью от проигрыша. Слышны недовольные возгласы проигравших участников азартной игры и ликование другой стороны. Здесь же, неподалеку, торгуют бойцовыми петухами. Можно приобрести их и продолжить игру.

Делаются новые ставки на битву очередных пар. Это развлечение не для слабонервных лиц. Петушине бои продолжались до вечера. Туйгун остался доволен, ему улыбнулась фортуна.

– В следующее воскресенье пойдем еще на одно соревнование, несколько другого характера, – многозначительно пообещал друг Льву.

3

Вечером, в условленный час Туйгун и Лев встретились в чайхане, где уже все было готово к проведению мероприятия. Количество желающих участвовать в нем оказалось достаточно большим.

На вертелах зажарены два равных по весу барана. Запах жареного мяса распространился далеко за пределы чайной. А суть состязания следующая: два участника садятся скрестив ноги на ковер в центре зала, друг против друга. Задача их – съесть сочное и ароматное жареное мясо быстрее и в большем объеме, чем удастся это сделать сопернику.

Вышли в зал богатыри-тяжеловесы. Внешне они походили на японских борцов сумо. Начался, как обычно, ажиотаж со ставками на победителя. После сигнала участники принимают условные позы. Сзади каждого богатыря укладывают на подносы предмет состязания. Они должны руками отрывать куски мяса и съедать их, не видя количества оставшейся пищи.

Первые минуты соревнования богатыри буквально запихивают в рот большие куски

баранины и, почти не жуя, проглатывают их. Плотное кольцо людей, окружившее «борцов», с восторгом, выражаемым одними произносимыми междометиями, громкими возгласами и вздохами, поощряли мучеников. По мере уменьшения мяса на подносе, крики толпы усиливались, а скорость его уничтожения, состязающимися лицами, с каждой минутой, падала. Последние вялые движения насытившихся «полвонов» указывали на то, что скоро предстоит увидеть победителя. Болельщики с криком скандировали имена героев. Дальше разобрать, о чем кричат люди, было нельзя – стоял общий гул. Покрасневшие, влажные лица, с судорожно открытыми ртами, подтверждали напряжение боя. В споре болельщики готовы были вцепиться друг в друга. Накал страстей становился запредельным. Но вот, один из борцов не выдержал и повалился на бок. Встать самостоятельно он не смог. Зрители подняли его и положили на айван. Он явно терял сознание – глаза затуманились, тело обмякло. Специалисты занялись его реанимацией. Соревнование закончилось. Победитель получает солидную денежную премию и подарки: прекрасный полосатый шелковый халат, расшитую узбекским узором тюбетейку, искусно выполненные бордовые ичиги и нож в ножнах, с национальной гравировкой по его лезвию и ручке. Он предназначен для разделки барана. На подносе у обоих участников, кроме обглоданных костей, почти ничего не осталось. Выходили из чайханы любители острых ощущений, обсуждая во весь голос сам процесс соревнования. Туйгуну вторично повезло. Он весь сиял от радости.

4

Прошло немного времени после описанных событий. Один из крупных руководителей республики пригласил в свой кабинет Льва и предложил сопровождать его в поездке на предприятия Бухары в качестве специалиста-консультанта. Средняя Азия всегда отличалась широким гостеприимством, но когда приезжал на предприятие республики руководитель высокого ранга, встречу ему организовывали не хуже царской. Дастархан** там просто ломился от всевозможных яств. Именно так встретила Бухара делегацию из столицы.

После обильного завтрака, вся свита направилась смотреть древний город Бухару – город-музей с многовековой историей. Он возник в первом веке новой эры на пересечении торговых путей, проходящих через Среднюю Азию. Над городом взметнулся ввысь стройный высокий минарет – Калян. Внутренняя каменная лестница его выходит на площадку ротонды, которой заканчивается башня. Отсюда муэдзин своим громким и протяжным криком сзывает всех правоверных к молитвам. По преданию, в средние века, с нее сбрасывали на каменную мостовую несчастных жителей города, осужденных на смерть законами шариата. Народ назвал этот минарет «Башней смерти». С башни хорошо виден весь город с узкими азиатскими улочками. Он утопает в зелени.

Не менее внушительным является высокий медресе с четырьмя круглыми башнями – Чор-Минор (1807 г.). Его кирпичный, орнаментальный рисунок стен, изумителен по своей красоте. Венчают башни шапки-полусферы, облицованные лазурной керамикой, сияющей на солнце всеми цветами радуги. Священные, грациозные и гордые аисты давно облюбовали на них место и уже около двух сотен лет постоянно вьют свои гнезда на головокружительной высоте. Все древние архитектурные сооружения города просто невозможно обойти. Среди них – мечеть Азиз-хана со строгой классической аркой, ансамбль Ляби-Хауз (XVI – XVII в. в.), Кош-Медресе (XVI в.).

Чего стоит только мавзолей Ислама Самани – гордость восточной архитектуры. Он представляет собой куб с угловыми колоннами, увенчанный полусферой. Его кирпичная кладка уникальна. Сооружен он в IX–X веках. Многие государства мира предлагали за него значительную сумму денег золотом, желая разобрать его и собрать по чертежам на своей территории, как музейный экспонат.

Во всех старинных постройках преобладают глухие стены фасадов, огромной величины порталы входов, покрытые узором многоцветной облицовки, лоджии с выходом во двор и растворяющиеся в синеве небес минареты. Под южным солнцем керамическая плитка «горит» яркими цветами, среди которых доминируют желтый, синий и зеленый, с бесчисленными оттенками.

На арбе, с огромными, двухметровыми

колесами, по направлению к базару, ехал арбакеш. Вез это сооружение, по узким улочкам города, маленький осел. Арба громыкала по каменной мостовой, наводя ужас на пешеходов. Остерегаясь наехать на спящих со всех сторон, людей, арбакеш, как заученную молитву изредка выкрикивал слова: «Пошт! Пошт!***». Гости в испуге шарахались к высокому забору, пытаясь слиться с ним, чтобы не попасть под колеса доисторической колымаги. Бухары не коснулась цивилизация, тем интереснее и экзотичнее она предстала пред их глазами.

Базарная площадь. Здесь продается все, удовлетворяя запросы любых покупателей.

Как и тысячу лет назад, над ней разносится гул несмолкаемых голосов людей, рев верблюдов, крик ослов, бляение баранов. Воздух насыщен запахами всевозможных пряностей и специй. Они в изобилии разложены в мешках и небольших мешочках. Во многих местах слышны выкрики азартных игроков в кости, окруженных зеваками. Лежат на земле необъятные горы арбузов и дынь разных сортов, привлекая покупателей своим приятным ароматом.

– Дорогой, продай дыню, но помоги вынуть, чтобы была сладкой, – обращается Лев к продавцу.

– Ты откуда приехал?

– Из Ташкента.

– Тогда я дарю тебе ее. Бери ту, которая на тебя смотрит.

Лев знал, что без подвоха здесь не обойтись. Но, ради того, что козни эти всегда обыгрываются мастерски, с большим юмором, он решил подыграть продавцу, провоцируя его быстрее раскрыть суть шутки. Он сделал вид, что поверил ему и стал спокойно выбирать дыню. Взял одну, среднюю, взвесил на руке: «Пожалуй, килограмм на семь потянет».

– Брать можно любую?

– Да, земляк.

– Беру эту.

– Согласен. А теперь подари мне три рубля – ее цену. Думаю, ты не откажешь мне в такой малости?

Все стоящие рядом и, оказавшиеся свидетелями диалога, улыбкой поощрили находчивого продавца. Он даже удостоился рукоплесканий. Такой тонкий юмор характерен только для Азии.

– За искрометный юмор не жалко заплатить и в два раза дороже, – не сдержав смеха, ответил Лев.

– Будь здоров, уважаемый, приходи еще, – ответил довольный удачной продажей продавец.

Вечером все, уставшие и проголодавшиеся, возвратились в резиденцию руководства Бухары, обнесенную со всех сторон высоким забором со смотровыми башенками по углам. Во дворе было множество фруктовых деревьев с нетронутыми спелыми плодами. Дорожки были выложены газганским мрамором. В центре двора – прекрасный фонтан. Все тщательно подметено. Маленькие крутящиеся фонтанчики, раскиданные по всему двору, создавали свежий микроклимат – оазис среди пышущего жарой города. Приятно ощутить всем телом ласкающий холодный воздух после знойного дня. Само здание по форме напоминало небольшой дворец. На крыльце, у входа, стоял радушный хозяин и правой рукой выражал почтение гостям, прижимая ее к сердцу, а жестом левой – приглашал войти в дом. Он весь изогнулся в поклоне, в области поясницы. На лице отражалось благоговение, глубокое уважение к гостям и желание выполнить любые их просьбы.

В прихожей дома и на лестничных пролетах лежали бордового цвета плотные ковровые дорожки. Убранство зала изумляло роскошью. Двери из ореха украшала резная национальная вязь. Две стены из четырех, были облицованы зеркалами, на которых нанесен ганч, с вырезанным по нему орнаментом. Они производили впечатляющую картину. По углам комнаты стояли подсвечники из естественного камня, представленные небольшими колоннами с прорезанными вертикальными желобками. Основание и капитель их покрыты позолотой. Посреди комнаты был установлен массивный овальный стол. Его ножки – искусно вырезанные лапы грифонов. Столешница его была прикреплена к их поднятым крыльям. На полу – отполированный до блеска паркет из красного дерева был уложен национальным орнаментом. В центре потолка закреплена хрустальная люстра с размерами, соответствующими величине зала. Окна и ниши в стенах напоминали входы в кельи медресе. Весь интерьер зала представлял собой типичную эклектику – соединение раз-

ных архитектурных стилей. По всей вероятности, владелец дворца задался целью поражать изысканным вкусом часто приезжающих сюда гостей – руководителей республики.

На ужине поднимались бокалы, говорили друг другу льстивые речи, один за другим произносились тосты. В зале тихо звучала узбекская мелодия. Вечер был в разгаре.

Слыша вокруг родную речь и, не разбирая, кто перед ним стоит (алкоголь брал свое), виновник торжества обнял Льва за плечи и медленно, подыскивая слова, произнес:

– Давно пора выдворить русских из Узбекистана. Мы и сами справимся с нашим хозяйством. У нас достаточно специалистов нашей национальности.

Лев от неожиданности онемел, но все-таки, решил до конца прояснить этот вопрос:

– Мне кажется, мы должны быть благодарны русским за всю ту помощь, которую они нам оказали.

Чиновник долго, не мигая смотрел на Льва, пытаясь осмыслить сказанную им фразу, затем изрек:

– За что?

– За то, что они помогли нам превратить республику, ранее отсталую и аграрную – в культурную, с передовыми технологиями и высокоразвитым сельским хозяйством, воздвигли множество городов, построили автомобильные и железные дороги...

– А нам это было надо?

– Но что здесь плохого?

– Они у нас душу вытрясли, унизили. Мы бы и без них это создали, – при этих словах глаза человека, наделенного властью, блеснули открытой злобой и ненавистью.

– В таком случае, кто вам мешал действовать независимо?

– Русские.

– Чем же?

– Своим диктатом.

Лев прекратил разговор. Что-то близкое терялось безвозвратно. Земля, на которой он вырос, стала «уходить из-под ног». Глубину трагедии он почувствовал сердцем, но разум не хотел мириться с действительностью.

5

По приезде в Ташкент, Лев обратился к Туйгуну за разъяснением. Этот, можно ска-

зать, случайный разговор, потряс его. Не мог он поверить, что идея «освобождения» нации охватила все слои населения.

– Объясни мне, друг, что происходит в Узбекистане? Что плохого сделали вашей нации русские и, почему их перестали уважать местные жители? Эта появившаяся неприязнь к русским только со стороны отдельных личностей или она распространилась среди всего народа?

– Откуда у тебя такие сведения, Лев?

Лев передал вкратце содержание диалога, состоявшегося в Бухаре, во дворце, во время пышного застолья.

Туйгун долго не отвечал на вопрос. Он не хотел наносить рану другу в самое сердце, зная его искренне-доброе отношение к местному народу. После некоторого раздумья, Туйгун решил высказать свою точку зрения.

– Хорошо, для твоего же блага я расскажу все. Ты не обижайся, Лев-джон, это не твоя вина. Но, к сожалению, высказанная мысль при таких нестандартных обстоятельствах, давно будоражит умы населения. Ошибка русских в своих деяниях состоит в том, что они хотели принудить узбеков жить по своим законам, забыв при этом о сложившихся, на протяжении многих веков мусульманских обычаях и укладе их жизни в жарком климате. Русские пытались заменить своими идеалами культуру и нравы, законы шариата, религию, словом все, что дорого нашему народу, поскольку это расходится с представлениями вашего народа. Наша культура создавалась веками, к ней привык житель Средней Азии. Нас устраивала наша жизнь, а русские не особенно чтити наши устои, что породило неприязнь части народа к великой русской нации. Руководящая верхушка страны уже многие годы упорно рвется во власть и умело разжигает национализм, используя ваши ошибки и, играя на чувствах народа. Населению это нравится. Пока нравится.

Здесь Туйгун замолчал. Видимо, ему трудно было говорить о том, с чем сам он был не согласен. Но через некоторое время продолжил:

– И самое главное. Наш этнос моложе вашего примерно на три столетия, значит, по своему развитию, он отстает от русского почти настолько же, насколько вы – от Европы. Русские же, пренебрегая этой истиной,

пытаются нас насильно подтянуть до своего уровня. Это благо, однако, еще ни одной нации не удавалось ускорить естественный ход истории, тем более, перескочить через целых три сотни лет ее развития. Процесс перехода от одного качественного состояния общества к другому должен идти своим историческим путем, не опережая данное ему природой время. Народ не может изменить свое мировоззрение по желанию кого-то извне. Попытки это сделать его пугают, отталкивают, вызывают массовое сопротивление. Но это вовсе не значит, что узбеки, как нация, хуже русских, или, наоборот. Просто, наш этнос находится в подростковом возрасте, тогда как ваш – достиг среднего. Однако у нас есть перспектива догнать ваш сегодняшний уровень развития через три сотни лет. А к тому времени, у вашего этноса наступит такая фаза, когда потенциальная энергия его существования начнет иссякать. Всему есть свой предел. Жизнь этноса равна, примерно пятнадцати столетиям, затем он распадается и растворяется среди разных пограничных этносов. Эту философию теории этносов впервые представил всему миру великий ученый-историк – Лев Гумилев. Светлая ему память и наш низкий поклон.

– Туйгун, ты говорил убедительно и эмоционально. Не со всеми твоими доводами я согласен, хотя знаком с теорией Льва Николаевича и принимаю его позицию. В подтверждение твоих слов я скажу, что был свидетелем небольших стычек между русскими и узбеками, которые организовывала кучка умалишенных. Но я далек был от того, что идея освобождения от русских, так широко распространилась в Азии. В моей памяти еще свежо то время, когда узбекские семьи, после Отечественной войны особенно, удочеряли и усыновляли русских детей-сирот. Какое было братское отношение между нашими народами. Моя нация за это время не изменилась. Но все рушится. Узбеки, если так станет развиваться национальный вопрос, окажутся в изоляции.

– Да, мы сейчас в совершенстве владеем русским языком. У нас два родных языка – узбекский и русский. Мы много потеряем с отъездом русских из республики. Но это неизбежно, такова жизнь. Здесь любая помощь бессильна что-либо изменить. Однако я уверен, пройдет время, и добрые отношения наших народов вновь возродятся. К сожалению,

это будет не скоро. По сути дела, в стране происходит такая же революция, какая была у вас, только ваша страна ставила перед собой задачу свержения самодержавия, а наша – спасение устоявшегося веками быта нации. Должен сказать, что прогрессивные слои республики не поддерживают этот беспредел. Сейчас нацией выбрана дорога в никуда. Это тупиковая ситуация. Долго она существовать не сможет. Безумие охватило всю республику, но оно лечится только временем. Как друг скажу тебе, Лев-джон, что твоей семье не избежать участи преследования. Ты русский, чего не спрячешь – глаза у тебя голубые, волосы русые, да, к тому же, и светлокожий. С узбеком тебя не спутать. Знание языка не спасет. Не всегда друзья в нужный момент окажутся рядом.

6

Лев тепло, по-братски, попрощался с Туйгуном.

«Железная птица» уносила всю его семью в Россию. Ташкент для него перестал быть родным городом. Сердце щемило от нахлынувших воспоминаний. На земле, мелькавшей за окнами самолета, прошло его детство, юность и зрелые годы. В этом городе у него образовалась замечательная семья.

Через иллюминатор лайнера были видны знакомые места. Теперь они останутся лишь в памяти.

Самолет стал входить в густые облака. Все видимое исчезло.

Как примет Россия русскую семью, уроженцев Средней Азии третьего поколения и жившую там, с уважением относясь к местным жителям?

В Ташкенте, тем временем, бурно развивались события, вскоре породившие широкий поток беженцев.

* Любовь (узб.)

**Скатерть с установленной на ней
пищей (узб.)

*** Берегись! (узб.)

МАКАР АЛПАТОВ

Память, пронзившая век

...Всю жизнь я люблю ходить, много ходить. Пешком. Когда хожу, со мной истории всякие случаются, люди навстречу разные попадают, мысли непонятные и сочинения крутые в голову приходят. Когда хожу, отдыхаю душой. И предчувствие забирает на ходу – всё ждёшь: что-то произойдёт. Вот сегодня трудный день: сначала от метро Невский проспект мимо шостаковической филармонии, аникушинского Пушкина, Михайловского театра, Русского музея, Храма Спас на крови, который спас для грядущих поколений Виктор Иванович Демидов, Марсова поля и памятника Суворову – это частый знакомый проторенный путь – почти 20 лет уж. К 10 утра я прибыл в родной Университет культуры – преподавать. Шёл под дождём. Мои выпускники распелись быстро и ушли репетировать с оркестром – го-сэкзамен ещё не близко, но они уже дрожат. Правильно: вон Суворов за окном уверяет: тяжело в учении, но четвёрку получить можно. Пришла студентка с хореографического отделения, давно просила её послушать – петь хочет. Принесла диски, ноты, которые завернуты в журнал – ну, чтоб не смялись, а на обложке репродукция картины, которую я давно люблю – «Портрет балерины Александры Даниловой» Серебряковой. Девушка очень хороша, на этот портрет похожа да и поёт неплохо для танцовщицы – придётся позаниматься, направить на путь истинный вокала для мюзикла. Что-то разбередила она в памяти моей. Пока не пойму. Но я уже тороплюсь в Смольный пешком, здесь недалеко относительно – сегодня директору нашего театра Людмиле Ивановне губернатор награду президента вручает. Надо поздравить. В Смольном всё завершается быстро и хорошо. Теперь к внуку любимому Георгию-Победоносцу в больницу надо заглянуть – пешком, тем более, дождь кончился. Ну, здесь долго не посидишь, друзья к внуку чуть не толпой – привет Верочка с Кирочкой! Слава Богу! – поправляется, ско-

ро на работу да и на учёбу тоже. Иду медленно до метро, чтоб без пересадки – на прямую линию. Задумался. Поднимаю взор свой, вижу знакомую мемориальную доску – вот что мне сегодня Боженька послал, не зря ходил. Стало темнеть, а память светла...

...Александра Дионисьевна Данилова похоронена в Нью-Йорке. Могила её неброско скромна. Знаменитая балерина из России немного не дожила до своего векового юбилея...

...А вот к 100-летию американского балетмейстера Джорджа Баланчина в городе на Неве, где родился, учился и начинал творческую жизнь Георгий Мелитонович Баланчивадзе – так именовался культовый хореограф до 1924 года – открыта мемориальная доска... Вот она и разбудила воспоминания...

...Шурочке Даниловой не удавалось приехать в родной Питер долго – почти 70 лет. Ласковое солнце и прохлада с Невы радовали её нежную творческую душу – хорошо у нас в России, хорошо в этом сказочном городе молодости, который снова стал для неё Петербургом. Жаль, Джордж не дожил до этого дня. Она полюбила Георгия Баланчивадзе сразу, как увидела. Разгадала в нём гений балетмейстера. А он узрел в ней свою богиню, свою Терпсихору. Нет-нет, она не хотела тогда в роковом 1924-ом бежать из балетной столицы России, здесь всё складывалось так удачно, её обожала публика, любили педагоги – Ольга Преображенская предсказывала ей великое будущее. Но увлёк Баланчивадзе. И ещё она очень испугалась, когда погибла, утонула, подружка Лидочка Иванова. Говорят, тут не обошлось без страшного, тогда всемогущего ЧК и самого «железного Феликса» – Дзержинского. Как не хотели их тогда отпускать на гастроли за границу! Лидуня не была ей соперницей на сцене. Шурочка не дурочка и хорошо знала

себе цену. Не зря Мариинский театр держался за неё, не зря новый мессия русского балета Фёдор Лопухов ясно давал понять, что в современных исканиях делает ставку на её талант, не зря так неистовствовала на её спектаклях искушённая в балете питерская публика, чуть ли не обожествлявшая её. И если б не убили Лидочку – ужас какой! – она, может быть, и вернулась. Или нет?.. «А вдруг я следующая?!» - страшилась она. Уже на гастролях в Германии Шурочка многое поняла и поэтому сразу же согласилась на предложение Дягилева, хотя главную хореографическую скрипку сыграл будущий Джордж Баланчин. Супружеская пара прижилась в парижской дягилевской антрепризе «Русский балет»: Данилова стала безоговорочной примой, её гражданский муж Г. Баланчивадзе - ведущим хореографом. До смерти Сергея Дягилева этот альянс был неколебим. Дягилев - это сила!..

«...Вы видели портрет великой балерины Даниловой кисти дочери Евгения Лансере - Зинаиды Серебряковой? Не лишайте себя этого наслаждения – редкая красота, яркая женственность, тонкий ум, безупречный вкус и ещё какая-то неуловимая иронично-весёлая изюминка счастья покорят вас сразу». «Кто же это сказал или написал?» – спросила себя Александра Дионисьевна и вспомнила Париж, потом Рим, Монте-Карло, Нью-Йорк, в который надо будет скоро возвращаться русской дочери Диониса...

...Ей нравилось, когда в прессе её называли «одной из самых знаменитых балерин мира». Наверное, так оно и было. А если бы осталась дома? Вот Лидочка Иванова – не дожила, не стала, не состоялась, погибнув в 20 лет...

...Шурочка объездила весь мир, познала ни с чем не сравнимый вкус успеха и славы, на закате карьеры сама ставила балетные спектакли. Но вчера в своём училище на улице Зодчего Росси – теперь называемом Академией танца – она вдруг поняла, что здесь её дом, ведь даже воздух там не изменился. Её знают и помнят, и фотографии берегут, и репродукцию портрета, что удался Серебряковой. И кажетя, почитают; может, даже любят...

...У неё было три мужа, но она снова на старости лет попыталась вернуться на круги своя – к первому и единственному, к теперь уже великому, признанному всем миром

Джорджу Баланчину – ей захотелось преподавать в его Школе американского балета русскую классику. Шурочка вспомнила, как писала свою книгу, по-русски, как её записки переводились потом на другие языки, вспомнила, кому хотела посвятить эти воспоминания – конечно ему, и почему назвала их кратко и понятно только близким – «Шура». Она обязательно привезёт эту книгу сюда, в Россию, в родной город - она скоро вернётся...

...Когда Шурочка повернула с набережной Невы на Фонтанку, не зная, что неволью повторяет последний путь своего любимого человека по городу, где он родился, пошёл дождь. Раскрывая зонт, она подумала: «Как слезы с неба...».

И вдруг на фоне зелени Летнего сада увидела себя, Лидочку, и Георгия двадцатилетними, как будто бы они никогда и не уезжали отсюда... До последних дней она так и осталась «Шурочкой» - на всю жизнь...

...Вглядываясь в пожелтевшую от времени фотографию в грузинской газете «Заря востока», где было опубликовано моё интервью с Дж. Баланчиным, удивляюсь совпадению дат – именно в этот осенний день почти полвека назад мы познакомились с художественным руководителем «Нью-Йорк сити балета», впервые прилетевшим из США в Тбилиси на землю своих предков. Потом судьба ещё не раз сводила нас – и в Москве, и в Ленинграде.

Признаюсь, что вначале он мне активно не понравился – я был тогда молод, горяч, очень любил свой родной город – впрочем, как и сейчас – и, конечно, когда заокеанский гость позволил себе назвать мой Ленинград Петербургом, сразу встал на дыбы и заявил: «Георгий Мелитонович, когда вы в 1924 году уехали в Париж из города на Неве – город уже не был ни Петербургом, ни Петроградом, а носил имя - Ленинград!». Вопреки ожиданию окружающих, как потом выяснилось, да и меня самого, «заводной мистер Джордж» не возмутился, не взбрыкнул, а наоборот, с интересом взглянул на меня и произнёс:

«Как красиво вы обратились ко мне – Георгий Мелитонович - никогда не слышал к себе такого обращения. Ведь я уехал, когда мне было приблизительно столько лет, сколько, видимо, вам сейчас. А город, где я родился, я всегда почитал, где бы ни жил, - этот великий город любили мой отец и мать, и мой брат».

В те дни мы часто встречались с Мэтром в театре оперы и балета имени Захария Палиашвили на его постановках, на «Играх» хореографа Д. Роббинса, и когда он со своей труппой в свободное от репетиций время смотрел балеты «Отелло» и «Лауренсия» несравненного танцовщика и балетмейстера Вахтанга Чабукиани - тоже, кстати, как и Баланчин, воспитанника питерской хореографической школы. Я видел, как мистер Джордж искренне радовался, но жалел, что не может увидеть национальный балет своего брата «Сердце гор».

Тогда с его братом Андреем Мелитоновичем мы работали над балетом «Мцыри» по М. Ю. Лермонтову – я написал либретто, он закончил музыку, начинались репетиции и, естественно, мне приходилось бывать дома у композитора Баланчивадзе. Как-то вечером шло застолье с присутствием Баланчина и зашёл разговор о музыкальном театре, о портретах А. Даниловой и самого Джорджа, написанных Серебряковой, и снова о Ленинграде, о том, сколько наш город дал этой грузинской семье, о том, что и сам Георгий да и младший Андрей - Мелитоновичи - совсем не ярко выраженные грузины, что неудивительно, а скорее, петербуржцы-ленинградцы. «По крайней мере, по духу и воспитанию», - настаивал «американский грузин питерского разлива» - это я так сказал, и наш гость от души смеялся. Я, разумеется, говорил о войне, о блокаде, что вызвало одобрение и хозяина дома, и его нью-йоркского брата да и, как мне показалось, всех присутствующих – многих из них давно уже нет с нами. Всё это легло на страницы моего дневника и ожило сегодня в памяти. Цитирую Баланчина: «Очень хочу вернуться (хитрый взгляд в мою сторону)... в Ленинград, побывать в Мариинке, в Михайловском театре, а ещё лучше поставить балет, совсем новый, неожиданный, русский и прийти ночевать к себе домой на Рождественскую улицу, где жил когда-то...»

Вот и сбылась мечта всемирно признанного американского балетмейстера, родившегося на берегах Невы, ведь он непросто на гастролях побывал на Родине, в городе над вольной Невой, но в год своего столетия поселился в Петербурге постоянно – пусть и мемориальной доской. Мне, выпускнику Ленинградской и Тбилисской Консерваторий,

хочется спросить: только ли американского?.. Ведь балеты его теперь прочно прописались на нашей сцене...

Да, Баланчин оказался неожиданно для меня прав, назвав мой город Петербургом. Сегодня так и есть. Но всё-таки он был ещё в Ленинграде, а мой Ленинград, северная столица России, всегда душевно прощал своих блудных детей. А как хотел здесь поставить балет Сергея Прокофьева «Блудный сын» Георгий Мелитонович Баланчивадзе! Об этом Мастер поведал мне во время последней нашей встречи в Москве. Он искренне радовался, что я – русский человек – говорю и даже пишу на языке его предков. Я ждал встречи с ним в Нью-Йорке, но, когда смог приехать, Баланчина уже не было на земле и американский балетный бал правил другой мой знакомец, тоже воспитанник ленинградской школы – Михаил Барышников. Теперь и это кануло в Лету...

...С Александрой Дионисьевной Даниловой меня случайно познакомили лет 10 назад в Петербурге у Александринки – я пригласил и она посетила выступление театра «Родом из блокады» в Доме Актёра имени К. С. Станиславского. До этого я знал её по восхитительному парижскому портрету Серебряковой и по литературе о балете – у меня жена была балерина, танцевала в Кировском театре – я должен был соответствовать. По приезде в Нью-Йорк, мне удалось прочесть книгу Даниловой «Шура» и я был горько опечален, что она умерла, посетил её тихую скромную могилу. Мне не случилось увидеть её на сцене, не пришлось побывать на её балетных постановках, но я был поражён её ясным умом и неземной красотой...

...Вы спросите, для чего всё это написано, для чего и почему заговорила светлая память? Но какие можно привести веские аргументы против неумолимых фактов, что творческая жизнь балетмейстера с мировой известностью Джорджа Баланчина всё-таки обозначена в городе, где он появился на свет, а о знаменитой звезде, русской балерине Александре Дионисьевне Даниловой, прославившей национальную школу классического танца на всю планету – сколько поклонников было у её ног – и в прямом и в переносном смысле?! – напрочь забыли, хотя память, пронзившая ушедший XX век, ещё не должна была бы остыть в наших душах!

ЛЮДМИЛА ИЛЬИНА

Ключи от счастья

Сумерки незаметно сгущались, когда мы с мужем на своих новеньких жигулях первой модели возвращались с дачи. Дорога была долгой. Тридцать пять километров от дома. Я расположилась полулёжа на переднем сиденье, вытянув ноги, насколько это было возможно, и любовалась огромной звездой на уже потемневшем небе. Видимо, моя близорукость увеличивала её размеры в несколько раз, но меня это не смущало.

Мои познания в астрономии были нулевыми, и мне было без разницы, как она называется, Венера или Марс.

Главное, что она была завораживающе красива - просто не отвести глаз!

Я не хотела думать том, что нам ещё тащиться с дачной поклажей около трёх километров пешком от гаража к дому, расположенному в центре города.

Мы были настолько уставшими, что казалось, подъедем к гаражу, брякнемся на месте и никуда не сможем двинуться.

Муж спокойно вёл машину, и я была уверена, что свою драгоценность в моём лице он довезёт без проблем.

Чтобы не уснуть за рулём, он потихоньку ворчал на наше мудрое руководство, так заботящееся о наших людях, давая квартиры, гаражи, дачи на значительном удалении друг от друга. И мы носились, высунув языки между значимыми объектами нашей жизни. Даже нам, в то время молодым, порой было не под силу это занятие. И эти вожделенные дачи добивали нас в поливные и выходные дни, опустошая наши и без того скудные карманы.

- А чтобы, - ворчал мой муж, - дать эти участки не по четыре сотки, а чуть больше, подвести воду, газ, свет, дороги, за наш естественно счёт, и разрешить людям строить жилые дома.

- Вот тебе и решение жилищного вопроса, и люди не так бы мучились, разрываясь на части между работой, домом, гаражом и дачей.

У меня хватало сил только на молчаливый кивок головой в знак согласия, да любования удивительно красивой звездой, сопровождавшей нас на всём пути следования.

Наконец мы подъехали к гаражу. Нам оставалось только вынуть из машины дачную поклажу, загнать машину в гараж и совершить последний марш-бросок к дому. Уставшая, полусонная, я уже представляла себе, как брякнусь в свою любимую постель и отрублюсь до утра.

Но, увы, этому случиться было не суждено.

Загнав машину в гараж и закрыв его, муж обнаружил отсутствие связки ключей от квартиры. От отчаянья я готова была разрыдаться.

Ничего не оставалось делать, как, проверив все карманы и вещи и обшарив с фонариком каждый сантиметр внутри и снаружи гаража, вернуться снова на дачу. На блаженный сон в своей постели расцитывать не приходилось. Мы ехали молча.

Дача, расположенная у кромки леса, заросшего вековыми осинами и кустарниковыми деревьями, встретила нас кромешной темнотой.

Подъехать к ней мы смогли только с тылу, так как прошедший накануне ливневый дождь оставил после себя огромную лужу, в которой можно было застрять и днём.

Участком, который находился на задворках нашей дачи, никто не пользовался, и он зарос травой так, что когда муж вышел из машины, то провалился в густую траву по пояс. Не успел он сделать

и двух шагов от машины, как совершенно исчез из виду, как будто его поглотил этот жуткий мрак ночи, или он попал в другое измерение.

Я осталась в машине. Шум вековых осин и кромешная тьма сделали своё дело. На меня постепенно стал накатывать страх. Мне стало казаться, что муж отсутствовал целую вечность и уже не вернётся никогда.

И в тот момент, когда я потихоньку стала поскуливать от страха, появился тёмный силуэт моего мужа. Он открыл дверцу машины со своей стороны и обречённо развёл руками.

- Слушай, - неожиданно проговорила я, - а посмотри возле машины в траве с моей стороны.

Я до сих пор не могу объяснить и понять, почему я так сказала, но произошло невероятное...

Пробравшись в кромешной темноте к моей дверце машины и опустив руку в за-

росшую по пояс траву, он достал маленькую связку потерянных ключей.

Что это было?!?! – Чудо?!?!

Всю обратную дорогу со мной происходило неведь что: я пела, смеялась, плакала, благодарила Бога, всех Святых и Ангелов-хранителей.

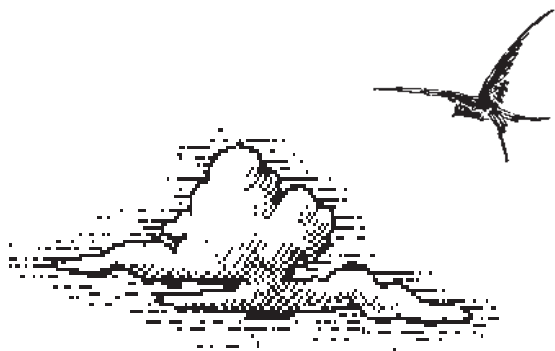
- Господи! - как заведённая, повторяла я. - Там даже днём в этой заросшей по пояс траве найти маленькую связку из двух ключей от английского замка было бы невозможным событием.

- Да мы просто могли на них наехать...

- Слава Тебе, Господи! - без конца повторяла я. - Во веки веков слава во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Встречные машины слепили нас своими фарами, но мы уже не ворчали на них.

Мы были счастливы, как никогда и перспектива выспаться в своей постели была уже реальна!



ГЕННАДИЙ СЕРОВ

Командировка на север

За свою рабочую морскую деятельность я побывал на всех океанах, за исключением Северного ледовитого. За двадцать три года, не считая учебы в «Макаровке» (ЛВИМУ им С.О. Макарова), поработав в трёх парокходствах, посетил много стран, имеется ввиду конечно морских. Начинались наши морские походы, как и у всех курсантов с морской практики, на учебных производственных судах – наша рота попала на УПС (учебно-производственное судно) «Зенит». Чтобы получить рабочий диплом, мы должны были набрать плавательский ценз - шесть месяцев, вот на «Зените» и отходили эти шесть месяцев. На учебно-производственных судах имеются аудитории, в которых занимаются курсанты, учебная штурманская рубка для штурманов, учебная радиорубка, в которой неслась вахта слушателями радиотехнического факультета. После окончания училища, я попал в Черноморское морское парокходство, в котором сделал свой первый и последний рейс, а длился он девятнадцать месяцев. Ушёл в рейс в 1975 году, вернулся в 1977. Линия называлась “Odessa ocean line” и проходила она от берегов Швеции до стран Юго-восточной Азии. В это время родители начали болеть и чтобы перебраться поближе к Питеру, я перевёлся в Латвийское морское парокходство, в котором проработал с 1977 года по 1998 год. Хотя я родом из Питера, в «Балтийское Морское парокходство» было не прорваться. А когда «закончились парокходства» и начались компании, то поработал и в компании «Совкомфлот», латвийского отделения, управление находилось в Лимасоле, на Кипре.

Не был я только на севере. Последнее место моей работы – это гидрографическое предприятие, но занимаюсь я практически тем же, чем и занимался на судах, а именно радиоделом. Сейчас пытаемся реанимировать северный морской путь: планируется вдоль всей трассы поставить станции «Навтекс» – нави-

гационный телекс (Navtex), которые будут передавать навигационную и метеоинформацию - это одна из систем GMDSS (global maritime distress and safety systems). Первая такая станция строится в порту Тикси, потому что район моря Лаптевых оказался между зонами охвата спутников системы Инмарсат. Инмарсат также передаёт навигационные и метеосообщения по каналу расширенного группового вызова - EGC.

С 1 февраля 1999 года, радистов на флоте заменили специальными стойками GMDSS. Морзянка умерла, теперь связь работает только в телефонном и телексном режимах. Но осталась морзянка пока ещё у военных и рыбаков, последние – настоящие асы в этом деле. Весь мировой океан разбит на 16 районов. В каждом районе есть координатор, который отвечает за «снабжение», если так можно выразиться, отведённого ему района информацией по безопасности и метеорологической информацией MSI (maritime safety information). России отведён 13-ый район, который простирается от Берингова пролива до Японии и возложена эта ответственность на радиостанции дальневосточного региона. Координатор, как сказано в справочниках, находится в Ленинграде, теперь уже в Петербурге. Сейчас прорабатывается вопрос, о создании нового, семнадцатого района, который будет простираться по всему северному морскому пути от Баренцева моря до Берингова пролива.

И вот теперь я еду в командировку на Север, на станцию в Тикси. Координаторы в Петербурге будут передавать нам через систему Inmarsat и по телефонным линиям (через удалённый доступ сети) на компьютер информацию MSI (maritime safety information), а мы далее через компьютерные терминалы и передатчики, которые работают на международной частоте 518 кГц будем проталкивать эту информацию далее в эфир в другом формате, в телексном режиме работы. На судах с

1993 года должны быть установлены автоматические приёмники Navtex, согласно SOLAS 74/88.

Наша экспедиция состоит из семи человек. Правда, в Тикси следуют только двое, остальных должны доставить на другие полярные станции.

Каждый получил предписание, в котором сказано за что он отвечает, где ему необходимо высадиться и что, соответственно, необходимо делать. До Архангельска доберёмся на поезде, а далее на нашем гидрографическом судне «Иван Киреев» пойдём по Северному морскому пути до моря Лаптевых, где в устье реки Лены расположен порт Тикси.

28 июля 2004 года, среда – начало нашего путешествия.

За час до отъезда собрались на Ладожском вокзале Санкт-Петербурга. Было много провожающих, чувствовалось, что ребята соскучились по дальним поездкам, тем более по хорошим заработкам. Кто сел сам, а кому помогали попасть в вагон. Вот тут-то и вспомнились мне слова Михаила Александровича, нашего начальника, когда давал наставления перед отправлением.

«Задание - это не трудность, трудности начнутся в дороге, в начале путешествия», – так он говорил, вручая мне предписание. Эта фраза меня как-то насторожила, что-то, я думаю, здесь не так, но поживём - увидим. Всё разъяснилось, как только поезд отошёл от вокзала.

Разместились мы в плацкартном вагоне, у каждого было место указано в билете. Напротив, меня на верхней полке оказался Сан Саныч, глаз у него косил от природы, но теперь он был преднамеренно нацелен только на меня. Нет, вначале было всё нормально, но потом ему втемяшило в голову, что меня представили за ним следить. Он так подумал потому, что я практически не выпускал сумку из рук. В сумке были все документы, а меня назначили старшим этой группы путешественников. Саныч всё куда-то бегал и каждый раз, когда возвращался, раз от раза становился всё серьёзнее и агрессивнее. В конце концов, его терпение не выдержало, и он наговорил мне

всяких пошлостей, причём громко, чтобы слышали окружающие, что он не потерпит надсмотрщиков.

Здесь я призадумался, но возражать бесполезно, просто подумал, что у него только одна извилина, а после протирки её спиртом она выпрямляется, выходит наружу и старается уколоть всех, на кого он «положил» свой глаз, а глаз у него, ох, тяжелый.

Я тихо прилёг, сумку положил под подушку и теперь уже сам косил на Сан Саныча своим глазом, чтобы он, конечно, не заметил. Он не унимался, прыгал на верхнюю полку, как шарик настольного тенниса, бегал курить, все уже спали, в соседних отсеках были дети. Я дремал, когда меня разбудил голос проводницы, которая прибежала за Санычем, требуя от него заплатить штраф. Оказывается, он в последний раз курил в рабочем тамбуре, иначе она собиралась позвать милицию. Кажется, последние её слова произвели впечатление, и Саныч достал бумажку из кармана, проводница тут же побежала за сдачей. Штраф, как выяснилось позже, «весил» целых 200 рублей. С малыми и большими приключениями мы добрались до Архангельска. Поезд подошёл вечером.

Поймали старую «Латвию» и двинули на Саломболу, где стояло наше гидрографическое судно «Иван Киреев». Старпом встретил радушно, разместил всех по каютам. С нами следовали два курсанта и я их хотел разместить на верхней палубе, в хорошей каюте, как никак они были уже на пятом курсе, почти готовые инженеры, но старший помощник капитана затолкал их вниз, как молодых, зарабатывать право жизни на верхней палубе. Напротив меня разместился Петрович с Колей Количем. Оказывается, Петрович был знаком с чифом (старпомом) и последний по старой дружбе, устроил ему хорошую каюту. Внизу в одной каюте разместились курсанты, а в другой, через переборку, двое неподдающиеся: Сан Саныч и Владимир Борисович, у которого только два состояния: вертикально-качающееся и горизонтальное.

На следующий день, после осмотра достопримечательностей Саломболы и посещения Гидробазы, как только я вернулся на судно,

сразу меня вызвали к капитану, который заявил, что наши медсправки не годятся и нам необходимо всем пройти медосмотр. Иначе, если не будет медсправок, вечерним поездом можем отправляться назад домой.

Началось самое интересное, а именно: домой отправляться не на что, так как денег уже тю-тю (кое-что закупили, надеясь, что завтра отойдём в рейс). Медсправки в конторе нам выдали старые, а главное не оригиналы, а копии. Узнал, где находится поликлиника, к какому врачу необходимо подойти, осталось только собраться и отправиться в дорогу. Стал собирать народ. Отсутствовал Петрович, он пошёл звонить на почту. Решили двинуться в сторону поликлиники мимо почты цепью по разным путям, чтобы перехватить Петровича. Петрович попался мне на пути, и с ним мы подошли к назначенному месту сбора, но теперь потеряли Владимира Борисовича, он куда-то зашатался. Поискали, но не нашли. Когда все собрались, то я понял, что с такой командой в поликлинику идти нельзя, «если все прислонятся к стенке поликлиники, то она рухнет», потому что на земле многие стояли, как на палубе во время шторма. И поехал я биться за здоровье товарищей один.

Нашёл здание довольно быстро, дольше искал необходимого врача, так как ждал не у той двери, на которую мне указали. Елена Викторовна оказалась нормальным человеком, поняла наши беды, посмотрела наши медсправки и удивилась. Потому что в справке у Саныча говорилось, что он должен находиться там, где есть поблизости врач, какой, правда, не написано, но это очень заинтересовало доктора. Здесь я начал заход с другой стороны, а именно: почитал стихи про женщин, подарил свою книжку, и дорогой доктор выписала нам общую справку как пассажирам, следующим до пункта назначения. Радостный, прилетел к капитану, но радость оказалась не долгой, так как справка выписана нам как пассажирам, а мы являемся экспедицией и на нас сделана отдельная судовая роль. Полученная справка оказалась не действительной. Время поджимает, пятница тридцатое число – короткий день. Беру такси и лечу снова в знакомый кабинет. Но успел до конца рабочего дня, про-

должив чтение стихов уже о море, наконец-то получил долгожданную справку.

Теперь, с необходимым документом я не спешил, а мерно топал к судну по набережной, набирая запазуху последние куски лета, так как впереди нас ждал север. На следующее утро вызвали к капитану и сказали, что задерживаемся из-за коммерческого груза, который московский комиссар Афанасьевич должен переправить в Тикси.

Нас попросили за определённую плату поработать грузчиками. С удовольствием согласился и пошёл собирать народ. Собрал только пятерых, неподдающиеся сразу наотрез отказались. Подошли две фуры, одна была с прицепом. Мы с машины выгружали груз в сетку на причал. Борода, по имени Сергей с команды стропил, боцман на судовом кране, сетку подавал в трюм, а там судовая команда разносила груз по углам трюма и твиндека. Борода или просто Сергей Владимирович, электрик, носит бороду, но не простую бороду, а бороду до пупа. На всём севере его так и зовут – борода. Он говорит, что «убьёт» любого, кто поднимет руку на его достояние, имеется в виду бороду.

Погода стояла солнечная, и мы уже через час были все в мыле. После разгрузки первой машины сделали перерыв, побежали купаться в Северную Двину. Лето в этом году стояло жаркое, и вода была тёплая не как молоко, а как тёплый квас, именно такого цвета здесь была вода. Закончили работу в 19-00, получили заработанное и направились пить пиво, благо павильон «Балтика» был на набережной метров в ста от судна. Отход отложили на следующий день.

Утром в субботу объявили, что отход назначен на 12-00, увольнение до десяти. Мы с Афанасьевичем погребли в город до магазина, прикупить кое-что в дорогу. На обратном пути, прихватив пиво, зашли в павильон под тентом «Балтика», он был закрыт, но нас пустили за столики, всё равно они были пусты, на улице не было ни души. Болтая за столом, заметили, что сторожиха начала что-то бегать с тазиком к колонке, в которой вода лилась еле-еле и, возвращаясь из-за павильона, снова спешила к колонке. Афанасьевич пошёл по-

смотреть и воскликнул: «Пожар!»

Полыхал забор, кто-то поджёг его с внешней стороны. В павильоне естественно телефона не оказалось, было рано, по близости тоже не было телефона.

Начали звонить по мобильнику 01, при этом, напоминая, что мы в Архангельске, а не в Москве. Афанасьевич, бывший военный лётчик приехал с мобильником из Москвы, пожар в баре на набережной, на какой, правда, мы не знаем.

Как ни странно через пару минут, прилетела пожарная машина. В старых районах Архангельска строения в основном деревянные, поэтому реакция в жаркую погоду была однозначна: пожарные прилетели буквально через несколько минут.

К приезду пожарных я пытался повалить забор, тент палатки уже нагрелся, забор был в метре от тента. Но до конца завалить забор мне не удалось, он был высотой более двух метров, а сзади его подпирало дерево. Афанасьевич душил огнетушитель, который плюнул маленькую струйку, и немного пошипев, умер. Пожарные раскатали шланг и за считанные минуты успешно справились с очагом возгорания.

Придя на пароход, и чувствуя, что сделали какое-то благородное действие, доложили старпому, что мы уже поучаствовали в тренировке по тушению пожара, и он может сделать у себя отметку о нашем пройденном инструктаже. Появилось чувство, что нам будет сопутствовать удача.

В 12-00 наш теплоход вышел в рейс.

После того как сдали, лоцмана в 18-30 объявили шлюпочную тревогу.

В каждой каюте, над койкой висит расписание по тревогам, где расписано, что при какой тревоге конкретно делать обитателю данного места. Мы должны были собраться у шлюпки №2, но вышли только Петрович, Коля Колич и я. Так как я был старшим, то и получил за всех от капитана. Пошел искать свою команду. Двое неподдающихся, были ещё и неподъёмными, а Саныч заявил, что он является пассажиром и его необходимо выносить в случае аварии как хрустальную вазу, какую аварию он имел ввиду, я так и не понял,

но трогать их не стал. Курсанты всё это видят в первый раз и поэтому не вышли на сбор по незнанию, хотя нас инструктировал старший помощник капитана. Настроение было испорчено, но, тем не менее, судно держало курс на север.

Отошли от причала 1 августа. Сегодня уже второе, прошли сорок пятый градус восточной долготы, дали РДО в кантору, с этого момента должна идти надбавка северных к зарплате.

Выяснилось, что в начале идём на Медвежку, высаживаем людей. Затем направляемся на остров Олений, сдаём топливо, а после возвращаемся на Медвежий и также сдаём топливо. Как говорить хорошо планировать, а всем командует волна и ветер.

Два дня кручусь около начальника радиостанции. Олимпийские игры на носу, интересно бы посмотреть, а для этого нужна соответствующая ТВ антенна. Такая на судне имеется и называется “Экран”, для приёма программ системы Орбита. Антенна состоит из множества маленьких антенных приёмников, с которых сигнал поступает в сумматоры.

С сумматоров через антенный усилитель, общий усиленный сигнал подаётся на судовые телевизионные приёмники. Все сумматоры соединены между собой коаксиальными кабелями, но от времени, а судну почти тридцать лет, соединения стали не герметичными, соответственно упала изоляция, и пропал сигнал. Начальник с электромехаником сняли антенну, на просушку, а она значительных размеров квадрат 1,5 x 1,5 метра.

Четвёртого августа вечером поднялся ветер и постепенно шторм начал набирать обороты. Волна была слева в борт и к ночи совсем ошалела. Брызги долетали до иллюминаторов ходового мостика. В каюте всё летает, но к этому надо относиться философски: главное ничего не трогать, каждая вещь найдёт своё место и расклинится, успокоится сама. Койка в каюте расположена поперёк судна и поэтому, то становишься на ноги, то головой чешешь переборку, сон получается не сладкий. Утром, по собственной инициативе, пошёл на камбуз помогать коку чистить картошку, овощи. Кастрюли и вёдра ползают по палубе, как тара-

каны. Приходится, и держать их, и чистить, и балансировать.

С кастрюлей из-под первого блюда подорвал спину, хорошо прихватил с собой аппликатор Кузнецова.

Во время постановки кастрюли с водой на плиту, судно сильно качнуло, и я поехал с ней на переборку, теперь буду лечиться.

6 августа. Лежу на иголках. Шторм окончательно вывел ТВ антенну из строя. Кроме того, он разбил ветровое стекло вездеходу, закреплённому на верхней палубе.

Капитан решил спрятаться за остров Диксон и на якоре переждать шторм. Затем подойти к острову Медвежий высадить народ и сдать топливо.

Получено новое распоряжение: идти в район Тикси снимать РИТЭГи (это радиоизотопные тепловые электрогенераторы, которые работают за счёт распада стронция 90, как батареи, для подачи питания на навигационные знаки и маяки). На эту операцию американцы уже выделили деньги. Снятые РИТЭГи, будут сданы в Мурманск на утилизацию. Но так как наши трюма забиты товаром, то нам вначале необходимо разгрузиться в Тикси.

Утром пришёл chief (старший помощник капитана) с жалобой на Владимира Борисовича, ночью он ходил по коридору в трусах и искал какой-то пистолет, пугал курсантов. Он еще с отхода не застелил койку, и не раздевался, и это очевидно было его первое раздевание, хотя мы уже неделю живём на судне. Со старшим помощником пошли проверить каюту неподдающихся. Запах стоит ужасный, зато натюрморт превосходный: палуба заставлена литровыми бутылками водки - это запас на зимовку. Нет слов, придётся лечить Борисовича. Доктор вколол ему дозу, такую, какую получил Бывалый в комедии Самогонщики, чего вкололи - не знаю, но он уснул в каюте напротив меня, на диванчике под присмотром Петровича.

Ветер не утихает, спрятались за остров, встали на якорь, будем ждать погоды. Диксон весь в сопках, с северной стороны сопки лежит снег. Ждём погоды, чтобы подойти к острову Медвежий.

С утра работал на камбузе, скорешился с

коком Андреем и доктором, который живёт также недалеко от камбуза, где и находится его лазарет. Захаживаю в радиорубку к Васильевичу, он работает в таком режиме, как я работал в году примерно 1985. Ночью приснился сон.

У моей жены 6 августа день рождения.

*Когда скрипят все переборки,
В иллюминатор бьёт волна,
Не спится вовсе, мысль на полке,
Перед глазами ты одна.*

*И представляю вновь я встречу,
Как раньше, в дом ввалюсь хмельной...
И даже тёщу не замечу,
Ну, вот и я, теперь я твой.*

*Ты будешь долго суетиться,
Достанешь свой деликатес.
Друг-другу будем, мы дивиться,
И улетим аж до небес.*

*А время, обхватив нас крепко,
Сожмёт в объятьях, боже мой!..
Жизнь вновь за нас схватилась цепко
И мы летим, летим с тобой.*

Восьмого числа погода немного улучшилась. Рано утром снялись с якоря, и подошли к острову Медвежий. В восемь часов я вместе с Колей Количем и курсантами отправился на судовой рабочей барже к острову, на полярную станцию. Курсанты должны остаться здесь, на практику. На берегу нас встретил Слава - начальник острова и всех кто там живёт.

Баржа начала таскать бочки с дизельным топливом от судна к берегу, необходимо перекачать десять тонн дизельного топлива. На берегу бочки принимали и выкатывали Славны работяги, вместе с курсантами, которых он уже успел переодеть. Далее насосом топливо из бочек будет перекачено в общую ёмкость, а от туда оно будет подаваться к дизелям.

Во время перерыва в работе, бочки на борту судна заполняли довольно медленно, поэтому у нас тоже было время посидеть в кают-компании, в которой имелась станция УКВ, дежурившая на 16-ом канале, а это пря-

мая связь с судном. За столом немножко расслабились. Было всё: куча стихов, куча знакомств, обход острова, фотографии на память. После сдачи топлива снялись с якоря и пошли к острову Олений, чтобы сдать с концами наших неподдающихся. Погода начала быстро портиться, и капитан решил спрятаться за остров Сибиряков, тем более нам необходимо встретиться с г/с “Николай Евгенов”, которому мы обещали слить немного топлива и передать продукты.

Складывается общее впечатление о севере.

Север

*Лепёшки островов повсюду,
До облаков рукой подать.
Быть, может, здесь ещё я буду,
Сейчас же остров не достать.*

*Три дня мы в Карском штормовали,
Норд – ост гнал волны, как холмы.
Спешили, если б только знали,
Что здесь остудятся умы.*

*Стоим и ждём погоду, чтобы
Десант на остров отпустить.
Замеры ветра – это пробы,
Кричат: “Стоять и всем курить!”.*

*Окно в погоду даёт повод:
Попытку сделать – абордаж.
Какой еще вам нужен довод?
Медвежий, штурман не промажь.*

*Ночь пролетела, и Всевышний,
Погоду как-то усмирил.
Ни день, ни час у нас не лишний.
В машине, сколько у нас сил?*

*Нажми-ка “Дед” на старт и полный,
Как только якорь подорвём...
Концерт даём сегодня сольный, -
Назад уже не повернём.*

9 августа подошел г/с “Н.Евгенов”, ошвартовался лагом с левого борта, у экипажа много друзей на нем, как никак судно с нашей

конторы, кое кто пошёл в гости.

Погода благоприятствовала, как будто ждала, когда закончится наша операция. Вечером, в самом деле, разошлись как в море корабли.

Вновь задул ветер, время уже поджимает. Получили “ЦУ” – не заходить на Олений, а сдать пассажиров на Медвежий. Подошли к Медвежьему и стали дожидаться момента высадки.

Десятого августа в девять часов утра такой момент настал. Высадили Борисовича и выгрузили Саныча, притом еле-еле, его почему-то очень трясло и никак его было не оторвать от лееров. Не завидую начальнику Славе на Медвежьем, как они там разместятся, и что будут кушать? Хотя они и ловят рыбу, но всегда ли она будет ловиться.

10 августа в 11-00 подошли к причалу порта Диксон. Выяснилось, что сгорел один мотор брашпиля (брашпиль поднимает якорь-цепь с якорем с грунта), вопрос с отходом будет решаться в базе на совещании с управлением предприятия. В Диксоне такого мотора не оказалось. Как бы там не было, о “Медвежке” сложилось следующее впечатление.

Большой Медвежий

*“Медвежий” встретил нас как глыба:
Из камня, брёвен и мостков.
Маяк здесь поднятый “на дыбу”,
На всех картинах он таков.
Причал завален бочек строем,
Два рыжих пса меж них снуют...
Сюда дорога только морем,
Мало осталось здесь кают.
Пожар унёс большое здание,
Стоит фундамента скелет.
Напоминает в назидание:
“Курить, иль не курить? Привет!”.
Несутся вахты здесь исправно,
Аппаратура вся на “товсь”.
Но вот, пожалуй, так и славно,
К зиме ты в августе готовься.
Начальник Слава – вдохновитель
Всего, что остров мог вместить.
Он и снабженец, и спаситель,*

*Подскажет вам, как дальше жить.
Гардемарины и не знают
Пока, что здесь, как и к чему?
Они, пока, только икают,
Да так, в помощниках снуют.
Всё в корне нынче изменилось -
Наш рейс пошёл не в те края.
Там, на Оленьем, долго снилось, -
Придёт корабль. И не зря...
Он привезёт к ним на зимовку
Братву и груз, что на борту.
Как ни ломали мы головку -
Гребём всё ж в сторону не ту.
“Там знают” – нам сказали, точно,-
Что делать и чего везти,
“Сидеть на месте очень прочно!”.
Подскажет Питер, где идти.
Вот и сидим – везут нас грузом,
Хотя у каждого свой путь.
Здесь кормят, правда, всех “от пуза”.
В чём-то должна быть всё же суть.*

Вопрос стоит ребром: или возвращаться в Архангельск, или ждать, когда попутное судно доставит такой мотор. С гидробазы Архангельска сообщили, что выходит г/с “Яков Смирницкий”, который доставит нам мотор брашпиля, так что будем стоять, и ждать его в Диксоне.

Большой Медвежий от Диксона находится не далеко, с ним даже осуществляется связь на УКВ диапазоне, а это связь прямой видимости, если выразаться радиотерминами.

Дни потянулись монотонно: утром завтрак, затем иду на камбуз к Андрею. Мне эта работа по душе, особенно, когда под рукой любой необходимый инструмент.

Записываю рецепты с замечаниями повара профессионала, дома серьёзно займусь кулинарией, не так это и сложно, если подойти к вопросу серьёзно. Старший помощник напомнил мне, что на судне воздух стал чище, и головной боли стало меньше, после высадки “десанта”.

*Шпигаты, шпинаты, паштеты, котлеты,
Картошка, морковь и лук, но и где ты?
На камбузе, наш где Андрей поварила.
Судьба нам здесь кашу такую сварила:
Болтаемся в Карском ни взад, ни впрёд...
На острове ждёт нас команда, народ.
“Медведь” разгулялся, он летом не спит:*

*С погодой играет, на нас всё шипит.
Да ладно “Медведь”,
спать ложись-ка скорей,
На остров доставить нам нужно людей.
Горючку им слить и
чуть-чуть подбодрить,
Но главное в море наверно не пить!
А то, как у нашего здесь “господина”,
Не face будет – просто кислая мина.
Вот Chief и сказал:
“Кого Бог нам послал?”.
Честно скажу - я и сам-то не знал.
Взрослые люди, но “крышу” сдувает.
Кто скажет, нет? А так всё ж бывает.*

Диксон истоптал вдоль и поперёк, познакомился с персоналом Гидробазы, все наши ребята, кое-кого уже встречал в конторе, в Питере. Дни потекли монотонно: утром камбуз, затем иду в город кормить псов. Псы какие-то здесь своеобразные, образованные. Вожак – большой кавказец преграждает путь в порт любой собаке, они могут пройти только с его разрешения.

Познакомился с “Нельсоном”, “Тимоном”, “Джексоном” и конечно с “Цезарем”. Тимон – это серый пёс прошёл за мной, с разрешения вожака, на причал к судну. Второй раз, когда он пошёл за мной на судно, за ним привязались Джексоном с Нельсоном, одним словом – молодёжь. На них даже не обращает внимание вожак, они пока только играют. Тимон уже застолбил место у трапа и по этому, когда я начал всех кормить, по очереди, то Тимон немножко покусал двух прилипал и отогнал их подальше от трапа. Пришлось сделать ему внушение.

Продолжаем отстой у причала. Надежда в том, что нам привезут мотор брашпиля, постепенно тает. Вышел т/х “Академик Федоров” его поведёт атомный ледокол “Арктика”, будут искать подходящую льдину для высадки зимовщиков СП-33. Также вышел в рейс и т/х “Сомов”, который будет вновь открывать позаброшенные метеостанции, вначале пойдёт на ЗФИ (земля Франца Иосифа).

Ребята на Медвежем затосковали, продукты заканчиваются - их там вместо четырёх целых девять человек. Крупа и мука пока ещё присутствуют, плюс в бочках засоленная рыба, так что протянут. Славе 24 августа будет 50 лет, пред-

ложил с судна передать по акту продуктов, но зам. нашего начальника в Питере, прислал факс с предложением, чтобы они больше ловили рыбы, его бы на их место.

Гидробаза нашла работу нашей судовой команде. Они пойдут проверять навигационные знаки и делать промеры на рабочей барже, в акватории Диксона, заодно поставят сетку для рыбы.

21 числа исполнится 50 лет бороде Сергею, рыба будет как раз кстати. Сам Сергей уже ставил сетку вдоль борта, но ничего не поймал. С причала ловят на удочку. Я тоже бросал свою австралийскую блесну, но безрезультатно, нет здесь нормальных хищников, в основном все ловят сетями Омуля.

Продолжаем стоять в ожидании распоряжений. Но, кажется, намечается отход на 23 число, пойдём без электромотора, его доставят в Тикси. Нас берёт под проводку атомный ледокол “Вайгач”.

На острове Оленьем работает контрольно корректирующая навигационная станция системы ГЛОНАСС (глобальная навигационная спутниковая система). Мы стоим в порту Диксон, но совсем не далеко расположен остров Диксон, на котором находится аэропорт и посёлок. Сколько не смотрю везде, пейзажи на севере почти одинаковы.

21 августа – это суббота, банный день у команды, а борода у Сергея до пупа, как я уже говорил, долго ему её всё же драить. Банный день экспедиции по воскресеньям, то есть завтра.

Вспомнил, что тридцать шесть лет назад, когда служил в армии, мы 21 августа перешли границу Чехословакии. Там баню нам делали раз в месяц в общей палатке, но об этом в другой раз.

Диксон облазил весь, сфотографировал памятники погибшим воинам в 1942 году.

Береговая батарея 152 мм гаубиц героически защищала Диксон в бою с фашистским линкором “Адмирал Шеер”. В 1986 году по завещанию на вершине холма был захоронен командир батареи Корняков Николай Михайлович, где ему поставили памятник в виде двухметрового снаряда.

Сам посёлок Диксон производит удру-

чающее впечатление: кругом позаброшенные с заколоченными окнами двухэтажные покосившиеся дома. Раньше когда-то мечтали попасть в них пожить. По сравнению с палатками и бараками они, конечно, были современными строениями, но сейчас они никому не нужны. Большие каменные трёх и четырёхэтажные дома стоят на сваях, но и они постепенно пустеют. Диксон процветал, когда суда использовали в виде топлива уголь. Он был бункеровочной базой, метеостанцией, узлом связи. Был центром “Северно-морского” пути, сейчас же оказался никому не нужным. Позаброшены и развалены детские площадки, работают, правда, школы. В одной школе ученики оформили краеведческий музей. Нельзя сказать, чтобы город совсем умер, хотя бы потому, что у памятника полярникам, погибшим в Великую Отечественную войну, всегда лежат цветы. Играют свадьбы, молодожены фотографируются у памятников. В пятницу и субботу работает всю ночь дискотека. Общение с внешним миром осуществляется через Интернет, единственное развлечение. На почте связь дорогая, а именно три минуты разговора с Питером стоит 54 рубля. А к примеру, бутылка водки в магазине тянет целый 160 рублей. Самый дефицит здесь – это овощи, особенно помидоры.

Друзья ходят друг к другу в гости. Мужики на причале судачат о рыбалке, о Буранах (снегоходах), которые необходимо уже готовить к зиме. В основном все, как и у нас, но здесь присутствует какое-то спокойствие, нет суеты, нет воровства, нет бомжей. На улице все здороваются, даже не зная друг друга. Сходили с поваром на дискотеку.

Нас было пять человек с команды, наплясались до одури. Познакомились с местными парнями, после дискотеки пригласили нас в гости, пока читали стихи, на судно прибыли в шесть утра.

Несколько последующих дней, с непривычки или с отвычки, болели ноги.

Диксон

*Диксон – это уголь, краны,
Остров между островов.
Камень и дорог изъяны,
Вьются сверху меж холмов.*

*Состоит из двухэтажек,
Позаброшенных совсем,
И похожих на букашек,
Между каменных богем.*

*Окна, как слепые очи,
Грустно смотрят с высоты.
Светлые сейчас здесь ночи,
В чём-то, виноват и ты.*

*Диксон жив, он существует,
Пока ходят корабли.
Ветер только вот балует.
Ждёт привет с большой земли.*

*Радуга с дождём играет,
Морось капает и льёт.
Лето зиму вспоминает,
Север душу с вас сосёт.*

*Здесь “больные” только люди:
Севером больны на век.
Острова, как девки груди,
Камень – label вам и чек.*

*Жаль, короткое здесь лето:
Снегу таять в лом и лень.
Ночью много зато света,
Вот такой полярный день.*

*Все живут с надеждой только:
К лучшему, хандре капут.
Думать будет “Москва” сколько,
Чтоб создать и здесь уют?*

По поводу юбилея бороды, судового электрика Сергея Владимировича, ничего в голову не лезет, приснился диалог маленького пацана с отцом, отцом почему-то я был сам.

Как ни странно, в довесок к общему поздравлению, это Сергею пришлось по душе, а день рождения у него 21 августа.

Диалог пацана с батькой

*Кто ответит, что за дата
во субботу может быть?
Да “очко” сегодня тату,
время попку в бане мыть.
Ты не прав сынок, сегодня
кое-кто родиться мог.
Возраст, скрытый бородою,
борода, как жизни сок.
Чем она богаче скажем,
тем и больше-то годков.
Молодой ты всё же тату,
теперь знаю ты каков.
Почему такие мысли
посетили голову?
Посмотри же тату дальше
вон, в другую сторону.
Видишь дядька с бородою,
до пуна бежит она.
Ты старик, а он-то старше,
раз в десяток старина.
Ты не прав сейчас дружище,
главное черна она.
А моя совсем седая,
будто в соли и со дна.
Но не в этом нынче гвоздик,
гвоздик в том, что был рождён
с бородою господин наш
много, много сзади дён.
День рождение значит тату,
у него сегодня, да?
Здесь ты прав сынок, я знаю,
не считал его года.
И давай не будем тату,
мы считать его года.
Пожелаем ему столько,
чтоб прожил ещё он да?
Да сынок, ещё здоровья,
счастья и всего, всего...
Чтоб в душе было раздолье,
были деньги у него.
Пусть удача с ним по всюду,
под руку его ведёт.
И ещё, что не нашёл он,
на дороге пусть найдёт.
Так что дядька с бородою,
ты живи и помни нас.
В жизни будут повороты,
ты не жми сильно на газ.*

“Собачкам” Диксона я подарил гимн:

ПСЫ

*Аккуратно, но сильно бьёт ветер
по лицу, в рот вгоняет мне кляп.
Шапку вместе с причёскою метит
он сорвать, тут не носят и шляп.
“Погребу” вновь на гору, с пакетом,
много псов здесь, земля – то одна.
Вы не думайте, я не с приветом,
кости в сумке до самого дна.
Собираю отходы на судне,
чтоб потом раздарить это псам.
А наградой доверие будет,
коль не веришь, попробуй-ка сам.
В благодарность хвостом завиляют,
лягут рядом, посмотрят в глаза.
Это счастье, душа замирает!
Я не прав? Но скажу, что я “за”.
За такое общенье с природой,
чтоб такое, здесь было всегда.
Дорожат псы своею свободой,
а где люди там жизнь - не беда.
Уваженье в них с детства впиталось,
человек для них больше чем Бог.
Диких в Диксоне псов не осталось,
позовёшь, они лягут у ног.
Среди них, здесь никто не забытый,
заметают их ночью пургой.
Остаётся вопрос всё ж открытый:
я уеду, с кем пёс будет мой?*

23 августа вышли в рейс, идём на встречу с а/л “Вайгач”. Делаю замеры сигнала ККС (контрольно корректирующей станции), составляю таблицу. До пролива Велькицкого прошли в принципе без проблем.

Попадались только отдельные ледяные поля.

Веду журнал замеров, которые заносятся в таблицу через каждый час. Сигнал пропал за 300 миль от Оленьего (это расстояние является оптимальным для станции), эту информацию передал на станцию через остров Медвежий.

Встретились с а/л “Вайгач”, идём в караване. Лёд стал плотнее, несколько раз застревали, ледоколу приходилось нас обкалывать.

Утром 28 августа в 06-00, в субботу, уви-

дели белого медведя. Он хотел проскочить перед ледоколом, но потом передумал и пошёл вдоль каравана, а караван состоит из одного нашего судна. Сфотографировал мишку, надеюсь, что-то получится, так как на фоне белого льда и снега медведь был довольно грязный и какой-то рыжеватый.

По сколам льда можно определить его толщину, и она составила более двух метров.

Ночью в голову лезут всякие мысли, вспомнилось детство и почему-то Маланьин мост.

Маланьин мост

*Старый мост, помню, нам улыбался,
Но года – малышня, не века...
Берега так он свёл и старался,
Чтобы дольше жила здесь река.*

*Был в деревне у нас расположен,
Старый мост, не дотянешь рукой...
Он из брёвен сколочен и сложен,
В те года наш ручей был рекой.*

*В этой речке бельё полоскали,
Мы купались, ныряли порой.
По весне даже щуку таскали
И вода поднималась горой.*

*Наш ручей уходил за кручину:
От Сапёрной плясать начинал.
Был лесок, мы щипали малину,
У истока он был очень мал.*

*Постепенно пейзаж изменялся:
Стройки века сдавили леса.
Я смотрел и всегда удивлялся,
Неизменны одни небеса.*

*А сейчас не заходит ни рыба,
Даже утки бояться здесь сесть.
Из-за зданий, построенной глыбы,
Наше место теперь не узреть.*

*Старый мост, помню, нам улыбался,
Но года – малышня, не века...
Развалился он, как не старался,*

Не дожил, умерла и река.

Днём лед стал разряженным и в 14-00 ледокол нас оставил, мы пошли самостоятельно.

30 августа ошвартовались в Тикси. Начальник Гидробазы встретил нас на машине.

Переоделись и пошли на выгрузку теплохода. Вместе с нами пришел груз для Гидробазы, это в основном продукты. Но второй помощник, отвечающий за доставку груза, сгноил капусту, морковь замёрзла и задохнулась.

Всё это произошло потому, что свой груз, который везли для себя, лежал на самом дне, а сверху он был задавлен коммерческим грузом.

Перевезли всё на склад, завтра будем перебирать испорченные продукты. На судне взял у повара несколько пустых коробок из-под бананов и соорудил себе около койки что-то вроде тумбочки. Наступает новая жизнь. Работа по передаче информации по безопасности мореплавания в район моря Лаптевых, в район, который попадает вне зоны действия индийского и тихоокеанского спутников Инмарсата.

Загрёб я на восток, но вспоминается и последняя командировка в Находку, откуда начинается наша бескрайняя Россия.

*Россия тянется с Находки, -
пусть провергнет кто-нибудь.
Восход, цепляясь, за сопки,
отсюда начинается путь.*

*Рельеф изрезан океаном,
на горизонте сопки тьма.
А бухты, снятые радаром,
таят подходы в города.*

*Дыханье океана ровно,
шалит волна на берегу.
Обрыв, как бровь земли, и словно
нахмурилась она врагу...*

*Вся жизнь меж сопки залегает,
на сопках гриб, да дуб растёт.*

*Лес шапкой с верху накрывает, -
такой пейзаж всегда зовёт...*

*Когда стоишь ты над обрывом,
а под ногами океан.
Сердце щемит – такое диво:
от красоты ты просто пьян!*

*Ты часть природы – просто точка,
и радуйся, что человек.
А вот волна, на море кочка,
плеснулась, весь её и век.*

Работаем на станции. Антенное поле находится примерно в километре от базы, где размещена наша оперативная радиорубка. На компьютеры в рубку приходят сообщения от координатора с Петербурга. Далее компьютерный терминал обрабатывает прогнозы и навигационные предупреждения в формат международной системы “Навтекса” и передаёт информацию, по расписанию, на передатчики, работающие на 518 кГц. Г/с “Иван Киреев”, после нашей высадки в Тикси, ушёл в район острова Врангеля, где принял нашу информацию, а это около 800 морских миль, и это здорово. В радиорубке, на станции в Тикси, стоит контрольный судовой приёмник Навтекс, по которому мы видим, как прошла наша передача.

Условия работы, однако, не самые благоприятные: до антенн далеко, погода часто меняется, а антенное согласующее устройство не автоматическое, часто приходится подстраивать (согласовывать) параметры антенны с выходными цепями передатчика вручную.

Живём в этом же здании, где радиорубка. Выделили угол, в который входит кровать и подоконник, ну ещё стул – это всё. Газеты доставляют на почту с Якутска раз в неделю. Решаются финансовые проблемы почты с лётчиками. Кто-то, кому-то, что-то, за что-то должен. Мы, тем не менее, живём. Я сходил за грибами, но ничего не нашёл. А дома, у нас в Корчмино, говорят, что грибы собирают прямо в саду. Опять заела истому, вспоминаю родное Корчмино.

Корчмино

*Бродит хмурая туча по кругу,
Не прольётся, не капнет никак.
У нас клён растёт рядом, у дуба,
Корчмино – всего только пятак.*

*Пробивает сквозь тучу луч солнца,
Дождик тянется мимо косой.
Не над нами дырявое донце,
На цветах те же пчёлы с осой.*

*Дождик льётся вдали за рекою.
Лес, посёлки, промокли дворы,
Мы сухие в деревне с тобою,
Не у той оказались дыры.*

*В нашем месте магнитное поле,
Мы на русле державной Невы.
Вот такая корчминская доля,
Принимаем природы дары.*

*И не выскочить тучи из круга,
Не пролиться, не капнуть никак.
Опять сухо у нашего дуба,
Пронесло, ну и пусть будет так.*

Несём вахты, передаём информацию с Питера в эфир на 518 кГц. Мы работали бы ещё с большей пользой, если бы подключили местный метеоцентр и передавали бы дополнительно их информацию, вот это был бы толк. Метеоцентр порта Тикси передаёт подробный прогноз по бассейну реки Лены и заливу в телефонном режиме на 4 мГц. Но к сожалению, в верхах наших ведомств не могут договориться, всё упирается в деньги.

Началась какая-то полоса неудач.

13 сентября на рейде порта Тикси взорвался танкер, шесть человек с ожогами доставлены в больницу. Задействованы силы МЧС и местный ледокол.

На вертолёте, снимаются РИТЭГи, они собираются в одном месте, чтобы затем на судах гидрографического предприятия доставить их на утилизацию в Мурманск. При очередном съёме и перевозке РИТЭГов, вертолёт попал в турбулентный поток и чтобы не упасть, при-

шлось сбросить груз с высоты 50 метров.

Хорошо они упали не в воду, а в тундру на земле Бунге, архипелага Новосибирские острова. Как сообщили, радиационный фон в районе падения нормальный, но трогать их никто не решается. Сообщено в Москву, ждут специалистов по этому вопросу, задействованы силы МЧС. На сегодняшний день в порту стоят два гидрографа это: г/с “Иван Киреев” и г/с “Яков Смирницкий”. Они повезут РИТЭГи в Мурманск.

24 сентября, окончательно выпал снег, метёт.

25 сентября, растаскивали оттяжки на антенном поле, варили наконечники с блоками для мачт, готовимся к подъёму резервной антенны, конечно, если их откапаем из снега. И надо же откапали и поставили две мачты высотой по 24 метра, но только 29 сентября. Навигация закончилась в этом районе. Общее впечатление о посёлке Тикси получилось следующее. Сам порт окружён высокими сопками. На склоне ближней сопки, при входе в порт, которая называется “Лялькин пуп”, из бочек выложен лозунг “Слава Октябрю”. Бочки сварены между собой. После развала Советского Союза их хотели раскатить, убрать эти слова, но не получилось, сварены намертво. Сейчас уже их никто не трогает. По легенде сопка так называется, потому что заключённые на её вершине, на голом животе фартовой Ляльки, играли в карты летом. Потом проиграли и саму Ляльку, её убили.

На горизонте видна четырёхзубая сопка, похожая в профиль на человеческий лик, вот её и

прозвали маской якута. В посёлке много военных, в основном связисты, лётчики и пограничники. Связь осуществляется через спутники, а чтобы достучаться до спутников используются спутниковые антенны – это большие чашки в диаметре более 13 метров. Здесь же находится и аэропорт. Он расположен в виде отдельного маленького района со своей инфраструктурой. Между основным Тикси и Тикси-3, как называют район аэропорта, ходит автобус по расписанию.

Тикси

*Среди холмов, в метель и в бурю,
В лагуне, на краю земли,
Стоят дома как на ходулях,
Для местных - вроде корабли.*

*Но корабли мечты застыли,
Их заморозили года.
Пустые окна, рамы сгнили
Мельчает север – это да.*

*А позади воспоминанья,
И перспективы никакой.
Судьба зовёт опять в скитанья
Пойти с котомкою пустой.*

*Вдали над лентой горизонта,
Якута маска разлеглась.
Четыре пика - это круто,
На этом держится и власть.*

*Антенны уши чуть левее
Следят за космосом всегда.
А если ближе, и правее, -
Район пилотов – полоса.*

*“ Пуп Лялькин ”, и из бочек “Слава...”,
Все Тикси сверху на виду.
А настольгия – не отравя,
Зовёт... ещё сюда приду.*

*Там есть друзья, там есть работа,
Все, заморожены судьбой.
Там камень, озеро, болота
Зовут всегда нас за собой.*

*Залив уже засыпает, пурга замедает, жизнь
в Тикси замирает.
Летим домой.*

*Самолёты летят как-то мимо,
Не берут, не берут нас с тобой.
А на месте сидеть ох тоскливо,
И качай, не качай головой.
Что качать, ты хотя бы завой.*

*Но дождёмся и мы – это точно,
Заберут нас пилоты с собой.
Я тогда позвоню тебе срочно,
Слышь, родная, лечу я домой.
Слушай, точно лечу я домой.*

*Долетим – путешествуя крышка.
Нам Москва не нужна бог-то с ней.
Я спешил, моя милая мышка.
Здравствуй Питер, ты всех, всех милей.
Здравствуй Питер, всегда ты милей!*

*Здравствуй Питер, привет дорогая!
Как пурга, я ввалюсь на порог.
Ты ждала, это точно я знаю.
Я вернулся, как только вот смог.
Я вернулся, спешил, вот и смог.*

*А потом ошалевший от шума:
От машин, трескотни, толкотни.
Намекну, что не надо нам ГУМА,
Ты согласна, со мною пойти?
Ты согласна, со мною пойти.*

*Позову я тебя в край далёкий,
Где сугробы на сопках растут.
Где снег чистый и очень глубокий,
Люди добрые там же живут.
Люди добрые там всегда ждут.*



ОЛЬГА САФАРОВА

Саломэя

(продолжение. Начало в № 7)

2. Фатальные последствия близорукости

Солнце уже стояло низко, светило прямо в лицо, и Мея снова сняла очки, чтобы избежать незагорелых кругов вокруг глаз, - загар приставал к ней быстро. Распрощавшись с Сашей и пообещав подумать о переезде в «Приморскую», она потихоньку пошла по набережной по направлению к своей гостинице.

Навстречу ей, тарыхтя и вихляясь, двигался двухголовый дракон с оранжевой грудью и частоколом длинных шипов на зубчатой спине. Головы переговаривались баском и фальцетом с хохлатским акцентом и добродушным матерком о каком-то гаде – бригадире, одна голова пускала жиденький дымок. Рядом с драконом ползла и извивалась его страшная тень. При ближайшем рассмотрении чудовище оказалось оранжевым автокаром с двумя работягами в грязных робах на платформе. За автокаром громыхало на прицепе несколько тележек, груженных перевёрнутыми пластиковыми столиками и стульями с торчащими вверх многочисленными алюминиевыми ножками; один из работяг курил трубку.

Променад пустел, море тихо лежало громадным листом рифлёного серебра под низким солнцем, длинные тени ползли впереди идущих навстречу или шлейфом волоклись за обгоняющими Мею расплывчатыми фигурами утомлённых солнцем пляжников. Тени извивались-искажались на неровностях дороги, скамейках, поребриках и прочих предметах; может быть, подумалось Мее, эти кривляющиеся тени и есть истинная сущность идущих мимо людей?... - фу ты, какие мысли лезут в голову, пора возвращаться

в гостиницу... Она купила винограду с лотка на набережной, завтра надо будет наведаться на базар за фруктами, хотелось хурмы и инжира.

Снова надев очки чтобы не плутать по городу, Мея поднялась на центральный проспект и махнула рукой проходящему такси. По проспекту всюду были развешены афиши о гастролях знаменитого циркового иллюзиониста Лео. Можно бы и сходить от нечего делать – подумала Мея, она не очень любила цирк: её было жаль несчастных дрессированных животных, но известный фокусник - это может быть интересным.

В гостинице было тихо и прохладно. Без всяких встреч со странными существами и ясно видя окружающую действительность вооружённым очками взглядом, она поднялась в номер, помылась, переоделась, позвонила через гостиничный коммутатор по межгороду домой – муж сказал, что закончит дела и вот буквально - сегодня-завтра послезавтра прилетит.

Надо бы поужинать – подумала Мея и отправилась в ресторан.

В ресторане звучал рояль, - пожилая дама в длинном платье мягко наигрывала попури из «Травиаты», чинно принимали пищу пожилые немцы, в углу компания финнов шумно галдела, видно праздновала разлуку со своим полусухим законом, имевшим место быть в

Финляндии – то-есть скудная месячная норма на спиртное, а если сверх нормы, то очень-очень дорого.

Несколько сухопарых персон неопределённого пола бормотали между собой по-английски; ни одного соотечественника, ни Пейсашкина не видно, даже скучновато.

Бравые «суоми пойки» (финские пар-

ни), конечно, скоро напьются и зашумят по простецки, нарушая благолепие, но ей-то это только усугубит скуку и одиночество. За соседним столиком симпатичный, похоже, скандинав деликатно косил на неё голубым глазом, а вот уже и бокал приподнял приветственным жестом... – ах, этого ещё не доставало! - не нужны ей эти не поощряемые контакты с иностранцами, да ещё в таком кагэбэшном гнезде, как эта гостиница, тут, наверное, под каждым столиком подслушка и в каждом углу ресторана – камера наблюдения! И она приняла совершенно неприступный вид – скрестила руки на груди (жест закрытости и недоступности) и, сняв очки, устремила пустой равнодушный взгляд поверх его головы. Скандинав обескуражено уткнулся в свою тарелку. Прав был Саша Серебров – надо переезжать в «Приморскую».

Корректный официант составил с подноса заказанный салат, горячий бутерброд и чай, называя всё по-английски, и выжидательно встал рядом с подносом подмышкой и крахмальной салфеткой через руку. Она отпустила его жестом и принялась за свой ужин.

К пианистке присоединилась немолодая певица и грудным голосом запела старинное танго: - «...утомлённое солнце нежно с морем прощалось, в этот час ты призналась, что нет любви...» Несколько пожилых немецких пар танцевали, финны галдели всё громче, скандинав переключил своё внимание на двух пухленьких девиц. Те хихикали и перешёптывались, вероятно, местные профессионалки - заплатили кому надо и прошли. Зажглась неоновая вывеска над дверью за колонной, загремела ритмичная музыка - открылся бар, компания финнов, скандинав с девицами и кто-то ещё переместились туда. К Мее подошёл толстенький немец, пригласил на танец, она вежливо и сухо отказалась.

Нет, надо съезжать отсюда,...она подзвала официанта и попросила 50 граммов коньяка и мороженое, он мгновенно принёс. Мея рассчиталась и медленно пригубила коньяк. Какой день выдался – длинный, утомительный; надо пораньше лечь и выспаться...

Прихватив со столика ключ от номера на тяжёлой бирке и очки, она пошла к себе в бельэтаж по пологой лестнице. Настенное зеркало на площадке туманно отразило её силуэт и пустой длинный коридор за поворотом. В начале коридора на красную ковровую дорожку из какой-то дверцы в стене сползал серый удав свободным кольцом и дальше волнистыми

Изгибами по полу вдоль стены. Мея остановилась, удав зашевелился? ...Здесь неподалёку цирк, сбежал, что ли, оттуда...

Она, не двигаясь с места, надела свои дымчатые фасонистые очки с диоптриями, - фуууу,... это же серый брезентовый рукав пожарного гидранта - наполовину вывалился из стенной ниши из-за приоткрытой стеклянной дверцы и развернулся вдоль стены. Опять обман зрения и оптическая иллюзия,... но почему он,... - шланг конечно, шланг - зашевелился? – А потому что у страха глаза велики плюс коньяк, наверное... В дальнем конце коридора тускло светятся парковые огни через торцевое окно, мокрая подсвеченная листва платанов вяло трепыхается за стеклом в каплях дождя, блики скользят по красной дорожке. Последняя дверь направо – её номер. Мея открыла дверь и шагнула в полумрак своего полулюкса; помнится, она оставляла свет, но горничная после уборки, уходя, наверное, его выключила.

Закрыв за собою дверь, Мея остановилась, соображая, с какой стороны выключатель и вдруг услышала звук работающего моторчика, - похоже на урчание холодильника, но немного по-другому - вроде, как электробритва, нет, тоже не очень похоже... Звук шёл из середины комнаты, где стоял круглый стол и три мягких кресла. Она всё не могла нашарить выключатель, глаза попрыгали к полумраку, но очки-то на ней были дымчатые... И вот под креслом она разглядела что-то тёмное, округлое и звук моторчика исходил именно оттуда. Она нагнулась и ей навстречу замигали шесть зелёных огней... По спине побежал холодок страха, сердце заколотилось... Да где же этот выключатель, наконец?! Похоже, к ней в номер летающая мини-тарелка залетела и приземлилась под

креслом... четыре огня погасли, два продолжали гореть зелёным светом, и тут её рука нащупала выключатель, вспыхнул свет.

Под креслом на ковре лежала большая чёрная мокрая кошка и два взъерошенных котёнка; свернувшись клубком, они все громко мурлыкали и смотрели на Мею шестью круглыми жёлтыми глазами. Ну да, это мама-кошка нашла чудное местечко от дождя и перетащила котят в тепло и на ковёр, - сообразила Мея. Действительно, форточка открыта, но как она влезла в бельэтаж? По карнизу, что ли? Ну, уже хорошо, что это не НЛЮ... Кошка же, убедившись, что Мея её не гонит, зажмурилась и стала

вылизывать то свои мокрые лапы, то котят, и все вместе замурлыкали ещё громче.

У Меи всегда были хорошие отношения с кошками, к тому же её восхитила сообразительность и заботливость мамы-кошки, и она позвонила в буфет, - попросила принести в номер молока и булочку, на всякий случай заказ сделала по-английски. Заказ доставили, Мея подала кошке еду в

блюде прямо под кресло, та с благодарностью поела, и кошачий клубок мирно заснул на ковре.

Мея тоже клубочком расположилась в кресле под торшером с книжкой «Death in the clouds» («Смерть в облаках» А. Кристи) и, читая, пощипывала виноград. Ничего нет лучше для совершенствования языка, чем читать в подлиннике простой и правильный английский текст Агаты Кристи! Но книжки было не так-то просто достать, ей же привозил муж Антон из зарубежных командировок. А муж Антон работает в такой серьёзной организации, которая занимается непотопляемостью судов, безопасностью морских перевозок и выдачей разрешений на эксплуатацию кораблей – в Морском Регистре СССР, где половина работающих по совместительству штатные сотрудники КГБ, особенно те, кто по два года, сменяясь чтобы не зажрались, работают в зарубежных Инспекциях Регистра, в капстранах. Сюда, в Сочинский морской порт он должен приехать по делам службы, в местную Инспекцию Регистра; да и в эту гостиницу интуристовскую он её

устроил по своим каналам и скоро должен к ней присоединится.

Под уютное кошачье мурлыканье Мею стала одолевать дремота, буквы на странице зарыбились, слились в запутанный мелкий узор, в какое-то марево, из которого начал выползать серый удав, вот он приподнял свою плоскую блестящую медную голову,...но ведь удавы, кажется, бояться кошек,... или не бояться?...а удав подползает всё ближе и звенит медным раздвоенным языком... Мея встрепенулась, книга упала на пол, - это дребезжали гудки междугородней - звонил Антон сказать, что прилетит завтра, ещё не знает каким рейсом, но обязательно. Она предупредила его, что переедет в «Приморскую», пусть ищет её там.

- Как! - поразился Антон – ты же так мечтала отдохнуть от знакомых, их вечных просьб и всего такого...

- Ну да, я думала, встречу новых интересных людей, вырвусь из привычного круга, а тут одни иностранцы, не считая Пейсашкина, да и тот куда-то подевался, скучно...

- Так я вот прилечу, скучно не будет, ... а кто такой Пейсашкин?» - ревностью повеяло в голосе Антона.

- Ну, и вдвоём будет скучно... Да не обижайся ты! Не друг с другом скучно, а вообще... Ну, общаться не с кем, сюда «гостей» по паспортам до 23-х пропускают, да никто и не пойдёт сюда к нам, в баре одни финны пьяные и пара-тройка местных девиц не очень тяжёлого поведения, ты хочешь, чтобы и меня за такую же принимали? Вот вчера за ужином скандинав какой-то... - подпустила она драматизма.

- Ты – моя леди-совершенство, и каждый нормальный мужчина только так тебя и воспринимает... А Пейсашкин – кто?

- Да никто, пожилой директор овощной базы из Москвы... - понизила она в должности Пейсашкина... - А тут и нет нормальных мужчин, одни иностранцы, а если и есть – мне они не интересны, да не в том смысле...

- Так подожди меня в «Камелии», потом вместе по моему командировочному и по звонку из Комитета переселимся в «При-

морскую.

- Ну, не знаю, я Сашу Сереброва встретила, он там живёт и сказал – поспособствует, ну, - это будет стоить мне – французские духи замдиректору по расселению, она у него прикормлена...

- Да не напрягайся ты, моё совершенство ненаглядное, дождись меня, ты – моя молочная река-медовые берега... - заворковал он всякие нежности-интимности...

Оператор на коммутаторе что-то буркнула и разъединила. Мечтательно и смущённо улыбаясь, Мея, не выключив торшера, перебралась с кресла в широкую белоснежную постель и мгновенно заснула без всяких сновидений.

* * *

А в это время её новый знакомый «студент археолог» - катала Андрей сидел на задворках цирка под навесом в компании Макса - старого карточного манипулятора, художавого пожилого мужчины с острыми глазами и малоподвижным лицом. Только что прошёл дождь, пахло мокрым асфальтом. Андрей, упражняя руки вольтами и ложными тасовками сразу с двумя колодами карт, слушал приятеля:

- Стало известно от верных людей – будет большая игра: из Ростова, Харькова, Одессы, Москвы и Питера съезжаются на свою ежегодную сходку цеховики, теневики и обехаэсники, ну, вроде свой партхозактив у них, состоится послезавтра. Так среди них два известнейших, очень состоятельных игрока-профессионала: Павел Бута и Марк Тучинский, на нашей шулерской мельнице известные как Паша Седой и Туча. У них при себе по чемодану денег и по четыре телохранителя - лаве сторожат; кроме того, завтра утром приезжает к нам в цирк на гастроли знаменитый Лео, тоже одержим карточной игрой, - легенды ходят, сколько он проигрывал и выигрывал, бывало, здесь, в Сочи, на прежних гастролях, а в прошлом году его вчистую обул Альберт-одессит. И вот бы хорошо тебе, Андрей, к нему в напарники - колоду, скажем, зарядить, сменку, там, сде-

вать... Есть нужные люди, вхожие к нему, порекомендуют тебя, сынок, а остановится он в «Камелии». Ты там пошарься пока, присмотришься...

- Так он же просто упакованный лох, повернутый на азарте, ждёт прухи, его и раздевают, как младенца...

- В том-то и дело, он не просто лох, а знаменитость, артист заслуженный или уже народный?.. Ему, ежели что, статью 148-ю уж всяко не станут клепать. Надо его окучить, на понты развести, в долю войти, да и мнится мне – он уже порченный пассажир *...

Из цирка через открытые задние выходы донеслись взрывы хохота, аплодисменты и визгливые выкрики ковёрного, - ага, подумал Андрей, скоро финал, парад-алле, и освободится приятель - борец и силовой жонглёр Ивар

Он убрал карты в кожаную квадратную коробку с ручкой на крышке, взглянул на собеседника честными серыми глазами, покивал:

- Да, я уже познакомился сегодня кое с кем в «Камелии», завтра наведуясь, попорхаю вокруг Лео.

А вот и он - высокий атлет, блондин с короткой стрижкой и матадорской косичкой на затылке. Андрей, шутя, сделал пару боксёрских выпадов в железобетонную грудь приятеля, тот заулыбался и поиграл грудными мышцами под расстёгнутой рубашкой. Посоветавшись куда пойти, они отправились в недавно открытый бар «Театральный», почти напротив цирка, через проспект.

* * *

Море штормило, на гостиничном пляже было малоллюдно, солнце не палило, а поосеннему мягко, по-утреннему грело. Мея сидела под тентом с чашкой чая и сквозь дымчатые стёкла смотрела, как два загорелых смельчака подныривают под волну. Волна, откатывая, громко шипела гравием, оставляя кромку неряшливой пены. Что делать с кошачьим семейством - думала Мея, отламывая печенье, - когда она уходила, кошки не было, котятка возились на ковре... Ну, да ладно, мож-

но попросить горничную куда-нибудь их пристроить...

Мея огляделась, мир выглядел чётким и определённым, пальмы, листья платанов и хоста в рабатке блистали промытой зеленью после вчерашнего дождя. Неподалёку расположилось семейство – Мея узнала иллюзиониста Лео, с ним рядом - прелестная невысокая темноволосая женщина и хорошенький мальчик лет пяти; говорили, что его жена работает его же ассистенткой в распиловках, исчезновениях и прочих трюках.

Народу прибавлялось, появился Пейсашкин, присел рядом – круглый животик над модными белыми плавками, на голове панамы с замысловатым вензелем латиницей. Он зажурчал своим масляным голосом:

- А я искал вас вчера, Мея, мы с друзьями пикничок в Красной поляне соорудили, я вас хотел пригласить, да вот не застал.

- Сожалею... - мило улыбнулась Мея, - ему совсем не обязательно знать, что никуда бы она с ним не поехала, а доброе слово и кошке приятно.

- Саломея Александровна, вы не забыли мою просьбу... Венечка мой, такой способный мальчик... о логопедке. Помните?

- Да-да, конечно, мы обменяемся телефонами, как только, так сразу...

К Пейсашкину присоединился круглопузый деятель помоложе, в таких же плавках и такой же панамке, только синей. «На одной базе брали...» - привычно мелькнуло у неё в голове. Пейсашкин представил подошедшего как референта какого-то министерства, Мея не запомнила ни имени, ни министерства. Тот расположился рядом под тентом, а от входа на пляж со стороны города уже издали махал её приветственно «студент» Андрей. Вчера чтобы пройти, он дал трёшку охраннику, а сегодня прикупил у швейцара визитку «Камелии». И вот, лучась обаянием, приближался, неся в одной руке свою кожаную коробку, а в другой – корзинку, полную персиков, винограда, инжира и хурмы.

Не доходя нескольких шагов, он заговорил:

- Здравствуйте-здоровствуйте! Какая вы красивая, Мея! А я вот вчера в «розарии»

выиграл немного денежек в преферанс, а много ли бедному студенту надо! Стоял утром на рынок. Угощайтесь, всё мытое... разрешите? - он дождался её кивка и присел на краешек её лежака: - Очень приятно познакомится, угощайтесь! - адресовался он к Пейсашкину и референту.

Пейсашкин охватил одним пронизательным взглядом Мею и Андрея - а не амуры ли тут?... Не будь она в очках - не увидела бы его мимики, а заметив, - еле заметным движением отстранилась и сделала жест недовольства и недоступности. Андрей же сразу отреагировал:

- Когда мы вчера с вами познакомились, Мея... Уважаемый, вы позволите?... - взглянул вопросительно на референта, пересел рядом с ним и продолжил, меняя тему: - Ах, какая привлекательная эта жена и ассистентка знаменитого Лео... - и восхищённо воззрился на семейство иллюзиониста по соседству.

Подозрительное любопытство в круглых на выкате глазах Пейсашкина потухло, он полюбовался на роскошные фрукты, сделал знак бармену пляжного кафе:

- Четыре бокала «Алазанской долины», белой... - и обратился к Андрею: - Так вы играете в преферанс, студент, а почему вы не на занятиях в институте?

- Так у нас практика тут, археологические раскопки здесь... недалеко... - он неопределённо махнул рукой в сторону гор, - а преферанс... так, по маленькой, зато я фокусы карточные умею показывать!

Он снял джинсовую рубашку, остался в шортах.

Иллюзионист, осанистый немолодой брюнет, время от времени поглядывал в меру заинтересованно, красавица-жена мазала руки кремом, кокетливо поводя плечами в сторону Андрея, малыш играл с камушками.

Бармен принёс вино, все чокнулись – «за хороший отдых, высокое солнце и низкую волну» - провозгласил референт популярную банальность и потянулся за персиком. Фрукты были восхитительные, а Мее как раз со вчерашнего дня так хотелось инжира.

- За успех абсолютно безнадежного дела! - прошептал Андрей, глядя на мадам Лео.

Поставил бокал, достал из кожаной коробки новую колоду карт, распечатал и одной рукой выдал несколько шуршащих в разных направлениях карточных вееров; карты мелькали то картинками, то рубашками, рубашки меняли цвет и рисунки.

Солнце заглянуло под тент, Мея сняла очки, чтобы лицо загорало равномерно, - и сразу мир обрёл интригующую неопределённость, она перестала видеть мимику даже близко сидящих людей и направление их взглядов; руки Андрея смутно вертелись, как мельница, он сдал карты на четверых, референт восторженно закудаhtал - колода распределилась по мастям. Мея же различила только цвет – две красных и две чёрных кучки. Дальше из реплик мужчин было понятно, - то он сдавал одних тузов кому-то, а другим – по четыре других одинаковых картинки, то поврозь, потом попарно, по заказу, то так, то эдак. Напоследок он положил колоду карт на землю, наступил на неё ногой и сказал – Туз пик, покажись! - и из-под ступни со свистом выскочила из колоды карта, судя по возгласам Пейсашкина, именно Туз пик.

- Где это вы так наострились? - спросил референт.

- Книжка есть такая – «Самоучитель карточных фокусов», ну и упражнялся в кружке «умелые руки» в ДПШ...*, - глядя невинными глазами отрапортовал Андрей.

- Так в таком кружке, вроде, табуретки делают?. Ах, вы шутите, ха-ха...

В это время у входа на пляж из гостиницы появился высокий абсолютно седовласый мужчина, известный в кругах дельцов теневой экономики, как Павел Бута - «харьковский трикотажд», а в кругах азартных картёжников и шулеров, как Паша Седой. Компания, увлечённая фокусами Андрея, не обратила на него внимания, Алёна же, не очень увлечённая, восприняла его в образе гигантского белого одуванчика – так расплывчато увидела она Пашину пышную белую шевелюру. А Бута сразу глазом заядлого картёжника узрел карты, приятного молодого парня кидающего вольты и карточные веера, рядом - красивую девушку русалочьей наружности и с ними двух немолодых евреев

с магендоводами на толстых рыжих цепях, с «котлами»*** Сейко и Лонжин на запястьях и с барсетками из кожи ската. Эти двое, явно, из «его профсоюза» - похоже, дельцы не из мелких. Семейство Лео он тоже с интересом отметил, он знал, что сам глава семьи – из второго его «профсоюза» - а именно, азартный игрок. Бута заселился в «Камелию» полчаса назад и вот вышел к морю с папкой деловых бумаг, - завтра большая сходка чрезвычайной важности, да и сегодня, предварительно, - встреча вечером кое с кем очень нужным в отеле «Фрегат», надо подготовиться, - и он прошёл в дальний конец пляжа поработать со списком перераспределения левых доходов.

Море штормило. Завтра, наверное, можно будет купаться, подумала Мея, а если шторм не кончится, - она поплывёт в бассейне отеля «Жемчужина».

Её надоели карточные фокусы и, сославшись на неважное самочувствие, она стала собирать свою пляжную сумку, искать очки...Андрей подал их ей, она надела. Он продолжил прерванную фразу: «...Так вот, вчера мы с приятелем наведались вечером в новый бар «Театральный», здесь неподалёку, напротив цирка, Так интересно всё там оформлено, всё красное...»

Уходя, Мея не услышала продолжения. Она отправилась к себе в номер помыться, переодеться и отдохнуть от солнца: её, такую северянку-снегурочку, - оно утомляло. На широкой лестнице навстречу ей попала дама в малиновом с псинкой у щеки (вчерашний Психлавец); в коридоре серый шланг-удав смиренно лежал свёрнутый за стеклянной дверцей, из двери номера, соседнего с её полулюксом, высунулась палка пылесоса с треугольной насадкой (вчерашняя костяная нога с копытом). У неё уже было убрано, кошачье семейство отсутствовало, - горничная выгнала, что ли?... Антон, наверное, прилетит к вечеру.

* * *

Час спустя Мея, свежая и отдохнувшая, в джинсовом сарафанчике и джинсовых же босоножках, в своих затемнённых окулярах,

- вышла на Курортный проспект и остановилась в раздумье, где бы пообедать в новом месте. Есть не хотелось, если только что-нибудь лёгкое... А вот как-раз бар «Театральный» через дорогу наискосок, она направилась туда, вошла.

Действительно, интересно - всё небольшое помещение представляло собой амфитеатр, он повышался от входа в глубину красными ковровыми широкими ступенями-ярусами; на каждом ярусе высились спиралеобразные красные бархатные пирамиды (вроде пирамид Татлина); нижние ярусы пирамид – это места для сидения; между пирамидами выгнуто-вогнутые столики; стойка бара - в глубине наверху. Играет тихая музыка, подсветка ярким неоном, по стенам – театральные маски; народу – не протолкнуться. Мея остановилась, высматривая местечко, и тут её окликнула и приглашающе замахала питерская знакомая, энергичная яркая брюнетка Полина Монастырская, известная на весь Питер, - как бы это поделикатней сказать, чтобы не употреблять грубого слова - спекулянтка? – Ну, скажем - труженица по продаже импортных модных вещей на дому благодарным согражданам. Бывало, она встречала по прибытии круизные лайнеры в порту на трёх такси и битком набитые баулами и тюками везла домой, знакомые оповещались, и открывался модный магазин.

Мея присела рядом с ней на бархатное основание пирамиды, прозвучали первые приветствия и восклицания: - когда, где, с кем, кто ещё... заказали подскочившему официанту салат, жульен, коктейль и ещё что-то. Полина представила сидящего рядом мужчину – Марк Тучинский, управляющий Базой Ленгалантереи, и:

... Хотя у него только завтра здесь в Сочи ответственное совещание, он прилетел с ней, любимой Полиной сегодня (Марк поцеловал её ручку), бросив все дела (Марк приподнял плечи, возвёл глаза и улыбнулся), потому что у неё сегодня день рождения (Марк покивал, поглаживая её плечико), и уже заказан банкет в новой гостинице «Фрегат», в отдельном кабинете «Коралловая лагуна»! И она, Полина, приглашает её, Мею, к

8-ми часам прибыть на банкет! - 4-ый этаж, вправо от лифта за драпировкой - холл со штофными панелями, такая же дверь, надпись «Коралловая лагуна». И Марк пусть приходит к 8-ми; нет, его помощь ей не нужна (он поцеловал её щёчку), а сейчас ей ещё – в парикмахерскую... - и, поклевав салат и глотнув коктейля, она упорхнула.

Незаметно разглядывая Марка сквозь дымчатые очки, Мея подумала - вылитый Аркадий Райкин. А он, потягивая коктейль, заговорил о погоде-природе, (надо же, удивилась Мея, - он, оказывается, разговаривать умеет!), потом разговор, как это водится, перешёл на поиски общих знакомых и, разумеется, нашли пару-тройку. Разговор иссяк, коктейль – тоже; вышли вместе, он проводил её до «Камелии» и распрощался, - увидимся, мол, вечером на банкете.

* * *

В номере было не жарко, тихо и одиноко, когда же, наконец, прилетит Антон...

Ну, надо заняться собой, - она вымыла голову, завернула волосы полотенцем в виде тюрбана, намазала лицо кремом. Интересно, куда подевалось кошачье семейство? И как кошка тогда с одним, а потом со вторым котёнком в зубах впрыгнула через форточку, и что, интересно, там за окном? Мея надела очки и выглянула из окна, там был узкий карниз, по стене вился негустой плющ, на земле под окном вдоль стены – отмостка из керамической плитки, за ней – кусты, дальше – платан. Ей показалась, что в кустах мелькает котёнок, она высунулась из окна дальше, нагнулась и – аххх!!! – очки соскользнули с её скользкого от жирного крема носа... Секунду они качались на ветке плюща, она протянула руку и - схватила пустоту, а очки – увы и ах! – сорвались, грохнулись на плитки отмостки и, судя по звуку, разбились! Ну да, вон осколки на солнце блестят...

Какой кошмар! Какая невосполнимая потеря! Вряд ли здесь, в Сочи ей удастся заказать такие модные «капли» на тонкой металлической верхней планке, и в Питере-то ей сделали их по великому благу. Ужасно! Во-первых, потеряна защита от солнца с ди-

оптриями минус 9, - по её близорукому зрению; во-вторых, она ведь без очков ничего не видит! Или видит нечто несуществующее, искажённый, иллюзорный мир! Не узнаёт знакомых, путается, куда идти, особенно в незнакомом месте, не видит мимику, обмен взглядами и выражение лиц... Значит, она будет вынуждена носить обычные прозрачные очки, которые визуальнo уменьшают её глаза,... ну днём, по необходимости в кино, в своей комнате – ладно, сойдёт. Но прилюдно, на выходе, особенно вечером, когда надо выглядеть красиво и стильно, - она так и выглядит,...выглядела в стильных дымчатых очках, так как сквозь затемнённые стёкла не видно её уменьшенных сильной оптикой до размера ... - горошины! - глаз. Ну, пусть не горошины, а...- арбузного семечка, - какое уродство!

И Антона до сих пор нет, он взял бы её под руку, привёл бы на банкет, и пусть бы ОНА видела всё смутно, зато ВСЕ видели бы, какие у неё большие, красивые, зелёные глаза....

Она надела обычные прозрачные очки, которые только в кино надевала - фу, как училка какая-то, глазёнки – как булабочные головки...

Ладно, она сейчас накрасится, оденется, вызовет такси через портье, дойдёт до него в прозрачных очках, чтобы не споткнуться на шпильках обо что-то без них ей невидимое; такси доставит её к главному входу «Фрегата», а там эти жуткие очки - в сумочку. Она и так всё помнит, что говорила Полина – лифт, 4-ый этаж, направо за портьерой – холл, дверь, как штофная панель, надпись - «Коралловая лагуна»...А там она почти всех знает, её встретят, усадят, сосед по столу будет ухаживать...Ну и пусть не будет она видеть обмена взглядами, ужимок женщин и мимики мужчин – это её образ – отрешённая, загадочная русалка северных озёр...

А подарит она Полине духи «Мисс Диор», что гипотетически предназначались замдиректора по расселению гостиницы «Приморской»...

Почти ровно в восемь (она никогда не опаздывала) по лощёному полу вестибюля отеля «Фрегат» шла на шпильках стройная девушка в длинной прямой юбке тёмного серебра с высоким боковым разрезом, в тунике светлого серебра с драпированным декольте, через плечо - палантин из полярной лисы на белой атласной подкладке. Светло-русые волосы лежали на затылке низким тяжёлым узлом, сверкали хризолиты украшений в белом золоте, в руках - сумочка на серебряной цепочке и небольшая коробка с белым бантом. Окинув туманную действительность рассеянным взглядом, она подошла к лифту, который как раз спустился и распахнул светящееся нутро, шагнула в него, и, пальцем отсчитав 4-ю кнопку снизу, нажала, дверь начала медленно закрываться.

В это время Марк Тучинский входил в гостиницу (он тоже никогда не опаздывал), он увидел сверкающую Мею в закрывающемся лифте и направился ко второму, в другом конце вестибюля, от которого на 4 -м этаже и надо было – направо; Полина не сказала про два лифта, а от того, в котором поднималась Мея – надо было налево. Мея, опережая Марка буквально на минуту, вышла, повернула направо - вот драпировка. А сзади, метрах в 10-ти по диагонали, была точно такая же портьера у другого лифта, из которого уже выходил Марк. Он увидел, что Мея пошла не туда – серебристый подол мелькнул за портьеру. Он приостановился, сказал вдогонку: «...Мея, не туда...». Она не услышала, будучи уже за портьерой в маленькой прихожей; громко окликать - неприлично и нелепо, и он направился следом, чтобы препроводить её в нужном направлении. В это время Мея уже открывала дверь в виде штофной панели, на которой, близоруко прищурившись на секунду, разглядела буквы: «Кора...» - дальше буквы сливались с узорами штофа,... ну да, правильно, Полина говорила «Кора...лло-вая... что-то там такое...»

На самом деле на дверях было написано - «Корабельный уют», но Мея, не разглядев, горделиво шагнула в дверь, сверкая красотой

и нарядом.

В кабинете пахло кожей, импортными сигаретами и одеколоном, за овальным столом сидело несколько человек, звучал вразнобой возмущённый гомон нескольких мужских голосов и возгласы одного женского: «...я против... нет-нет...»

Человек, сидящий к Мее спиной, пытался всех перекричать:

- Да послушайте же... сокрытие доходов... сепаратизм...

Сидящие лицом к двери возрились на нарядную девушку с роскошным мехом на плече и замолчали – да и было на что посмотреть! Мея же, всё ещё не понимая, что попала не туда, искала близорукими глазами яркую чёрную Полину, но наткнулась взглядом на гигантский одуванчик - пышную седую шевелюру, где она это видела? Да-да, утром на пляже... Так значит, он знаком с Полиной?

А это был Павел Бута он же Паша Седой, и он тоже узнал русалочью девушку, приятельницу карточного манипулятора. Не понимая причин её явления, он, как и все остальные, молча, в изумлении смотрел. Дальше произошло одновременно следующее - сидящий спиной мужчина в наступившей тишине, не рассчитав голоса, рявкнул:

- Ая настаиваю, да и Хозяин согласен – Тучу надо сливать прокуратуре... - именно на этих словах за спиной серебряной сверкающей девушки возник упомянутый Туча (Марк Тучинский) собственной персоной, все выпучили глаза и открыли рты. Говоривший наконец оглянулся и остолбенел. А в дверях в это же время официант вкатывал тележку с напитками и остановился, - путь загораживали мужчина - вылитый Аркадий Райкин и девушка в роскошных мехах...

Мея же стала подозревать что-то неладное и сказала в мёртвой тишине хрустальным голосом:

- Кажется, я не туда попала!... Мне – на банкет...

Официант подскочил:

- Банкет тут рядом, позвольте, я провожу...

Мея, минуя Марка, успела полюбовать-

ся с близкого расстояния, как он с каменным лицом принял позу крайней агрессии – ноги расставлены, подбородок поднят, одна рука в кармане брюк, большой палец наружу, другая рука указующим перстом направлена на всех, - и прогремел его скрипучий от злости, но грозный голос:

- А я вот попал как раз туда, куда надо и, главное, - вовремя!!! - немая сцена...

Официант вёл Мею через холл по диагонали к другому лифту, на ходу удивляясь:

- И как это вы перепутали, в «Корабельном уюте» у нас иллюминаторы, карты морские старинные, глобус-бар, компас, и другие приборы морские всякие, кожаная мебель, коллекция трубок курительных... А в «Коралловой лагуне», где банкет – ну, где день рождения дамы, - там панно морских видов по стенам, коралловый грот, аквариум с рыбками и кораллами, пальмы, потолок - расписан небом с облаками... вот, пришли... - он, откинув портьеру, пропустил Мею вперёд в маленькую панельно-штофную прихожую, распахнул такую же дверь с надписью «Коралловая лагуна»: - Прошу вас...

Мею радостно встретил хор знакомых голосов, Полина приобняла её:

- Как я тебе рада, сейчас Марк придёт, тогда сядем за стол, а пока – аперетивчик... - и подвела её к сервировочному столику, где ей протягивал бокал Саша Серебров.

Мея взяла бокал, уселась на банкетку рядом с аквариумом и уставилась на его разноцветных обитателей. Она не стала говорить Полине, что Марк случайно попал в гадюшник единомышленников и подельников. Сейчас она уже примерно представляла себе весь расклад - передел доходов, борьба авторитетов, сложные отношения с властями, групповщина. И эта случайная встреча заклятых друзей произошла по её вине!? - Нет, полно себя корить! Она просто ошиблась дверью, кто знал, что он пойдёт за ней, это просто случайное совпадение....

Совпадение, случайность, как проявление закономерности, сказал бы философ, - а с какими фатальными последствиями, - Мея даже не представляла.

Скинув палантин на банкетку, она

положила подарок на стоящий рядом «Geschenktisch» (по-немецки - стол для подарков): Полина родилась в Риге и была не чужда европейским обычаям.

Вошёл Марк, и все стали рассаживаться за большой овальный стол, согласно именным карточкам у каждого куверта (Европа!); Марк, отодвигая стул для Меи, наклонился к ней и приложил палец к губам, Мея кивнула.

Начались поздравления, тосты, сплетни, анекдоты - всё как всегда, подумала Мея, - вот Саша встал с бокалом, ещё не открыл рот, а она уже заранее знает, что он скажет; нет, не будет она переезжать в «Приморскую», надоели все!

Напротив неё сидела Люся Крупицина, известный логопед, и её патологически ревнивый муж; вот и сейчас он, злобно шипя «...не приставай к моей жене...», спихивал руку Сереброва со спинки стула своей пышной, румяной, желтоволосой Люси. Ах, да - вот, кстати, Мея же обещала Пейсашкину познакомить его с Люсей на предмет лечения его сына - «немножко гунявого», но очень перспективного будущего модельера.

Зазвучал магнитофон бархатным голосом Джо Дассена, задвигались стулья, гости затанцевали, разбились на группы. Переговорив с Люсей и заручившись разрешением дать её телефон Пейсашкину, Мея подседа к Саше и поведала ему горестное происшествие с очками. Он, сам близорукий очкарик, понял её как никто другой, - ведь он даже не видит дирижёра со сцены и вынужден постоянно считать такты, чтобы вовремя вступить со своей партией в опере, - не петь же Рамсеса и Риголетто в очках!

Они пошли танцевать под медлительного Демиса Русиса, и Сашу вдруг осенило:

- Слушай, у меня двое дымчатых очков, я тебе одолжу одни, здесь ведь заказать невозможно. Правда, они немного послабее твоих - минус 6, расстояние 64, - подойдёт? Не чётко, но будешь видеть. Я же понимаю, что ты бродишь, как в тумане...

-Ой, спасибо тебе большое! Конечно, подойдёт.

- Тогда завтра, - ммм... с утра у меня ре-

петиция, потом дневной концерт в Пицунде... а вот как сделаем - вечером приходи на праздник Симхастойра в ресторан «Приморской», я тебя приглашаю, на входе скажешь – гостя Зильбера. Что ты смотришь удивлённо, я ведь – Зильбер, Серебров - это сценический псевдоним...А Антон когда приедет? Ждёшь сегодня? – Прекрасно, вот и приходите завтра вдвоём...

- Спасибо, обязательно... Тем более, мы уже приглашены неким Пейсашкиным.

Праздник набирал обороты, все дружно прыгали под заводную мелодию «Баккара» - «Sorry, I am a Lady...».

На Мею вдруг накатило чувство острого одиночества и тоска по Антону, вдруг он уже прилетел и ждёт её в номере – она ведь - в расстройстве чувств из-за разбитых очков, даже не оставила ему записки, где её искать. Она подхватила палантин и сумочку и под шумок выскользнула из кабинета, Марк опять заметил промельк её серебряного подола, догнал, проводил на ночную улицу, поймал такси, усадил и только тогда распрощался. Джентльмен!

Ночной Курортный проспект светился огнями, подсвеченные листья платанов отливали золотом (Мея надела обычные очки и всё-всё видела!), в открытое окно машины вело осенней свежестью – конец сентября...

Кутаясь в меха, Мея в состоянии «чётковидения», а потому без приключений добралась до номера – Антона не было. Минуты через три зазвонил телефон – междугородняя... Далёкий голос мужа:

- Ты где ходишь? Я тебе весь вечер названиваю... я из Москвы, из гостиницы, пришлось заехать в Министерство... прости, киска-лапка моя, что задерживаюсь...Ну, не моя же вина, - государева служба... Вырвусь, как только смогу... Целую в затылочек, в шейку, в ямочку над ключицей, соскучился страшно... - связь прервалась....

Ну вот, она тут одна, вся в волнениях, приключениях, вся в истоме – а ну, как к ней в окно залетит Огненный змей, который, по поверьям, прилетает утешать тоскующих по мужу молодых! Она, на ходу раздеваясь, перешагивая через юбку, подошла закрыть окно

на всякий случай... Фу, глупость какая! – какой Змей, - разве что кошка заскочит... Так и той нет...

Лёгкий хмель и сегодняшние тревожные бродили в голове, Мея то задрёмывала, то вздрагивая, просыпалась – ей казалось, что что-то царапается в окно,... да полно, ветка платана, наверное,... она включила прикроватное бра в розовом колпачке,... уткнулась в подушку,... снова накатила дрёма... Вот двухголовый дракон с оранжевой грудью, - или это Огненный змей?... Вот - карты рассыпаются веерами, а из их круговерти вырастает гигантский одуванчик – чья-то лохматая седая голова... Вот Антон как будто рядом, светлорусый, сероглазый, стройная шея, высокие скулы, родной запах...

И – вот уже омут сна без сновидений поглотил Мею...

* * *

А в это время разворачивались последствия внезапного нежелательного появления Марка Тучинского на секретном сепаратном совещании накануне большой ежегодной сходке теневиков, должной состояться завтра вечером в «Пицунде».

В нескольких разных городах и в Сочи дребезжали телефоны, срочно собирались некие группировки, шли сложные переговоры и подковёрные игры, намечались кадровые перестановки. Не один месяц потом эхом отзывалось это событие по городам и весям: Марк Туча тоже был не лыком шит, - двинул свои связи и уцелел, даже утвердился, «слили прокуратуре» кое-кого другого, прошли номенклатурные подвиги, аресты, внезапные смерти в тюремных камерах. А инженеры, сталевары, колхозники и многие другие непричастные - продолжали верить в ценности социализма... хотя некоторые уже начинали сомневаться.

* * *

И в это же позднее время в Сочинском цирке в небольшой гримёрке старый карточный фокусник втолковывал Андрею:

- Ну, ты смотри там, не переборщи с ухаживаниями за мадам Лео, чтобы САМ не заревновал. Значит, на послезавтра назначена игра в номере Лео, договорились – деберц на троих: Лео, Паша Седой и ты... Приглашали Марка Тучу – он весь в делах, не может... Договорились без секундантов и стрелочников, только втроём, ну, как бы пробный шар тебе будет. Ты там особо не фартись - проиграй Лео помалу, Седого прощупай, он левша, но и правой передёргивает ловко... Ну, ты и сам знаешь, что делать... Седой, кстати, тоже в «Камелии» живёт...»

- Да знаю я, видел его там... - буркнул Андрей, отрабатывая ложную тасовку.

- С горничной поговори ненароком, чем он там, в номере заряжен. Хотя, она вряд ли что заметит: у ней глаз на нужное не намётан. А через пару дней по-крупному назначим, Лео в долю возьмём, может быть, в слепую попользуем – после пробной игры видно будет – да и возьмём сазана...

И они ещё долго обговаривали стратегию и тактику игры и строили свои шулерские планы...

* * *

На следующий день поздним утром Мея проснулась в дурном настроении, не торопясь приняла душ, привела себя в порядок. Хорошо, хоть нерегулярные регулы прекратились – можно будет купаться, а кофе можно будет выпить в пляжном баре. Она взяла пляжную сумку и вышла из номера; одновременно с ней из соседнего номер выходила горничная, пятясь задом, катя за шланг пылесос и продолжая елозить насадкой по ковровину в дверном проёме.

- Извините, скажите, пожалуйста, вы не знаете, куда кошка с котятками из моего номера делась? - обратилась к её спине Мея, стараясь перекричать гудение пылесоса.

- Что? - горничная обернулась, выключила пылесос, захлопнула дверь, - «...что вы спрашиваете? Ах, кошка... - и она стала словоохотливо и подробно рассказывать, кто уже забрал домой котят, где обретается гостиничная кошка и как она их рожала. Дверь же

соседнего номера от руки горничной удари-лась о застрявший петлёй на пороге резино-вый шланг, отскочила и приоткрылась на-половину. Мея, слушая про котят, смутно видела гигантский одуванчик в глубине но-мера, - ну да, она узнала - это тот мужчи-на с пышной седой шевелюрой оказался её соседом... А что он там делает? Что-то делает со своей правой рукой, массирует, что ли, от-ряхивает?... А вот как-то дёрнулся и пропал из поля зрения, - из её неверного туманного поля зрения...

- ...а кошка эта очень умная и давно уже при нижнем буфете живёт. У вас сейчас мож-но убираться? - закончила свою сагу горнич-ная и дёрнула шланг.

Дверь бесшумно закрылась прежде, чем её закрыл изнутри Павел Бута, поймавший своим острым глазом рассеянный (а ему по-казалось – пристальный) взгляд русалочьей девушки в большом настенном зеркале своей прихожей.

Да, так получилась, что Мея смутно ви-дела не самого Павла, а его отражение в зеркале, не понимая этого. И делал он что-то не с правой рукой, а с левой. Ну, всем из-вестно – зеркальное отражение, - левое мы видим правым и наоборот. И не массировал он левую руку и не отряхивал, а тренировался с шулерской машинерией, приспособлением, известным как «лестница Джекоба». Штука эта позволяет подавать нужную карту прямо в руку из двойного рукава и гораздо удобнее шулерского кольца с зажимом.

Павел, он же Паша Седой готовился к завтрашней игре, а эту русалку он видел в компании своего будущего партнёра Андрея, да и в «Корабельном уюте» вчера она как-то подозрительно и необъяснимо возникла; и сейчас у его двери обреталась и видела его в зеркале (он, сам остроглазый, полагал, что она поняла про зеркало). И он решил пере-нести «лестницу Джекоба» на правую руку: а вдруг она у Андрея – сигнальщица****. Пере-становка требовала другой рубашки и некой переделки крепежа, чем он и занялся.

Мея же, ни о чём таком и не подозревая, пила кофе в баре на гостиничном пляже как-раз в компании симпатичного ясноглазого

Андрея, который посетовал в разговоре, что море после вчерашнего шторма грязное, и ве-тром полчища медуз нагнало - просто в воду войти противно, и он предложил:

- Можно пойти поплавать в бассейн в «Жемчужину», туда и мой цирковой приятель придёт, потом можно будет в цирк на дневное представление с ним пойти.

- Да я не очень цирк люблю, мне дресси-рованных животных жалко...

- А мы их не станем смотреть, акробатов и силовых жонглёров посмотрим, там мой приятель Ивар выступает, - и уйдём, можем в баре «Театральный» потом посидеть.

«Почему бы и нет», - подумала Мея, - ах, ну когда же, наконец, Антон появится...», В баре появился Пейсашкин, подошёл поздо-роваться, поцеловал Мее пальцы:

- Что, Саломея Александровна, супруг ещё не приехал? Ах, как жаль... Напоминаю вам - вы моя гостыя сегодня вечером, в «При-морской» - весёлый праздник Симхастойра, помните?... за вами зайти - или...?

- Спасибо, Абрам Львович, я не знаю, муж может любым рейсом прилететь, как освободиться, он в Москве, в Министерстве застрял. Да, кстати, я вчера поговорила о вашей прось-бе с логопедом, знаменитой Крупицыной, вот её местный гостиничный и питерский теле-фоны... - она протянула листок с телефона-ми.

Абрам рассыпался в благодарностях, комплиментах и любезностях и в конце сво-ей тирады повторил:

- Так вечером, на входе скажите, что вы гости Пейсашкина,... с супругом или... - он стрельнул своими глазами-маслинами в Ан-дрея, - с приятелем, я вас лично встречу, Мея, за моим столом для вас – почётные места...

Среди цветущих магнолий мелькнула пышная седая шевелюра – гигантский одуван-чик в глазах Меи; она, думая о своём, о деви-чьем – об отсутствующем муже, - медленно пробормотала: - «... а вот мой сосед мелька-ет, вчера в «Корабельном уюте» - тоже ...»

Андрей, проследив её взгляд, промол-вил: - «.. так он ваш сосед, Мея?... да, – замет-ный мужчина, видный, бравый такой,.. седой, но не старый, плавает хорошо. Вчера, я видел,

- под большую волну подныривал...»

- Да? - удивилась Мея, - плавает хорошо? У него, я заметила в приоткрытую дверь, что-то с правой рукой, так, может, - он вчера и повредил, ныряя. Вот и массирует, или мазал чем-то... кажется...

- С правой рукой... - повторил Андрей - ну, наверное, ударило камнями, что в прибое крутятся в шторм... - а сам подумал: «Вот хитрый левша, правую руку заряжает... А как удачно разговор зашёл, однако...».

* * *

Мея с наслаждением плыла в подсвеченной голубой воде бассейна, закрыв глаза, - так возникала иллюзия невесомости, и ей это очень нравилось. Доплыв до края бассейна, она встала в мелкой части, оглянувшись, ища неверным взглядом Андрея, - а вот и он, выходит из мужской раздевалки в компании высокого светловолосого атлета, наверное, встретил приятеля. Мея медленно поплыла в обратную сторону, опять закрыв глаза - дорожка была пуста, и не было риска с кем-либо столкнуться. Вот - снова возникло чувство невесомости, какой кайф!...прохладные струи нежно щекочут кожу... И вдруг левую руку почти ободрало грубое шершавое прикосновение - это она вслепую отклонилась от середины дорожки и наткнулась на толстый колючий канат. От неожиданности Мея окунулась с головой, чего страшно не любила и избегала; глотнув воды, забилась, как пойманная рыбка, отталкиваясь от противного каната,...и... чья-то рука уверенно поддержала и помогла ей выровняться. Проморгавшись и отдышавшись, она увидела близко-близко узкие светлые глаза цвета голубого глетчерного льда и белозубую улыбку незнакомого мужчины, рядом маячила голова Андрея, которая сказала:

- Познакомьтесь Мея, это мой приятель Ивар спас вас от ужасного каната, который вдруг напал на вас...

Ивар, возразил глубоким баритоном: - «...это Мея напала на канат, - она плыла с закрытыми глазами...» - и подал ей руку, помогая встать на лесенку из воды. И сам стал

подниматься по ступенькам близко следом за ней, любясь непередаваемо красивой линией её шеи и стройной спины в низком вырезе чёрного купальника, ему хотелось провести рукой вдоль ложбинки на её спине и дальше, по обтекаемым бёдрам. У неё побежали мурашки по спине - то ли из-за нелепости ситуации с канатом, то ли от его взгляда, - она пока не разобралась. Она сняла затейливую купальную шапочку, - светло-русая недлинная пышная коса упала на плечо, ему хотелось погладить её затылок и шею под косой. Она почувствовала его взгляд, оглянулась - капли воды на гладкой загорелой коже, рельеф мышц, глаза - горячий лёд.

Андрей шёл по борту бассейна рядом и что-то говорил, а эти двое, остро чувствуя друг друга, эти влекущие токи, флюиды, феромоны, - или как это там называется - ни слова не слышали из его болтовни.

Потом они втроём пили кофе с рижским бальзамом в баре при бассейне и Мея, удивляясь себе, разоткровенничалась про «невесомость» на вопрос Ивара, почему она плавает с закрытыми глазами.

- Хотелось бы мне показать вам невесомость... - пробормотал Ивар, и зрачки его расширились; она не вполне поняла, о чём он, но опустила глаза, скрывая непонятное ей самой смущение.

Холодная сдержанная северянка, она с изумлением прислушивалась к своим ощущениям мурашек по спине и по плечам, когда Ивар, подавая креманку с мороженым, случайно коснулся её пальцев. И сейчас вся её воля и знание языка мимики и жестов были направлены на то, чтобы ни проницательный Андрей, ни кажущийся простодушным Ивар не заметили её смятения. И, кажется, ей это пока удавалось...Ах, пускай Антон, наконец появится...

Ивар с трудом отвёл от неё взгляд, взглянул на часы, - пора было в цирк, и они отправились, поймав такси.

Полчаса спустя, Мея с Андреем, сидя на служебных местах, любовались на лихое выступление наездников на прекрасных крутошеих лошадях, потом на арену выбежали акробаты. Мея плохо различала быстрые пе-

ремещения и кульбиты, пронизательный Андрей протянул ей бинокль. Вот – стройный в блестящем трико Ивар с косичкой матадора на затылке взлетает на трапецию, переворот... ах! летит по воздуху... - она плохо в этом разбирается, но здорово, - вот – он мелькает сверкающим вихрем... - «Тройное сальто...» - объясняет Андрей.

Однако, ей нужно в гостиницу, готовится к вечеру в «Приморской». Да и вдруг Антон прилетел,...Ну, хоть бы, хоть бы уже прилетел...

* * *

Вечером вокруг гостиничного комплекса «Пицунда» теснились машины, солидные мужчины и буквально 2-3 невзрачные женщины собирались в отдельном зале на большую ежегодную сходку теневиков. Павел Бута и Марк Тучинский тоже приехали, - порознь, разумеется. Собрание обещало быть бурным и непредсказуемым в результате вчерашнего внезапного явления Марка на предварительной секретной встрече дельцов....

В это же время Андрей с мадам Лео сидели в баре «Театральный», а сам знаменитый иллюзионист в кулуарах цирка разбирался с доставленной наконец аппаратурой, готовил реквизит к началу своих выступлений через день, нервничал, орал на помощников и мечтал о завтрашней игре в деберц – он был заядлым и азартным игроком...

Мея, отдохнув, собиралась на весёлый праздник Симхастойра, наводила красоту и нервничала, что Антона до сих пор нет, и не позвонит даже...

А Антон в гостинице в Москве нервничал, и в сотый раз названивал в междугороднюю, и сотый раз слышал: - линия занята...

Ивар, отработав свой номер на вечернем представлении, в клубном пиджаке и светлых брюках то нервно прохаживался под платанами у входа в «Камелию», то заходил в вестибюль – боялся пропустить Мею. Он ни о чём не думал, что он скажет, как всё получится, он просто хотел её увидеть – и будь, что будет... Он присел на диван в холле, встал, прошёлся до лифта, и... - вот его мощное сердце

пропустило удар: она спускалась по широкой лестнице, светясь и переливаясь шёлковым платьем цвета сизаль. Внешне спокойный и уверенный, он с замиранием сердца подошёл и на последней ступеньке подал ей руку...

Мея, переждав мурашки по спине, по возможности равнодушно взглянула и сказала хрустальным голосом:

- Я в «Приморскую», на праздник...

- Можно я с вами...

- Да...

Он махнул проходящей машине, открыл ей заднюю дверцу, сам сел рядом с водителем. У входа в «Приморскую» Ивар помог ей выйти – у неё закружилась голова,... и вот они у ресторанных дверей, на них табличка «закрытое мероприятие» и дородный страж в униформе рядом.

Мея начала говорить «пароль» - мы гости... – она поколебалась: Зильбера или Пейсашкина назвать, выбрала Зильбера, подумав, что Абрам примет Ивара за мужа, - возникнет неловкость - сразу не скажешь, потом объясняй,... а Саша приятель Антона, поймёт, что тот ещё не приехал и говорить ничего не надо...или надо?... И так – «мы гости Зильбера» – швейцар распахнул дверь с полупоклоном.

Знаменитый полукруглый белоколонный зал ресторана был полон, гремела музыка – «...тумбала-тумбала-гум-балалайка...». Где же тут Саша Серебров, то-есть – Зильбер? А вот и Пейсашкин поспешает навстречу с гостеприимно простёртыми руками: - «Саломея Александровна, счастливы вас приветствовать, ждался вас! А это...» - он вопросительно переводил взгляд с Меи на Ивара и обратно.

- А это мой хороший знакомый – Ивар... - поспешила вставить Мея.

Абрам окинул его оценивающим взглядом, - швед или эстонец? - пожал руку: - «... очень, очень рад знакомству, пойдёмте, дорогие друзья...» – усадил их, сам уселся, познакомил с двумя солидными парами за своим столом, захопотал, наливая рюмки-бокалы, пододвигая закуски и модулируя своим масляным голосом – вам что, Ивар, водочки, коньячка,...Мея, вам мартини, вина? Наконец

он утомился, завязался общий разговор ни о чём.

Кончилась тумбалалайка и заиграли «фрейлакс или весёлый танец семь-сорок...» - как провозгласил с эстрады дирижёр оркестра. Все пошли танцевать. Мея и Ивар остались за столом одни. Он наклонился к ней, его светлые глаза цвета горячего льда были так близко, зрачки расширились и он прошептал: - «...непостижимая девушка Саломея, которая плавает с закрытыми глазами...»

Мея боялась пошевелиться, ...Боже, что это со мной, что за наваждение – подумала она, - что отвечать, что говорить, какие банальности, да и надо ли говорить...

Компания вернулась за стол, оркестр ушёл на перерыв, и Абрам рассказал, что уже дозволился, встретился, познакомился и договорился с очаровательным логопедом Люсей Крупицыной и снова рассыпался в благодарностях.

- Я очень рада, что сумела выполнить вашу просьбу, - вставила Мея, глядя в свой бокал с мартини. Её уже утомила велеречивость Пейсашкина, надо бы переместиться к Саше, подумала она, взглянув искоса на Ивара, тот беседовал с соседом и его визави, - речь шла о спорте, о каком-то судействе.

Из реплик собеседников Мея узнала, что Ивар – мастер спорта по спортивной гимнастике.

Вернулся оркестр и заиграл что-то медленно-танцевальное, Мея и Ивар, взглянув друг на друга, встали и пошли на танцпол, - Мея шла впереди, он - близко за ней, и она чувствовала его всем телом, ...и вот она повернулась, он обнял её и всё у неё внутри облилось мёдом, а ног она вообще не чувствовала, просто плыла в его руках, как в невесомости, и она закрыла глаза... Но тут же опомнилась и открыла их, - на неё ведь смотрит множество людей, среди них могут быть знакомые, - Саша, бдительный Пейсашкин, да мало ли кто ещё... Полина, кажется, мелькнула... А Пейсашкин – вот он рядом со всем, танцует с дебилой дамой в громадных бриллиантах.

Мея собрала всё своё присутствие духа и любезно сказала Пейсашкину: - «Абрам

Львович, вы не обидитесь, - мы подойдём поздороваемся с ещё одним моим другом, - известным певцом Сашей Серебровым-Зильбером...»

- ...Да-да, разумеется, он там, видите, - воон за той колонной его столик...

И они пошли, лавируя между танцующими, Ивар вёл её под руку, оберегая от столкновений, и ей хотелось к нему прижаться; а вот и сам Саша встаёт ей навстречу, сочувствует, что Антон всё ещё не приехал, знакомится с Иваром, знакомит их с друзьями за столом, усаживает. За столом идёт разговор, что, мол, окончательно надоела «Софья Васильевна» (условное обозначение советской власти) и что надо делать «Свал Иваныч» (то-есть - надо сваливать из совдепии) – такой вот еврейско-эзоповский язык. Мея понимающе улыбалась, не вслушиваясь, все свои силы направив на поддержание равнодушно-отрешённого выражения лица и сокрытие нервной дрожи, когда Ивар близко наклонялся к ней, наливая её рюмку или подавая салфетку. А он пользовался этими предложениями чтобы дотронуться до неё и заглянуть в глаза.

Даа-а, из огня да в полымя – от подозрительных взглядов Пейсашкина, да под пристальный взгляд Сереброва! И Мея приняла совсем неприступный вид: сложила руки в замок под подбородком и смотрела в сторону – поза закрытости и недоступности.

Саша вспомнил: «Да, я ведь тебе, Мея, очки принёс, - вот возьми «на поношение».

- «Спасибо, в Питере отдам...» - конец её фразы потонул в возгласе дирижера: «Музыка Бориса Потёмкина, слова аидише-народные», и хор голосов с оркестром грянул на мотив «в нашем доме поселился замечательный сосед»:

*Чудный лес под солнцем
зреет в среднерусской полосе,
Все медведи там евреи,
барсуки - евреи все,
Чудный праздник “Симхастойра”,
бреют пейсы старики,
Все доярки пляшут “фрейлакс”
у излучины реки.*

Пап, пап...папа-ра-па

Мея надела Сашины дымчатые очки, по-

смотрела, как весь зал радостно прыгает и подпевает, разглядела несколько знакомых лиц, Саша с друзьями тоже отплясывал в середине зала.

Они опять остались за столом одни, и Ивар молча, взял её за руку – и всё вокруг поплыло, невзирая на очки... Он, похоже, тоже не замечал ничего вокруг, кроме неё...

Хор продолжал греметь:

*Тетка Двойра варит пиво,
пьянка тут же у ворот,*

*И сбегается счастливый
весь аудешен народ.*

*Ну-ка солнце, ярче брызни,
всюду кипеш, всюду хай,*

*- Мы стремимся к коммунизму! -
шепчет Резник Мордохай, па-па...*

Радостный рёв припева и топот пробились сквозь кокон отрешённости, окруживший их двоих. Мея огляделась: - «...похоже, во всём зале только мы двое здесь русские...»

- ...Я из семьи давно обрусевших шведов... - прошептал он, целуя её ладонь, - может быть, уйдём отсюда...

Она кивнула.

Топот и хор затихли, зазвучало танго, и она снова поплыла в его руках; он, усердно соблюдая допустимое приличиями расстояние, еле сдерживался, чтобы не прижать, не вобрать в себя эту вожденную недотрогу. Она же, стараясь выглядеть равнодушной, нашла в себе силы сказать смотревшему ей вслед Саше: - «...мне надо в гостиницу, наверное, Антон, приехал...», - и у неё запершило в горле от фальши этих слов...

Танцуя, они приблизились к дверям и ускользнули, не оглядываясь.

- ...мне действительно надо в свою гостиницу... - повторила Мея неуверенно, снимая затемнённые Сашины очки, – и так темно, южная ночь вокруг. Озноб гулял по её спине под шелковым шарфом - то ли от холода, то ли от его близости. Они спускались от «Приморской» на набережную по широкой лестнице, она споткнулась на своих шпильках, и он подхватил её на руки: - «...холодная, как русалка-недотрога...» - прошептал ей в прядь волос над ушком.

Слева от средней площадки лестницы сквозь вьющийся виноград светились огни кафешки, Ивар свернул на дорожку и через пару шагов поставил её на порог маленького зальчика, – пластиковые столики, шаткие стульчики, маленькая стойка, раскалённый песок в поддоне, уставленном турками с кофе. Играла тихая музыка – пел Стив Вандер: ...I just call how much I care... (я звоню просто сказать как ты много для меня значишь...)

Они присели в уголке, Ивар показал два пальца человеку за стойкой, тот принёс раскалённый кофе и что-то очень крепкое в рюмках – Чача?... – да

какая разница... Мея залпом выпила, пригубила кофе. Он сидел рядом, положив руку на спинку её стула, они, молча, смотрели друг на друга, о чём можно было говорить? – или рассказывать о себе, начав с раннего детства и дальше строить совместные общие планы или надо просто молчать – примерно так думали они оба, но разными словами.

«Я циркач, малообразованный бродяга гастрольной жизни, могу ли я что-нибудь изменить...» - думал Ивар, целуя её ладонь...

«Я успешная замужняя дама советского истеблишмента, я люблю (люблю ли? – да наверное, люблю!) мужа, свой налаженный быт и работу...» - думала Мея, чувствуя медовую истому и тепло в полукольце его руки... и положила голову ему на плечо...

Магнитофон пел: “Words don’t come easy to me... It’s the only way how to say - I Love ... Words don’t come easy...” - знаменитый хит Смоки. «Как в тему, - подумала Мея, мысленно переводя: слова, не приходите ко мне с лёгкостью, чтобы сказать – я люблю... - как в тему...»

Так что? - курортный роман? Короткая связь впопыхах украдкой: - не сегодня-завтра муж прилетит, банальная интрижка?... нет, нет и нет,... а почему – нет?... - текли вялые мысли в её хмельной голове... Его губы легонько касались её прикрытых век...

Так что? - взять, сломать, залюбить, зацеловать,... а там - будь, что будет?... - так думал Ивар, удивляясь себе...

Strangers in the night – щемящее запел Фрэнк Синатра - странники в ночи...

- Мы – странники в ночи... - сказала Мея и поцеловала его лёгким скользящим поцелуем, - мы странные странники, сторонние-посторонние друг другу странники в ночи...

- Нет! – он прижал её к себе, - нет, не посторонние...- и зашептал ей в ушко бессвязно и горячо что-то непроизносимое, запретное, заповедное...

Они выпили ещё обжигающей чачи, и он на руках снёс её вниз по лестнице к морю, чтобы она не спотыкалась опять на своих шпильках, и они пошли, держась за руки по вечернему променаду меж фланирующей курортной толпы, среди говора, смеха и обрывков музыки. У них оказались общие музыкальные предпочтения - тяжёлый рок и Вагнер. Говорили они о музыке, вспоминали полу запретные рок-фестивали, а думали об одном: ему хотелось снова взять её на руки и унести в ближайшие заросли кустов... Ей хотелось, чтобы он на руках унёс её куда угодно...

Так по набережной он проводил её до

«Камелии»... Она приложила визитку к стеклу двери, ночной швейцар открыл, и, надев Сашины очки, она гордо и независимо мимо сонного портье за стойкой прошла по лестнице к себе в бельэтаж. Он смотрел сквозь стеклянные двери, как она пропала за поворотом лестницы.

В номере, раздеваясь, она смеялась сквозь слёзы, под душем пела: «...странники в ночи...», и перед тем, как лечь, открыла окно – а пусть прилетает Волк-Огненный Змей... И заснула в слезах и улыбаясь, и снилось ей, что она летает над развалинами какого-то города.

* порченный пассажир (шулерской жаргон) – честный, но опытный игрок, распознающий некоторые шулерские приёмы.

** ДПШ – Дом пионеров и школьников

*** котлы (жарг.) – наручные часы

**** сигнальщик – так шулера называют своих помощников

(Окончание следует).



НАТАЛЬЯ ВЕСЕЛОВА

На линии любви

Повесть

...тайна сия велика есть...

Послание св. Ап. Павла к Ефессянам,
гл. 5, ст. 32

Глава 1

Бригантина опускает паруса

Небо напоминало немывтый пол, покрытый вытертым серым линолеумом, по которому метались грязные половые тряпки – тяжелые бесформенные тучи, напитанные холодной колючей водой. Словно чья-то насмешливая рука то и дело крепко отжимала их в возмущенно бурлящую Неву – и тогда тугие струи дождя под напором падали в антрацитовые воды маленькой, но великой реки, размыто отражавшие странный парусник, растерянно шествовавший от Троицкого к Дворцовому мосту. Все алые паруса корабля, теперь мокро-пунцовые от влаги, отчаянно надулись от бокового ветра, отчего судно неумолимо кренилось на левый борт – но все же мучительно шло с поднятыми парусами, стремясь изловчиться назло непогоде и торжественно пройти до моста в подражание знаменитой гриновской бригантине – и в ознаменование тысяч надежд на обязательные подвиги и победы. Просто сильный ветер, вероятно, еще можно было до определенного момента игнорировать – но момент этот настал, когда не пожелавшая и на несколько минут смириться буря наслала такой мощный порыв на все подставленные ей паруса, что корабль на миг почти упал на воду плашмя. Благодаря идеальной остойчивости он сразу подлетел, как ванька-встанька, но дальнейшего риска здравомыслящий капитан допустить уже не мог – и последовала роковая команда спустить паруса... Они стали падать один за другим – и именно в это время среди клубившихся низких туч, похожих на стаю мокрых одичавших крыс, вспыхнули первые разноцветные звезды приветственного салюта. И она все-таки прошла гордо, словно несдавшийся флагман, уцелевший в безнадежном бою, эта потрепанная штормом бригантина с темно-бордовыми валиками вместо обещанных алых парусов, возникшая среди грозового мрака и тьмы в окружении неистового, как боевое пламя, фейерверка...

Если некоторые из выпускников и были втайне суеверны – а суеверны все люди на свете, только многие слишком старательно пытаются это скрывать – то предзнаменования на грядущую взрослую

жизнь виделись им чрезмерно, почти тошнотворно ясными: ну ежу ведь понятно, что одиннадцатиклассникам выпуска 2012 года путь предстоит нелегкий – настолько, что, может, даже придется воевать – но их Бригантина все-таки не утонет и, хотя опустит все свои паруса – но не перевернется, и флаг, главное, флаг останется на месте...

Мокрыми насквозь стали уже все без исключения. Мокрыми, холодными и судорожно веселыми – потому что шампанское в такую погоду не лезло в горло ни одному нормальному человеку – и русские люди обоего пола пили, естественно, водку, в чем привычно следовали им особи всех других российских национальностей, причем, поскольку заказанные для выпускников рестораны с едой пока принадлежали будущему, все они пили, ничем не закусывая – просто «для сугреву».

Лариса принадлежала к числу тех самых записных неудачников, которым за столом всегда достается именно подгорелый кусок, за кем никто никогда не занимает очередь, кто единственный подворачивает в турпоходе ногу, мгновенно становясь обузой для окружающих, и кому, разумеется, и мечтать заказано о том, чтобы вытянуть счастливый билет – как на экзамене, так и в жизни. Нога у Ларисы подвернута еще не была – но это только благодаря редкой благосклонности судьбы: каблук праздничной туфли уже треснул на ровном месте и при каждом шаге предательски отъезжал назад на целый сантиметр. Это можно было бы пережить – блистай она сегодня в своем первом взрослом платье, что гораздо привлекательней и эффектней, чем у кузины Анжелы. На деньги, полученные от родителей на выпускной наряд, та купила себе банальное открытое платье изумрудного цвета (воображала, дура, что и глаза у нее зеленые) в неоправданно дорогом бутике – и теперь горевала о том, что бирка с именем почти приличного кутюрье пришита внутри, и ее никому не видно. Лариса же отправилась в ателье – и не прогадала. Она стала обладательницей эксклюзивного муслинового платья с жемчужно-серой двухслойной юбкой и умопомрачительным лифом, сплошь расшитым стразами... все считали, что от Сваровски и завидовали. Но только в суровых погодных условиях нынешнего выпускного вечера все старания ее пропали втуне: оставаться с открытой спиной и плечами под секу-

щими плетьюми ледяного ливня на сбивающем с ног ветру быстро было решительно невозможно – и пришлось прикрыть драгоценный лиф повседневной серой курткой, а из под нее виднелась лишь мокрая серая же юбка, облепившая сжатые от холода полные ноги. Дрожащая под блеклым зонтиком Лариса напоминала сама себе одну из сегодняшних небесных туч, все никак не желавших прекратить свои безудержные рыдания. Кроме того, Лариса не умела пить водку. То есть – совсем. И сейчас нарочно не пила вместе с другими, чтобы не начать позорно давиться и кашлять у всех на виду – тогда ее начали бы хлопать по спине и снисходительно учить предварительному выдоху. Да пробовала она уже сто раз! Ну, не получается... И вот, прихрамывая и дрожа, с приклеенной улыбкой на мокром лице, она обреченно таскалась по загаженной набережной под непрерывным дождем вместе с кучкой пьяных, упорно резвившихся одноклассников – и больше всего на свете хотела оказаться сейчас дома под теплым одеялом с электронной книгой в руке... А ведь предстояло еще принудительное ресторанное веселье!

Его она кое-как перетерпела, почти не снимая куртки, потому что начался явный озноб – с сопутствующей тупой болью в голове и полным безвкусием во рту... Ну не ест, не ест она курятины! Почему, когда родительский комитет заказывал меню для банкета, никому не пришло в голову поинтересоваться вкусами детей? Зачем ей эта жирная поддельная котлета по-киевски, из которой неаппетитно торчит сломанная птичья кость в бумажном кружевце? Впрочем, есть все рано не хотелось – и как же она позавидовала одной незаметной девочке, позвонившей из туалета своему сговорчивому папе, тотчас явившемуся за дочкой на непрестижной «десятке» и незаметно увезшему ее в их бедный, но добрый уют... Лариса никому не могла позвонить, пока не отвеселится свое отчаянно плясавшая полуголая в изумрудном чудо-туалете Анжела – а уж она-то возьмет все до капельки, будьте уверены! Гуляем – заплачено!

Считалось, что сестренки трогательно дружат, просто жить не могут друг без друга. На самом деле, взаимно испортив друг-другу жизнь с пеленок, они яростно ненавидели одна другую, и каждая была бы искренне рада безвременной кончине сестры, случись вдруг такое несчастье. Все дело в том, что Лариса воспитывалась в семье своей тети по матери – после того, как та пропала без вести в девятнадцать лет, оставив ее, трехмесячную, нагулянную неизвестно от кого, на попечение сестры, у которой во вполне законном и уважаемом браке за два месяца до того родилась очаровашка Анжелочка. Ларисина мама Люба была младшей, беспутной сестрой, рожденной усталой и больной сорокапятилетней женщиной уже после смерти мужа. Бабушка вовсе не собиралась сохранять внезапную, как ОРВИ, беременность, грянувшую на пороге ее раннего кли-

макса, и уже намеревалась привычно расправиться с Любой в районном абортарии, куда после рождения старшей желанной дочери Аллы бегала с узелком не менее десяти раз, сбившись на одиннадцатом и махнув рукой на дальнейший счет. Но скоропостижная смерть мужа от легкого сердечного приступа («Слушай, что-то мне как-то не по себе, прилечь, что ли...» - «Конечно, приляг, только не забудь потом утюг починить...» - и он решил починить его сначала, а уж потом лечь; вероятно, не стоило этого делать) вызвала в ней прилив никогда ранее не свойственной сентиментальности – и беременность была сохранена в память усопшего, никогда не взглянувшего не зачатое им чадо; собственно, из всех зачатых он при жизни сподобился увидеть только одно – старшенькое... С младшеньким же вдовья мама намучилась на старости лет, потому что получилось оно, по единодушному приговору всех членов семьи, определенно беспутным и никаких добрых надежд не подававшим. Девочка Люба училась плохо, в школе ее не ругали только те учителя, что сразу и навсегда поставили на ней жирный «хер», зато помешана была на танцах и с малолетства носилась в какой-то невразумительный танцевальный кружок, мечтая стать профессиональной артисткой-плясуньей. Но дальше выступлений в захудалых Домах культуры и поездок в пригороды Питера с какими-то подозрительными народными танцами ее карьера не продвинулась. Корабелку, куда никчемную Любу из жалости запихнули в начале девяностых по блату, она бросила после первого же курса – и продолжала бесплодно мотаться по лихорадившей стране со своей «танцевальной студией», которую какой-то самозванный продюсер из махинаторов первых лет перестройки мечтал переделать в востребованный и приносящий завидные барыши ансамбль песни и пляски. Может, он и преуспел, как и многие тогда на этом поприще, – но уже без Любы. Та, как и следовало ожидать, однажды, приехав откуда-то издалека, оказалась беременной, причем дурочка клялась и божилась, что скоро познакомит всех со своим замечательным «мужем» и наотрез отказалась от предусмотрительно предложенного старшей сестрой и матерью аборта, все твердя, что у нее какая-то особенная, небывалая любовь, недоступная пониманию никого из ныне живущих... Никакой никем с самого начала и не ожидавшийся муж, разумеется, так и не объявился, и Лариса родилась на свет безотцовщиной на месяц раньше трепетно ожидаемой родителями кузины, получившей волшебное имя Анжела и легкой в розовое белье с рюшами и шелковой вышивкой. Все надеялись, что девятнадцатилетняя Люба хоть теперь вынужденно остепенится – когда прахом пошла ее мечта о профессиональной сцене, а на руках загукала грудная Ларисочка. Так и казалось первые три умильных месяца, но потом юная мать вдруг исчезла из родительского дома, оставив родным возмутительную записку о том, что едет «потому что иначе

нельзя», потом все объяснит, вернется через неделю и просит присмотреть это время за ребенком...

Она не вернулась никогда. В милицию, конечно, заявляли. Но следствие не продвинулось дальше удивительного открытия, что Люба сошла с ТУ-154 в Архангельске – и дальше следы ее потерялись безнадежно. Впрочем, тогда, в девяносто пятом, потерялись не только Любины следы – терялись некогда благополучные города и поселки в полном составе, сотни людей числились без вести пропавшими по всей метавшейся в горячке стране, тысячи трупов ежегодно вытаивали из под черного снега как в глухих оврагах, так и в центре цивилизованных городов... А Любин не нашли. Нет, никто, конечно, не считал ее кукушкой, подбросившей дитя в чужое гнездо и улетевшей к солнцу на широких крыльях: ее трогательная любовь к новорожденной девочке не подлежала никаким крамольным сомнениям. Родные верили, что блудная душа собиралась непременно вернуться домой – но что-то случилось. Что-то, чего никто не хотел называть словами... Все понимали, что Люба уехала к отцу своего ребенка, желая, конечно, пристыдить его, уговорить вернуться – и потерпела поражение. Окончательное поражение потерпела Ларисина мама Люба... Пожилая мать пережила ее ненадолго – потрясение оказалось непереносимым для и без того надорванного сердца, и годовалая Лариса поступила на правах не племянницы, а приемного ребенка в семью своей родной тети Аллы, безжалостно потеснив там круглую и белую кузину Анжелу, вынужденную с того дня делиться с ней всеми родными игрушками, оборчатými платьицами и железными конфетами, а главное – своей ненаглядной мамусей Аллочкой.

В новую семью Лариса прибыла не просто так, а с приданым. Во-первых, с двухкомнатной бабушкиной квартирой, тотчас реквизированной тетей в счет неизбежных будущих издержек – и две маленькие квартирки были благополучно обменены на одну большую четырехкомнатную, дабы сиротка в будущем не дерзнула посягнуть на наследство. Во-вторых, вместе с ней явился и более неприятный довесок – а именно, тетушка семидесяти с лишком лет, старая дева, всю жизнь бесполезной гирей провисевшая на шее своей младшей сестры, Любиной покойной мамы. Эта была уж абсолютно никому не нужна, хоть и суетилась там что-то с ванночками и пеленками, высказывая безнадежно устаревшие сентенции вроде необходимости свивальника не только для прямизны ног ребенка, но и для того, чтоб он не приучался без толку махать руками, что вредно не только для тела, но и для вечной души. Тетушку использовали для мелких поручений – и после вежливо отправляли в самую маленькую комнату в квартире, рассчитывая, что должна же она когда-то освободиться! Рассчитывали неверно: к моменту выпускного вечера девочек их двоюродной бабке Зое исполнилось девяносто лет, она оставалась твердой

на ногах и крепкой телом – зато предсказуемо тронулась головой.

Собственно, это заметили случайно. Обычно не принято было обращать особое внимание на ничем, кроме факта своего существования на земле, не докучавшую семье старуху, пока вдруг в дверь не позвонили чужие люди. На пороге между двумя прямыми и строгими дамами, как ни за что ни про что арестованный между старательными конвоирами, понуро стояла баба Зоя, виновато глядя исподлобья на удивленную племянницу Аллочку, наскоро пытавшуюся осознать тот факт, что девяностолетняя тетка, оказывается, давно уже находилась где-то вне дома и вот теперь была доставлена посторонними по месту проживания... Пока дома считали, что тихая старушка, как всегда, обретается в своей никому не интересной опрятной келейке, куда входить, тем не менее, брезговали из-за явно обоняемого там легкого сладковатого запаха приближающейся смерти, она, как выяснилось, неожиданно предприняла многотрудное одинокое путешествие по родному городу, где закономерно и заблудилась. Две дамы, прогуливаясь по холодку, заинтересовались призрачным существом в дурацкой шляпке, потерянно сидевшим на бортике давно высохшего дворового фонтана и стоически отвечавшим «Не знаю» на все их участливые расспросы. Гуманность победила: у существа была изъята сумочка с паспортом, откуда добрые сямарянки и вычитали домашний адрес... Подвергнутая дома допросу с пристрастием, баба Зоя молчала и там с упорством пытаемой партизанки – и результатом быстрого следствия стал суровый домашний арест, к которому ее приговорили с того же дня, отобрав ключи от квартиры и указав на просторный балкон как на место всех будущих прогулок. Баба Зоя попробовала возражать, обещая, что никогда больше не отлучится никуда, кроме ближайшей церкви, на-сущно ей необходимой – и получила жесткую отповедь племянницы: «Твоя комната и так вся в иконах – молись не хочи. А по улицам тебя искать – это уж уволь, нам не по силам. Добрые люди, чтоб беспмятных стариков домой приводить, каждый день не сыщутся», - и вопрос был закрыт, казалось, навечно. «Это Альцгеймер, - постановлено было вечером на семейном совете. – Теперь глаз да глаз за ней... Вот не было печали!»

- Может – того... определить ее... В платное, чтоб с гуманностью... Она труженик тыла и все такое... Пенсии ее как раз хватит... - робко посоветовал Аллин муж дядя Славик.

- С ума сошел! – трагически вскинулась Алла и метнула в него тяжелое копьё своего фирменного «пронзительного» взгляда, призванного сразу указать собеседнику его незавидное место. – Ведь это же – издевательство! Сбагрить с рук беспомощную старуху... или сироту... Как жить после такого?! Нет, ты мне скажи – как?!

Вот уже шестнадцать с лишним лет приемные

родители Ларисы с особой щепетильностью шерстили свою вечно беспокойную совесть. Взяв к себе в дом обездоленного приемыша-племянницу, они большую часть своей жизни посвятили тому, чтобы доказать всему миру и, прежде всего себе, что незаконнорожденная сиротка не терпит у них никаких притеснений и воспитывается абсолютно наравне с родной дочерью. Никому никаких преимуществ! Все игрушки – общие, лакомства – пополам, наряды... кхм... ну, да, и наряды тоже... хотя Анжелочка такая хорошенькая, что сам Бог велел... Нет, нет, никаких ущемлений слабейшего! Поводов для ненависти у Анжелы и так было бы предостаточно – но с приходом в семью кухни Ларисы она лишилась и главной своей привилегии: материнской ласки. Не способная умиляться чужим неприятным ребенком, свалившимся ей на вовсе не для того подставленные руки, Алла боялась, лаская только свое дитя, сама себе показаться злой мачехой из всех сказок сразу. Поэтому ласки не получила ни одна из девочек и, желая быть строгой с племянницей, тетя невольно оказалась строга и с родной дочерью... Первым дурным чувством, что Анжела познала на земле, стала ревность, быстро переросшая в закономерную ненависть. Лариса тоже невзлюбила двоюродную сестру – за то, что деваться от нее было некуда, и приходилось обирать ее каждый день – да и вообще за то, что семья тети с дядей явно метила в бескорыстные благодетели – а их-то и принято ненавидеть больше всех. Сдали бы в детдом – и никому бы не была обязана, а так не сами – другие в свой срок напомнят о благодарности... И неси ее на горбу до смерти, будь хорошей девочкой...

Мать культивировала в девочках аккуратную и пристойную любовь друг к другу, вменяя ее в тягостную обязанность – и любовь эта сразу бросалась в глаза всем посторонним, как удачно сделанная и с художественной небрежностью брошенная в изящную вазу искусственная роза, почти неотличимая от настоящей. Анжела поддерживала мать с особой злобной готовностью, например, вдруг начиная ни с того ни с сего обнимать и целовать выдирающуюся со сжатыми зубами из объятий двоюродную сестру, картинно закатывая глаза и восклицая: «Как же я тебя люблю, сестренка моя!» - и Алла искренне не видела в этой сцене фальши, радуясь собственным педагогическим успехам. В тот же день в школе, где по литературе проходили пушкинскую «Пиковую даму», Анжела могла начать нетерпеливо подпрыгивать за партой, вертеть некрупной гузкой и стонать, трясая высоко поднятой рукой в сторону учительницы, задавшей классу каверзный вопрос: «Лизавета Ивановна была у старой графини воспитанницей. Кто знает, что это такое?» Спрошенная, Анжела простодушно растолковывала классу: «А это когда бедную сиротку берут из милости на воспитание, как мои мама с папой нашу Ларису...» - она с преувеличенной детскостью хлопала светлыми наивными

ресницами – и Ларисе нечем было крыть эту козырную карту... Она точно знала, что ее воспитывают «как свою родную дочь» - и если не из милости, то ведь не со злости! Так и бабу Зою не сдают же в дом престарелых – потому что порядочные люди так не поступают... «Мы – гуманисты!» - четко определил их жизненную позицию дядя Славик, когда его об этом за столом спросили любопытные гости. За тем же столом сидели Лариса с бабой Зоей – и все гости сразу дружно посмотрели в их сторону, видя в обеих неоспоримое доказательство хозяйского гуманизма. Куда же больше? Вот они – живые: старая и молодая. А без Славика и Аллы давно были бы мертвые...

Баба Зоя под своим домашним арестом горько плакала. Лариса прознала об этом случайно, когда ночью однажды свернула с проторенной дороги в уборную и отправилась на кухню за водой мимо бабызоиной двери – и услышала из-за нее сдавленные старушечьи рыдания. В этом не было для девушки ничего удивительного: по Ларисину мнению, все женщины старше сорока лет должны каждый день оплакивать свою горькую участь: чего хорошего только в лице, постепенно превращающемся в пережаренную котлету, которую наблюдаешь в зеркале минимум два раза в день! Заплачешь тут! А в девяносто! Когда знаешь, что все твои знакомые давно умерли, а сама ты вообще неизвестно для чего тут мыкаешься последние полвека! И Лариса решительно прошла мимо рыдающей двери. На следующую ночь разобрало любопытство, а на третью она все-таки осторожно постучалась и, не дождавшись ответа, вошла.

В эту комнату Лариса заходила редко, ощущая в ней отчетливое неудобство из-за того, что одна стена сплошь была увешана яркими золочеными иконами, с которых укоризненно смотрели на нее похожие друг на друга святые. Их было слишком много, поэтому от их взглядов не всегда получалось полностью абстрагироваться. Никто не удивлялся, что девяностолетняя бабушка верит в Бога, и мешать ей не собиравался, спорить – тем более. Этой темы просто не принято было касаться, потому что на бабу Зою тоже распространялись неотъемлемые права человека со свободой совести в числе самых главных, и она, как и все прочие люди, тоже могла иметь свое исключительное «прайвизи». В то, что человек произошел от обезьяны, в их передовой семье, разумеется, не верили и смеялись над недоумком Дарвином, чья легко разбиваемая теория могла родиться только в темный девятнадцатый век, не имевший представления о науке генетике. Конечно, уверяли родители, без Высшего Разума дело обойтись не могло. И они предлагали девочкам взглянуть на заманчивое звездное небо. «Неужели можно всерьез думать, - восторженно произносила Алла, задрвав голову, - что среди такого несчетного множества миров только наш обитаем? Каким же чванным, самодовольным дураком нужно для этого быть! Как можно не по-

нимать очевидного: земная цивилизация находится в зачаточном состоянии! А сколько там... - следовала интригующая пауза, - цивилизаций, уровень развития которых мы и представить себе не можем! Существ, чей внешний облик даже неподвластен нашему скудному воображению!» Алла работала заместителем заведующей коммерческой аптеки, поэтому особыми гуманитарными знаниями ей в жизни овладеть не пришлось, и она гордилась собственной, как ей казалось, теорией сотворения мира, теорией, в которую мирно и без сопутствующих конфликтов вписывались все основные религии. Она тонко подметила одну их общую особенность: едва ли не все религиозные законы направлены лишь на то, чтобы обеспечить человеку здоровое размножение, а учения о нравственности грамотно подводится под эту же идею, игнорируя практически все другие. Да просто кому-то нужен был качественный биоматериал! – однажды осенила ее небанальная мысль, пришедшая без всякой посторонней помощи. И вокруг этого заботливой выделки материала, необходимого на какие-то научные или другие непостижимые нужды, пять-семь тысяч лет земного времени (сущие пустяки в небесном измерении) и сутились Обладатели Высшего Разума, периодически навещая подопытную Землю и подбрасывая ее обитателям очередные заповеди, по виду новые, а на самом деле – видоизмененные старые, направленные все на ту же благую цель: не прекращать бесперебойное воспроизводство человеческой колонии. Когда опыт закончился, хлопотать перестали, а материал позабыли выкинуть в некое космическое помойное ведро – а может, просто не с руки было залетать именно за этим. Вот и осталось брошенное без присмотра человечество с причудливым наследством в виде многочисленных теперь ненужных ему религий, в которых давно само запуталось, как муха в паутине, но в невежестве своем продолжало цепляться за свои изодранные сети! Вот посмеялись бы те Высшие Ученые (если, конечно, им не чужда такая крайняя и примитивная эмоция, как смех), узнав, что на одном из их забытых лабораторных стекол колония недобитых микробов все еще продолжает истово поклоняться им, воздавать почести их исковерканным изображениям и – мало того! – ожидает от них каких-то будущих милостей! Так считала Алла, ее муж и обе дочери – родная и приемная. А что баба Зоя один из тех упрямых микробов – так это ее личное дело. Не гуманно одним микробам другие прихлопывать...

Обученная уважать чужие свободы, Лариса с полным пониманием отнеслась к тому, что баба Зоя, как выяснилось, уже которую ночь рыдала из-за того, что, заперев дома, ее лишили возможности каждое воскресенье ходить в церковь и совершать там необходимые для душевного спокойствия обряды.

- Это для того, чтобы ты опять не заблудилась, - пояснила ей Лариса, с некоторым смутным отвращением вытирая со сморщенной, как прошлогодний

лист, щеки большую блестящую слезу. – Ведь в следующий раз это может не так хорошо кончиться... А молиться ведь можно и дома...

- Все было совсем не так, как вы думаете, - жалко прошептала старушка. – Просто я не могу объяснить... А молиться... Да, дома, конечно, можно молиться, но причаститься дома нельзя...

Ларисе сразу вспомнился красивый итальянский фильм, где монахиня с мраморным лицом, трагическими бровями и со сложной крахмальной конструкцией на голове смиренно съедала с серебряного блюда из худых рук падре огромную белую таблетку.

- Так давай я тебя в воскресенье туда и обратно отведу! Со мной-то ведь тетя Алла тебя отпустит, я же тебя не потеряю! – от чистого сердца предложила Лариса.

Алла не только отпустила с охотой (роль беспощадной тюремщицы не очень-то подходила тому образу, в котором она себя много лет видела), но и восхитилась очередным доказательством гуманности воспитанницы – качества, почерпнутого, бесспорно, в их образцовой во всех отношениях семье. С той ночи прошло много разных воскресений – и каждое начиналось теперь для Ларисы одинаково: как и все прочие дни недели, она вставала спозаранку по будильнику и, про себя проклиная раз проявленную слабость, бесшумно умывалась-одевалась, боясь нарушить законный воскресный сон остальных беспечных домочадцев, и тащила под руку с девяностолетней старухой на остановку маршрутки, чтоб везти ее в небольшую белую с синей маковкой церковку на окраине. Два часа Ларисе потом некуда было деваться: она скоро выучила наизусть убогий ассортимент всех окрестных магазинов и бутиков, ожидая окончания службы, каждый раз клялась себе, что он-то и станет последним, потом хмуро везла бабушку домой, мысленно подсчитывая понесенные моральные убытки и подбирая жесткие слова отказа от этой бессмысленной повинности – и снова и снова откладывала разговор, не решаясь потушить в глазах бабы Зои всегда после церкви загоравшийся особый трогательно детский огонек. А к лету Лариса смирилась и уж не помышляла больше о малодушном бегстве, однажды додумавшись до того, что не только микроб микроба, а и отверженный отверженного не должен прихлопывать на хрупком лабораторном стеклышке под названием Земля.

Ларисина исключительная неудачливость не пожелала ограничиться официальными рамками детства и поставить жирную точку в виде скверной погоды в выпускную ночь. Подарки судьбы продолжались с такой же неотвратимостью, как движение учительской авторучки вниз вдоль столбика фамилий в журнале в день, когда ты заведомо не выучил нудного урока. Цветные стразы на лифе вечернего платья оказались халтурно пришитыми все на одну худую, тихонько лопнувшую нитку, зато посыпались в ресторане на пол – звонко и весело, как дополни-

тельный мини-залп праздничного салюта – и пьяные девчонки находили забавным с визгом подбрасывать их пригоршнями вверх, причем Ларисе пришлось очень натурально хохотать вместе с ними, чтоб не стать в очередной раз объектом всеобщей жалости... Ей давно, еще с набережной, было не только обраться, снаружи, но и глубоко внутренне холодно, и согреться никак не удавалось, так как водки, наливаемой уже открыто, она по-прежнему не пила, сухое вино, наивно предусмотренное родителями для детского веселья, оказалось противно-кислым, а сок, издевательски доставлявшийся из холодильника, естественно, подавали ледяным. Платье без камней осталось равномерно серым, отсутствие стразов обнажило недобросовестный пошив, пришлось прикрыться влажной курткой, на которой невеста откуда оказалось огромное жирное пятно, и, в довершение программы, Лариса осталась почти совершенно голодной, потому что от котлет по-киевски отчетливо тошнило, в черно-глянцевых, как собачьи носы, маслинах обнаружился крупный косточек, а редкие бутерброды с семгой быстро расхватили более расторопные товарищи. Она неохотно надкусила слишком огромное и пунцовое, чтобы быть вкусным, яблоко, вяло пожевала несколько салатных листьев да ухватила пару тигровых креветок из-под носа зазевавшейся кухни. По спине с самого начала словно бегали противные резвые сороконожки, в мокрых и сохнуть не желавших туфлях давно онемели плотно прижатые друг к другу пальцы, любая пища имела вкус либо ваты, либо резины – на выбор, в голове неразборчиво стучала странная морзянка, тело клонило в тяжелый сон... Потом говорили – да и фотографии бесстрастно подтверждали то же самое – что она, несмотря на потерю разноцветных стекляшек, выглядела очень милой, даже одетая в странную для такого жаркого помещения куртку, а уж какой веселой! – все время заливалась-хохотала в тридцать два зуба!

Кстати, зубов в тот холодный день еще было всего двадцать восемь, четыре остальных, знаменовавших, должно быть, неожиданно пришедшую мудрость, бурно полезли друг за другом почти год спустя, когда Лариса уже приближалась среди финских сосен к окончательному выздоровлению и в полном неведении готовилась совершить изумительное открытие.

Но тогда, бурной от непогоды и веселья ночью, до этого так еще было далеко! А наутро после самого неудачного Ларисинога праздника жизнь ее привычно пошла наперекосяк. Организм не справился с ночными потрясениями, и уже к полудню незадачливая выпускница тряслась в мутном ознобе под грудой одеял, колотилась в громких и гулких приступах кашля, в промежутках умоляя сестру подняться к уже неделю как отсутствующим соседям и попросить их отложить свою варварскую работу с электродрелью на другой день, когда у нее не так чудовищно будут

болеть уши... Участковый врач прописал жаропонижающее, посоветовал дышать паром над горячей картошкой и отбыл с сознанием выполненного долга, пообещав, что через неделю девочка опять начнет бегать.

Этого не случилось и через полгода. Через полгода, когда Анжела ответственно готовилась к своей первой в жизни сессии в ИНЖЭКОНе, Лариса только начала осваивать по-новой медленные самостоятельные передвижения по квартире до кухни и обратно, каждый раз пугаясь в коридоре своего страдальческого, будто стеаринового лица, бесстрастно отражаемого длинным гардеробным зеркалом. «Легкая простудка», диагностированная в июне, переродилось в двустороннее крупозное воспаление легких, на фоне которого как-то всерьез не смотрелся и лечился лишь по ходу дела двусторонний же гнойный отит. На зубы мудрости Лариса теперь получила полное право, потому что как не набраться ее по самое не хочу, когда на полгода погружаешься словно в колючий кошмар, о котором нет даже толковых воспоминаний. Кто же станет смаковать в памяти бесконечные попытки в операционных, где под пронзительным белым светом тебя терзают, распластанную и пригвожденную, серьезные зеленые люди без лиц, или переживать заново мутные ночи без дна и просвета в тесных палатах с высокими серыми потолками, или... Нет, одно воспоминание было терпимым. Это когда в недели коротких передышек между больницами близко перед глазами появлялось доброе старческое лицо в коричневатых пятнышках и с очень белыми зубами в терпеливой улыбке меж узких лиловых губ. Баба Зоя смиренно вливала в больную традиционный теплый говяжий бульон, давила вилкой в тарелке вареную картошку со сливочным маслом, маленькими кусочками подносила ей ко рту паровые тресковые котлеты... В те недели казалось, что болезнь отступает, побежденная, и больше не будет мучительных проколов и отсосов, побледнеют черные кровоподтеки на сгибах локтей, а сон превратится из мрачных темных провалов в радостные цветные острова... Но температура вновь и вновь взлетала к верхним границам, в груди начиналось теплое влажное клокотанье, при каждом вдохе приходила мысль о толченом стекле – и вот уж опять вокруг только чужие лица, и суровая девушка в бирюзовой форме водружает у твоей новой кровати с казенным бельем нескладную металлическую капельницу...

Только к концу декабря до того беспомощно разводящая руками медицина, наконец, осторожно заявила о предполагаемом благополучном исходе этой непонятной затяжной болезни и выпустила семнадцатилетнюю девчонку, потерявшую треть живого веса, но горького опыта набравшуюся вперед лет на пять, из стен больницы окончательно – на волю и усиленное питание.

Радости Анжелы не было предела. Ей, всегда на

месяц младшей, что изменить было, как ей казалось, невозможно никакими силами, теперь предстояло обогнать сестру возрастом на целый год! Открыто проявляя только самое нежное сочувствие больной и лично приготавливая для нее целебные морсы из африканских фруктов, она между делом обещала предоставить осенью будущей первокурснице и свои аккуратные, как примерные дети из хорошей семьи, конспекты, поделиться с ней за год наработанным опытом объегоривания бдительных «преподов», раскрыть маленькие, но необходимые тайны безболезненного вливания в дружное студенческое сообщество... Ведь она уже будет большая – второкурсница! Но Лариса слушала с закрытыми глазами, преступно не проявляя никакой восторженной благодарности.

Анжела знала, торжествуя, что сыплет сестре соль на и без того развороченную рану, но не знала, до какой степени мучает ее – знай она, и радость была бы уж и вовсе неприличной. Все дело в том, что проторенная дорога в ИНЖЭКОН, где уже полтора десятка лет успешно деканствовал дядя Славик, совсем не была любезна страдавшему сердцу Ларисы. Настоящая мечта ее не имела никаких шансов осуществиться, потому что в семье должной поддержки не находила, найти не могла, и, только раз робко озвученная, была признана несколько шокирующей и дурно припахивающей. Лариса хотела стать ветеринарным врачом. Она не любила животных – она была жадно влюблена в них, как иная девочка в самого недоступного парня в классе, и любовь ее подогревалась тем, что в семье даже на сам вопрос о том, чтобы завести дома пушистого (или голого, но теплого) друга, было наложено безоговорочное и непреодолимое табу. От пушистого – шерсть, от голого – запах, а проблемы – от того и от другого. Эти Аллины высказывания в семье не оспаривались, а перспектива «работать в зверинце» для сироты-племянницы, которой перед памятью ее безвременно сгинувшей матери они обязаны дать приличное образование, виделась столь же неприемлемой, как если бы она вознамерилась нигде не учиться вовсе.

Лариса провожала на улице трагическим взглядом любое, даже вовсе не привлекательное четвероногое, с детства охотно пачкала руки о бездомных, почему-то никогда даже не рычавших на нее собак, лечила в опасных для жизни подвалах шелудивых кошек от придуманных болезней, неукоснительно и небрезгливо собирала со стола все объедки, раскладывая их по дороге в школу в местах кучкования бомжующих псинных стай, неумоимо мастерила и строго блюла зимой птичьих кормушки из молочных коробок... Местная колония ворон, регулярно получавших от девочки корки черствого хлеба, приняла коллегиальное решение охранять кормилицу от опасностей, и однажды черно-серые городские интеллектуалы действительно спасли ее от приставаний агрессивного сумасшедшего, который проследил за

хорошенькой девочкой от метро, когда она возвращалась из тайно, как масонская ложа, посещаемого юннатского кружка. Они вдруг грохочущей черной тучей бросились на голову толстому неопрятному дядьке, под равнодушными взглядами быстрых прохожих целенаправленно теснившему растерянную школьницу в сторону чужого темного подъезда, и он едва унес от них свои тонкие кривые ножки, потешно закрывая жирную голову старым коленкорным портфелем... На карманные деньги Лариса неизменно покупала продвинутые зоологические журналы, оставляя на заколки и косметику только самый смехотворный минимум, в гостях у какой-нибудь счастливой обладательницы рыжей морской свинки страстно целовала оторванное от важных дел животное в колючую перепуганную морду, домашних котов одноклассников ценила гораздо выше их неинтересных хозяев, а пуделей-аристократов почитала настолько, что, обращаясь к ним, все время незаметно съезжала на «вы».

Но вот миновало некоторое родительское попустительство ребячьим шалостям, и теперь вполне сознательной обладательнице аттестата зрелости предстояло «не носиться со смешными детскими фантазиями, а сделать ответственный взрослый выбор на всю жизнь, обеспечив себе достойное и уважаемое будущее». Этот неоспоримый семейный постулат засел в Ларисе накрепко, так что даже в спартанских условиях больничных палат, где, внезапно получив возможность заняться непривычным делом созерцания и размышления, иные люди ухитряются перебелить начисто разрозненные листки черновых набросков грядущего, Лариса все равно с неизменной твердостью отвечала на вопросы старших болящих женщин, что специальность себе давно и уверенно выбрала. Она станет экономистом, когда – если – выздоровеет. Есть же решения, которые не принято легкомысленно пересматривать...

В апреле стало невмоготу. Температура упала в последний раз, и заветный серебристый столбик старомодного, но надежного градусника больше никогда не переваливал через красный рубеж тревоги. Сухие шершавые хрипы никто из врачей не слышал в Ларисиных истстрадавших легких, грудь не закладывало, словно ватным одеялом, в ушах не ломило. Позади остались страшные ночные просыпания, когда непонятной влагой заливало дыхательное горло, и девчонка в панике вскидывалась с ощущением наброшенной на горло удавки. В смертном ужасе она бросалась в постели на колени и силилась вдохнуть сквозь пузырящийся хрип, ударяясь лбом в жесткий угол капитальной стены – и сразу слышала рядом тихий властный голос: «Не вдыхай – выдыхай. Со всей силы. Вот так. А теперь – медленный вдох. Не торопись. Давай вместе... Во-от... Молодец... Дыши, дыши... Умница... Все хорошо». Лариса раньше и понятия не имела, что у бабы Зои, никогда не произносившей на ее памяти никаких

слов, кроме самых насущных, да и то всегда с явно различимой извинительной интонацией, мог вдруг появляться такой твердый и повелительный тон, разом прогонявший дикий мохнатый страх, вселяя уверенность в благополучном исходе не то что этого мелкого случайного приступа, но и чего-то другого, неназываемого, но гораздо более важного...

Болезнь отступала уже почти не огрызаясь, но навалилась неподъемная тоска. В Ларисе все никак не появлялось той жадности ко всем проявлениям жизни, свойственной выздоравливающим, не приходила и усталая благодность, когда победивший злую болезнь человек исподволь копит силы для здоровой полнокровной жизни, не роились ни дерзкие планы, ни даже скромные, легко исполнимые желания. Наоборот, при самой невинной попытке заглянуть в ближайшее будущее, ее охватывала странная душевная тошнота. Перед мысленным взором представляла вереница одинаково бессмысленных дней, заполненных неинтересной и не приносящей радости учебой среди вполне предсказуемых сверстников, в свободное время невесело тусующихся в дешевых кафе, где на столе всегда больше демонстративно открытых планшетов, чем тарелок с едой – и это называется дружеским общением, которого нельзя избегать, чтоб не прослыть белой вороной... И нет никакого не достигаемого другим помещения, чтоб уклониться от всего этого тошнотворного копошения, кроме гроба, который уж было избавительно открылся – да на тебе, на дворе двадцать первый век, поднатужились да вылечили! Едва-едва достигший смешного гражданского совершеннолетия ребенок мрачно рассуждал о том, что не дотянувшаяся в этот раз до нее безносая гостья, собственно, никого бы не огорчила, преуспей она в своем замысле утащить за собой Ларису. Все бы сдержанно поплакали на кремации, принимая дружеские соболезнования, очень ясно представляла она, а тетя и кузина непременно приобрели бы себе по такому случаю очаровательные черные шелковые платица, надев их с обязательными нитками одна – серого, другая – розового жемчуга...

И на этом месте потока размышлений Лариса всегда, содрогнувшись, припоминала невероятную женщину, сотрудницу ритуальной службы крематория, чья должностная инструкция вменяла ей в обязанность произносить траурную речь над еще открытым гробом, перед тем, как он торжественно уплывал в пылающую преисподнюю; сей хронически нетрезвый персонаж, одетый по форме в несвежий, дурно пошитый и криво застегнутый черный костюм с худым дешевым галстуком, имел *такое* порочное и прожженное лицо, *настолько* испитый и гундосый голос, что был не просто лишним при прощании даже с безразличным покойником, а метафизически пугал собой, как земным, осязаемым образом адского обитателя. Представить эту без всякого переносного смысла *кикимору* дома, в окруже-

нии детей и родных... Самое интересное, что *можно* было. И виделся паутиной повитый семейный очаг *Бабы-Яги*, с огромным чугуном посередине хромого стола, где дымилась сочная аппетитная человечина. Вот именно эта дама, уже дважды на похоронах дальних родственников увиденная при исполнении служебных обязанностей, и проводила бы Ларису в последний путь, а могила... Да какая там могила – просто крошечная мраморная дощечка с быстро стершейся надписью, скрывающая раз навсегда замурованную урну где-нибудь в самом верхнем, недоступном никаким посещениям и сожалениям ряду городского колумбария, где нашли свои вечные квартиры те, кого никто никогда в этом мире не любил. Может, так и лучше было бы, и правильной?

На семейном совете, состоявшемся без привлечения заинтересованных сторон, Ларисе был поставлен заочный диагноз «депрессия», и решено было, в ее, разумеется, интересах, выдворить выздоравливающую вместе с добровольной няней бабой Зоей открывать дачный сезон на месяц раньше положенного времени, дабы они находились под взаимно полезным присмотром, не огорчая своим наводящим уныние видом никого из бодро настроенных домочадцев. В первых числах мая приехали на дачу всей семьей во вместительном, похожим на добротное крыто «Рено», и Алла с Анжелой азартно вытряхивали во дворе слежавшиеся в холода одеяла, в то время как баба Зоя мрачно резала на веранде водянистые весенние помидоры, а Славик одиночно шаманил над мангалом с наветренной стороны. Вечером баба Зоя на шашлык не вышла, еле слышно уронив: «Страстная», - и, как всегда, была проявлена по отношению к ней похвальная деликатность, выразившаяся в примирительном шепоте Аллы: «Что-то религиозное, девочки, ее дело, не надо настаивать...» - и Анжела понимающе кивнула, не поддержанная на этот раз ко всему равнодушной сестрой.

Только вечером следующего дня, в субботу, заботливо протопив промерзший за зиму бревенчатый дом, стоявший в окружении оранжевых сосен среди северных некрутых дюн в полукилометре от не вполне проснувшегося залива, родственники оставили на даче двух женщин, за которых беспокоиться им было не с руки: одна все равно уже доживала свой незаметный век, а другая только начинала его – и он обещал стать таким же не видным никому и никем в расчет не принимаемым. Но они оказались правы: сразу после их отъезда Лариса почувствовала себя гораздо лучше, чем весь последний месяц в городе, – сказался, верно, с детства всегда бодривший ее здоровый запах залива вперемешку с настоящим на солнечном свете весенним ароматом обновляющейся сосновой хвои. Девочке впервые захотелось медленно гулять и, радуясь по-летнему жаркому майскому дню и почуяв нешуточную свободу, Лариса предприняла рискованно дальнюю прогулку на знакомый берег. Там она долго просидела на теплом

высоком валуне, жалея о том, что не захватила с собой подаренной на совершеннолетие фотокамеры, потому что совсем близко от берега, рукой подать, меж фиолетовых льдин на холодной предзакатной воде спокойно качались перелетные лебеди, целая стая из двадцати двух пунктуально подсчитанных птиц. Грациозно завивая сложными кренделями розоватые шеи, они заботливо чистили твердыми клювами потускневшие в полете перья, а иногда вдруг мощно поднимались, словно вставали, во всю ширь расправляя усталые крылья над гладкой водой, плывшей в лучах темно-оранжевого, как перезрелая хурма, низкого солнца...

Незаметно подкрались вовсе не веселые мысли. После болезни к Ларисе, как и к любому счастливо выздоравливающему, вернулся, наконец, здоровый юношеский аппетит, не зависевший ни от каких интеллигентных депрессий и пубертатных перепадов настроения. Вместе с аппетитом коварно возвращался и утраченный во время болезни естественный вес, вот уже лет пять служивший источником неизбывных мучений. Ибо Лариса была уверена, что неприлично, как молочная корова с упаковки сливочного масла, толста – ведь к шестнадцати годам ее размер достиг неимоверного сорокового! Это при Анжелкином-то тридцать шестом! Единственный стоящий парень, бурно понравившийся ей в десятом, не довел свои ухаживания даже до поцелуя, и причиной тому – так и сказал, не постеснялся! – стала именно ее невозможная полнота. «Неужели трудно похудеть! – злобно шептал он ей во время медленного танца на чьем-то скучном дне рождения. – Сидят же другие девушки на диетах! Почему одна ты такая безвольная, что даже ради любви не способна мобилизоваться! Вчера, когда в кино были, слышал, как два мужика на тебя показывали и смеялись. «Такой крутой парень (это про меня), – говорят, – а бабу себе нормальную найти не мог: жирная, как рождественская индейка...» Думаешь, мне приятно такое слушать?» И Лариса вполне верила ему: конечно же, именно так все и было вчера в кино, и она чувствовала себя отчаянно за это виноватой, и давала под музыку страшные клятвы, что с завтрашнего утра... Но не позже, чем к полудню, одолевая такой невыносимый голод, что, ненавидя и проклиная себя, она неслась на перемене в буфет – и воровато съеденная там горячая сосиска казалась слаще любого самого страстного поцелуя... Болезнь обстругала Ларису размера на два, и, неделю назад вынув тайком из Анжелкиного шкафа ее самую просторную кофточку, она ее даже почти застегнула! Но неделя прошла в отчаянном гастрономическом разврате – и вот она уже с омерзением осызала сегодня утром под ночной рубашкой свои жирные, как у матушки Гусыни из английской песенки, гладкие и упругие бока... Нет, решено: с завтрашнего дня – голод. Окончательный и бесповоротный!

Когда Лариса, вовсе не усталая, как боялась в

начале прогулки, неторопливо вернулась вечером домой, она вдруг столкнулась на веранде с бабой Зоей, вполне одетой и уверенно опиравшейся на свою дагестанскую трость с чудным резным набалдашником. «Сейчас уйдет и потеряется», – быстро подумала девочка, прежде чем бабуля произнесла хоть слово.

- Я еще не могу сегодня просить твоей помощи, – совершенно разумно, без тени «Альцгеймера», сказала старуха. – Но и не пойти в церковь тоже не могу, потому что сегодня ночью – пасхальная служба. Я прекрасно доберусь туда и обратно одна, на маршрутке, а храм стоит прямо у шоссе... – и, поскольку Лариса растерянно молчала, соображая, насколько ответственной окажется она перед тетей Аллой за возможное бабкино навечное исчезновение, то баба Зоя мягко добавила: – Я не заблужусь, не бойся... – и совсем уж едва различимо: – Я и тогда не заблудилась...

В светлом деревянном доме, насквозь пронизанном закатным солнцем и запахом просыпающейся земли, спать в тот вечер Ларисе не хотелось. Невозможно было и запустить очередной фильм из тех, что сотнями были просмотрены и забыты за минувший год и словно слиплись в ее памяти в один огромный мерзко-пестрый ком, не оставивший хоть сколько-нибудь значительного следа. Тогда девочка рассеянно поднялась по узкой боковой лестнице на жаркий под раскаленной крышей чердак – неинтересное, еще во времена детских игр в привидения подробно изученное место, где, тем не менее, в дряхлых картонных коробках кучей свалены были за ненадобностью старые книги – наследство тех дремучих времен, когда люди не знали ни видео, ни Интернета и вынужденно убивали лишнее время за чтением. Раз это, наверное, делала ее мама и, уж точно, родная бабушка, то почему бы и ей, Ларисе, не попробовать почитать какую-нибудь забавную настоящую, не электронную книгу? Ведь находили же люди это интересным раньше! И сейчас некоторые чудики продолжают покупать книги в магазинах, а не скачивать... Ну, хорошо, прочитаешь, а потом вот будут валяться, как эти... То ли дело электронный текст – удалила и все, загружай себе новый... Лариса вытащила несколько книжек наугад, сморщилась: стихи-и! Это – извините... Она порылась еще: «Унесенные ветром», Маргарет Митчелл. Ну да, фильм еще такой был, что-то про войну в Америке – и дамы в кринолинах... или турнирах... Старье... А вот еще пожалуйста, русская фамилия, смешная, будто у инвалида – этого она знает: он написал роман про педофила, как он украл девчонку двенадцати лет; они с Анжелкой набросились было в восьмом классе, думали, там сцены какие-нибудь откровенные, а оказалось – скучища... Но это другая, называется «Дар»... Ну и пошла подальше... Лариса уже отложила ее на угол соседней коробки, когда вдруг заметила, что из середины книги торчит цветной глянцевый уголок.

Фотография. Девочка без особого интереса вытянула ее и поднесла поближе к крошечному чердачному окошку, подставляя под пыльный диагональный луч из самых последних. Лицу сразу стало горячо, потому что в первый миг показалось, что на фотографии – она сама, в джинсовой юбке, каких имела полдюжины, и брезентовой штормовке, которой у нее не было никогда. В следующую секунду Лариса поняла: это ее без вести пропавшая мама по имени Люба, о которой в семье говорили редко и неохотно, что заставляло подозревать какую-то подлежащую раскрытию в дальнем будущем тайну; фотографий от мамы осталось до обидного мало: все, в основном, парадные школьные, в синей форме, а на черно-белых любительских карточках всегда неявно выходило лицо. То, что она похожа на маму не просто как дочь, а почти до полной тождественности, Лариса знала давно и потому стригла под каре гладкие русые волосы, чтобы избежать и без того регулярных сторонних напоминаний о своем горьком сиротстве. Мама же была вынуждена волосы отрачивать и забирать их в высокий жидкий узелок, ведь она танцевала на сцене, а короткие волосы танцовщицы тогда не носили... Все это Лариса снова мгновенно вспомнила, с волнением разглядывая фотокартонку резких, кричащих тонов, где мама стояла на фоне абсолютно ровного, глазом не за что зацепиться, плоского пейзажа, в небольшой группе незнакомых людей, пожив голову на плечо улыбающемуся худенькому парнишке в ушастых кроссовках и такой же точно, как у мамы, выцветшей штормовке. «Дер. Койдино Архангельской обл., - гласила еле видимая карандашная надпись с обратной стороны. – 14 июля 1994 г».

Девочка еще не начала обдумывать увиденное и прочитанное, когда в голове ее, независимо от осознаваемых мыслительных процессов вдруг начался непонятный самостоятельный отсчет – и кто-то сосчитал ровно до девяти. Месяцев. Получилось – 14 апреля 1995 года – именно тот день, когда она семнадцать лет и двадцать дней назад зачем-то родилась на этот неприветливый свет.

Глава 2 В эмиграции

По-дурацки, конечно, получилось. Привели домой посторонние люди. А там племянница уж и рада была заклеить «Альцгеймером». Все произошло совершенно иначе – но кто станет слушать выжившую из ума старуху. В девяносто лет – а Зое именно девяносто исполнилось в начале февраля, чего никто, конечно, не заметил – уже положено ослабеть на голову. А кто не ослабевает – того заставят. Запрут в четырех стенах, ключи от квартиры и карточку с пенсией отберут – и гуляй себе на балконе, как кошка. Впрочем, кошки у них в доме нет. На балкон мож-

но было бы выносить обувную коробку с черепахой, но черепахи тоже нет. Если не считать ее, Зою. В зеркале – совершенно черепашья голова. Очков только не хватает, как у Тортиллы. Смешно, да? Она была с детства безнадежно близорукой – под тридцать пять лет дело уже дошло до минус семи. А с сорока зрение вдруг понеслось в обратную сторону. С возрастом ведь у большинства наступает дальность зрения. Вот и ее организм, устремившись в плюсовую сторону, плавно пришел к единице. К восьмидесяти пяти лет! И стала Зоя читать и вообще жить без очков в свое удовольствие...

Раньше-то с очкариками не церемонились: никаких вам дизайнерских оправ и незаметных линз – стекла с палец толщиной в металлической проволоке. Так всю жизнь и проходила – какие уж там надежды на личное счастье, да еще притом, что драгоценные уцелевшие на войне мужчины оказались в абсолютном меньшинстве, и к каждому стояла очередь из невест на любой вкус. Можно было, конечно, мудро выйти за конченного инвалида, в которых никакого недостатка во второй половине сороковых не ощущалось, – так не одна дурнушка и дурочка свою жизнь благополучно устроила – но Зоя побрезговала. Не очень-то и хотелось... Перед самой войной, правда, было у нее. В смысле – целовались, ничего больше. Насчет больше – на это девушки тогда с оглядкой шли, некоторые до загса вообще ничего не допускали. И она из таких была. Никакой особенной заслуги – просто не горело у нее там, как у многих, которые позволяли себе. А горело бы, так и она б позволила, экое дело. Но она хотела именно замуж – и детей обязательно. Троих, больше не надо. Сначала мальчика, потом девочку, а третьего – все равно кого. Но она от всего этого взяла – и отказалась. Кому сказать, почему... – нет, даже сейчас никому не расскажешь. Решат, что она не к старости с катушек съехала, а всегда такая была... Все дело в том, что жила у Зои кошка. Самая обычная, полосатая, сугубо домашняя. Ничем особым не отличалась, даже мышей ловить не умела. Котенка Зое подарил папа в тот день, когда она впервые пошла в школу. И Мурка выросла у Зои на руках – всю жизнь спала по ночам у хозяйки на подушке, счастливо мурча, стоило только девочке немного пошевелиться. Предана была ей, как собака – даже странно, все кругом удивлялись. Большие они с Зоей стали друзьями... Так вот, жениху в Зое все нравилось, даже с очками ее жуткими он смирился как-то – а вот Мурку терпеть не мог. Она его, кстати, тоже. Как он в комнату – так животное под кровать, ничем не выманишь – хотя он руки не понимал на нее, не было такого. Студент Политеха, приличный парень, родители – инженеры. А вот вбили ему в голову с детства, что кошки – разносчики микробов, а ночью могут перегрызть горло грудному ребенку. Были, мол, такие случаи. Как она ни доказывала в слезах, что это глупые предрассудки – уперся и все тут. «Мама сказала, а она знает». По-

сле свадьбы Зоя должна была переехать к мужу домой без кошки, с гарью занесенной заводской окраины – на таинственную Петроградку, в отдельную квартиру с домработницей. Вся улица по-черному завидовала, лучшая подруга с Зоей из ревности рассорилась. А Зоя как представляла себе, что без нее Мурка будет часами кричать, стоя всеми четырьмя лапами на их общей подушке – так и сердце у нее падало. Все неотступней вспоминалось, как бедняга однажды прокричала целую неделю, когда Зоя лежала с тяжелой корью в Боткинских бараках. С тех пор они не расставались – девушка и животное. Чуть не все Зоины молодые фотографии – с Муркой в обнимку... А когда завидный жених, вежливый и полный свежих молодых идей юноша, появился в их длинной коммунальной комнате, Мурка стала уже совсем старенькая по кошачьему счету – ей незаметно стукнуло двенадцать лет. Чуя возможную разлуку – а может, и близким предательством несло, кто кошачьи нюх проверял! – она и вовсе от Зои отходить перестала, а когда той не было дома – от двери Мурку было не отогнать. И вот теперь – взять и бросить ее, как Мурка и боялась, всю жизнь прожив с этим неотвязным страхом... Зоя не смогла. Месяц прорыдала в подушку... Жених, конечно, оскорблен был до глубины души – еще бы, а кто тут не оскорбится! Походил-походил обиженный, да и женился на другой. На той самой подруге. Осталась Зоя со старой кошкой в обнимку без жениха и подруги – всем на потеху и вечное осуждение... Ну, и что б вы думали? Жертва, конечно, оказалась напрасной: старушка Мурка умерла ровно через месяц после этого. Все знакомые при виде Зои открыто крутили пальцем у виска!

А еще через месяц началась война. В сорок четвертом стало известно, что бывшему жениху родители достали надежную «бронь» и мгновенно эвакуировались с оборонным заводом, где оба работали. Сына и сноху, конечно, забрали с собой – и больше Зоя никогда про них обоих ничего не слышала... Двадцать второго июня по всему городу стояли длинные очереди. Ни в какие не в военкоматы – эта пропагандистская байка была придумана придворными историками много позже. Умные люди кинулись в сберкассы, хорошо зная, что с минуты на минуту поступит приказ об изъятии «излишков» денег у населения на нужды обороны – а уж крепить оборону своими кровными никто не горел желанием. Из сберкасс счастливицы неслись в продовольственные магазины: умудренный опытом Гражданской, народ справедливо ожидал скорого голода. Те, которые в Ленинграде двадцать второго июня сорок первого года проявили патриотизм или просто растерялись, к декабрю поголовно умерли... Зоина мама, к тому времени уже два года как вдовая, не растерялась. Она работала кастеляншей в роддоме, а Зоя, второй раз провалив в финансовый институт, – там же в справочном, поэтому в сберкассе им было

ничего делать, как и в магазинах: сбережений, чтоб запастись едой, в доме сроду не водилось. Единственной драгоценностью немолодой мамы были две дочки-лапушки, восемнадцати и шести лет – и она уже к вечеру первого дня войны приняла единственно верное решение.

Зоя опомнилась вместе с другими согражданами уже утром двадцать третьего – и объявила матери о своем непреклонном решении идти на фронт... Дальше произошло вот что. Мама не торопясь намочила в зеленом эмалированном тазу белое вафельное полотенце. Она спокойно, без ненужного гнева, подошла к дочери и молча изо всех сил хлестнула ее мокрым полотенцем по возбужденному близостью долгожданного подвига лицу. Зоя ахнула. Мама хлестнула ее еще раз. И еще. И еще раз пятнадцать. При этом она своим обычным голосом, ничуть не истеря, размеренно повторяла: «Вот тебе фронт. И вот. И вот. И еще. Нравится? Получи. Вот тебе. Вот. И вот. Еще? Вот еще один фронт. Мало? Получи еще один». В военкомат Зоя благоразумно не пошла. Вместо этого по приказу матери она отправилась к не получившему пока никаких высоких распоряжений к управдому и забронировала их комнату по случаю предстоящего длительного отсутствия. Они не стали дожидаться никакой организованной эвакуации, понимая, что надо не эвакуироваться, а просто и аполитично смыться. Не стали также и увольняться с работы: увольнения по собственному желанию уже год, как запретили, а возиться с официальными разрешениями было недосуг. Зоина мама, простая русская женщина, имела, как и многие из них, глобальное мышление. И предвиденье – не простое, а сопровождавшееся крупными прозрениями и откровениями. И двадцать второго июня она определенно прозрела катастрофу, среди последствий которой никто не вспомнит об их мелком правонарушении. А от катастрофы надо бежать, знала она. Бежать и спасать потомство. Пока оно не получило повестку... Мать и дочери выехали из Ленинграда с двумя чемоданчиками каждая, не сказавшись никому. Они проскочили в те последние часы, когда выезд не успели взять под тотальный контроль, и можно было еще просто пойти и купить билеты на поезд. Что они и сделали. И через две недели оказались на окраине далекого и надежного Свердловска (который если б немцы взяли, то уж точно после Москвы со всем правительством), в маленьком деревянном домике, где доживала старенькая бабушка. Зоя так и не уразумела, чья именно, но это было и неважно... Обе они сумели получить работу раньше, чем Свердловск затопило лавиной эвакуированных со всего Союза, тихую и спокойную работу в больнице, не успевшей пока превратиться в военный госпиталь – сначала санитарками, но скоро Зоя закончила краткосрочные бухгалтерские курсы. Ее незаметно перевели младшим бухгалтером – а мама к тому времени привычно переустроилась кастеляншей же. Младшую с сентя-

бря отправили в первый класс...

Так, милосердно не огрызнувшись, не плюнув в лицо ни огнем, ни морозом, ни кровью, прошла мимо них великая война. Через несколько однообразных десятилетий Зою наградят скромной медалью «Труженик тыла» - и это все, что у нее останется на память о тех смутных годах...

Выжившие ровесницы-подруги Зои после войны непредсказуемо оказались гораздо старше ее. Они либо прошли фронт, где жили год за пять, умывшись не своей, так чужой кровью, и вернулись взрослыми женщинами с погасшими глазами и боевыми медалями, либо уцелели в блокаду, навсегда распрощавшись со здоровьем и пересмотрев бывшие ценности. В любом случае, внешне благополучная Зоя, пересидевшая лихо в Свердловске, была им не компания - ее искренне и просто не замечали, потому что с ней не о чем было говорить, нечего вспомнить. Перенесенные той смехотворные лишения вроде, как им казалось, легкого недостатка вкусной еды и девичьих развлечений, не могли идти ни в какое сравнение с черным голодом, пережитым ими, с частыми потерями неделю по земному времени знакомых, но навечно близких людей, не восполнимыми никаким слишком дорого давшимся миром...

С тех пор Зоина жизнь постепенно ушла внутрь. Снаружи осталась только неизменная и уже неизменяемая бухгалтерия - снова в Ленинграде, на сей раз не в больнице, а в восьмилетней школе на Васильевском острове - и шестнадцатиметровая комната в неуклонно вымиравшей коммунальной квартире. Мама успела до смерти не только поднять Зоину сестру до совершеннолетия и дожидаться окончания тоу института пищевой промышленности, но и погулять на свадьбе младшей дочери. Желанных внуков она, правда, увидеть не сподобилась, и нянчить сестринных девочек Аллу и Любу, у которых разница тоже вышла в двенадцать лет, пришлось безнадежной Зое - к тому времени давно неприметно перешедшей все возможные рубежи и законно числившейся в старых девах. Когда в начале восьмидесятых семья переезжала в новую квартиру, Зою некуда было девать как данность, и ее увезли с собой в качестве довеска - наравне с унылой канарейкиной клеткой и расписным горшком с полосатой традесканцией...

Однажды лукавая судьба подкинула ей роман Мопассана с незамысловатым названием «Жизнь». И то сказать - какая интеллигентная дамочка над ним не плакала! Да и в предисловии без обиняков поясняли для неразумных, что книга - «о безжалостно загубленной жизни молодой женщины». Зоя прочитала два раза - да какого же черта!!! Что это за загубленная жизнь, когда все в ней было, как надо: свежая влюбленность, вполне достойная свадьба с последующим романтическим путешествием на Корсику, обожаемый ребенок, экстагическое материнство! В мужья попался сукин сын, а собственное дитяtko, повзрослев, сбежало из дома? Экая беда:

пять копеек пучок такие неприятности стоят в самый удачный базарный день... Вот у кого в романе жизнь действительно оказалась загублена - так это у тети Лизон, парой точных штрихов описанной мастером как пустое место... Точно такое же, как и она сама, баба Зоя... Несколько лет она не называла сама себя иначе как «Лизон» - не вслух, разумеется, зачем лишние вопросы... Но те годы положили начало сложному и по первости самой Зоей не осознанному духовному процессу, растянувшемуся на десятилетия, и лишь многие годы спустя определенному ею как внутренняя эмиграция. Эта эмиграция незаметно увела ее гораздо дальше, чем бравировавших тем же красивым словосочетанием с жиру бесившихся диссидентов - потому что они эмигрировали лишь незрелым умом и слепыми растленными душами, не желавшими видеть в России ничего большего, чем ее трагическое несоответствие образу свободной страны в свободном мире. В отличие от них, Зоя случайно эмигрировала в область духа, где цепи накладываются совершенно добровольно, и со временем именно они становятся символом свободы - и залогом ее в неназываемом будущем. Неназываемом, потому что посмертном, которое, даже при всех неоспоримых доказательствах своего существования, все равно является вопросом веры, а стало быть, его вполне может и вовсе не оказаться... Как ни крути - а по-настоящему оттуда еще никто не возвращался. Кроме Лазаря Четверодневного - но его уже не спросишь. А когда еще можно было спросить, он все равно никому ничего не рассказывал. Но зато достоверно известно, что никогда не улыбался...

Зоя крестилась в семьдесят два года, приведенная для этого за руку своей бывшей одноклассницей, утраченной в сороковом году по причине ссылки в качестве «религиозников» обоих родителей, за которыми, как оказалось, благоразумно последовала и сама - пока не сослали в другую, еще более дальнюю сторону и не лишили тех иллюзорных гражданских прав, что к тому моменту еще оставались. Обрелась обратно она лишь через пятьдесят пять лет - причем настолько похожей на себя прежнюю, что Зоя мгновенно узнала в чуть-чуть подсохшей, чуть-чуть выцветшей, чуть-чуть полинявшей - всего по чуть-чуть - моложавой пожилой женщине давнюю, наглухо забытую Кирку Богданову, умницу и стройняшку, обладательницу небывалой длины и густоты черных, как вакса, ресниц, в которых тонули контрастно светлые, прозрачно-голубые глазищи. Ресницы поредели, как буйная шевелюра у иного мужика, а глаза не изменились вовсе... Зоя негаданно набрела на нее во дворе небольшой городской церквушки, внутрь которой заходить не собиралась, придя лишь по давней, атавистически соблюдаемой традиции освятить десяток луком крашенных яиц и пару скромных магазинных куличиков...

Французских и английских романов девятнадцатого века, без которых со школы не могла жить, Зоя с

тех пор больше не читала. Без всякого сожаления перепрыгнув все художественные книги, написанные по обе стороны железного занавеса в железном же двадцатом веке, она восемнадцать лет читала только те, что дарила или рекомендовала ей воцерковленная Кирка, искренне не замечая, как явно и часто противоречат друг другу писания не только сомнительных современных духоведов, но даже творения признанных и, вроде, греховному обсуждению не подлежащих великих Отцов. Само же Евангелие долгое время Зоя могла осилить только адаптированное для детской воскресной школы... С Киркой, еще при Советах тайно принявшей постриг и ставшей своего рода Зоиним Вергилием – сравнение не очень передавало самую суть их отношений, но напрашивалось само собой – они почти не разлучались все эти годы, бесконечно разъезжая вместе по новым церковным знакомым, посещая дальние сплоченные приходы с таинственными, скромно носящими неярные нимбы прижизненной святости пастырями во главе, отстаивая длинные, мучительно-дивные монастырские службы.

Новым рубежом стала быстрая и блаженная Киркина смерть в самом конце девятого десятка. После Литургии на Валаамском подворье их обеих – и еще четырех причастниц преклонного возраста пригласила к себе обедать местная свечница лет семидесяти пяти, сущая для них девчонка. Она рассталась из уважения к их возрасту: к чаю подан был невероятно душистый клубничный пирог, отведав которого и отодвинув пустые чашки, все поднялись на благодарственную молитву. Пропели – и дружно сотворили поклон, но из семи умиленных трапезниц восклонилося только шесть. Кира упала вниз лицом прямо из поясного поклона, и, когда старушки наперегонки подсеменили к ней вокруг большого овального стола, она уже не дышала...

До того момента Зоя из последних сил гнала от себя мысли о неизбежной скорой смерти. Не дура – и читала, и видела, и размышляла о посмертии – чисто умозрительно. О своем загадывала – тоже с оттенком недоверия. Кроме того, начитавшись о воздушных мытарствах всех, кто не поленился потом рассказать о них интересующимся смертным, Зоя твердо усвоила себе одну очевидную закономерность. Регулярные и очень основательные поставки грешников на соответствующие круги ада осуществлялись, в основном, именно мытарством блуда, располагавшимся обидно высоко: обреченный аду грешник, с горем пополам отбившись от разочарованных бесов на многочисленных предшествующих ступенях, уже обнадеженно взиравший на близкие райские врата, все-таки гремел вниз с головокружительной высоты, когда на восемнадцатом мытарстве выяснялась его дремучая блудная сущность. Никаких добрых дел и полезных свершений, растраченных на предыдущие малозначительные стражи, уже не оставалось в его похudevшем кошельке, чтобы расплатиться за

проход именно через эту, почти для всех абсолютно непроходимую, как тряси́на... Так вот, добрыми поступками, достаточными на семнадцать мытарств, Зоя запаслась с лихвой, а на мытарстве блуда ей ничто не грозило: прожив свою жизнь почти безупречной девственницей (в поцелуях, безответственно допущенных с несостоявшимся женихом, она благоразумно раскаялась еще на самой первой своей исповеди и, следовательно, стерла их из бесовских хартий), она могла надеяться пройти через блудное мытарство с высоко поднятой головой, чуть ли не поплеывая в сторону падших ангелов, окопавшихся там. Два оставшихся – содомское и колдовское – и вовсе ее коснуться не могли, поэтому в тайне ото всех – но не от себя самой – Зоя иногда дерзала надеяться... Тем более, что пенсионные деньги с карточки ежемесячно снимала, излишки переводила в басурманскую валюту и складывала в самый надежный банк в мире – собственный коленкоровый чемодан с четырьмя железными уголками, имевший незаметную дырку в клетчатой подкладке... Это и были ее заветные «гробовые». Вместе с ними Зоя поместила обстоятельное письмо племяннице Алле, подробно расписав в нем, где следует на эти деньги ее отпевать (предпочла Владимирскую церковь, ибо очень любила синеглазого Нерукотворного Спаса), на каком кладбище хоронить (на Богословском, в ограду к матери и младшей сестре), и как поминать ее умеренно грешную душу (сочла достаточным сразу заказать сорокоуст, на девятый и сороковой день потребовала по панихиде, а после обязала родных лишь ежегодно обновлять ей «золотой пояс» - годовое поминовение, хорошо понимая, что в церковь Алла заходит разве что случайно, и поэтому ожиданием частых проскомидий не следует ей на том свете слишком уж обольщаться). Вполне пристойную сумму, которая должна была остаться после всех вышеописанных трат, Зоя справедливо делила между двумя внучатыми племянницами, Анжелой и Ларисой, считая, что уж на свадебное-то платье каждой с избытком хватит – старых дев нынче не бывает, кончилось их, горемычных, время... Все это Зоя сделала по примеру точно так же поступившей Киры, что тоже полвека, после своего возвращения в Ленинград (с добровольной ссылкой она не ошиблась, так никогда и не получив ни «по зубам», ни «по рогам») мыкалась смиренной приживалкой в семье дальних вполне интеллигентных родственников. Но, в принципе, и на рубеже девяностолетнего юбилея возможность близкой смерти парадоксально не представлялась Зое чересчур реальной. Выживаемостью она обладала несокрушимой от рождения, словно, когда-то втихомолку откусив по немалому куску от здоровья рановато ушедших матери и сестры и спокойно присоединив их к своему никому не интересному стародевичьему веку, ничтоже сумняшеся доживала за них обеих. Давление под сто сорок Зоя и в восемьдесят девять лет считала для себя высоким и хваталась за

таблетки, сердце работало, как исправный электронасос, а некоторую утреннюю скованность в суставах пока игнорировала, зная, что на это же каждый день жалуется ее сорокавосемилетняя племянница своему мужу-ровеснику, который вообще – одна сплошная болячка. Зоя намеревалась жить на земле долго-долго и по мытарствам отправиться еще очень нескоро, во всяком случае, сто лет твердо намеревалась осилить – а там видно будет...

Мгновенная и безболезненная смерть такой же крепкой и полной планов подружки стала для Зои страшным и потрясающим откровением, а похороны, на которые она, осознавая свое право, явилась без приглашения, стали воплощением ужаса. В крошечном пыльном микроавтобусе, нанятом для перевозки простого соснового гроба, грубо обтянутого ненавистным покойной кумачом, кроме Зои, сидели только Кирины родственники – очень занятые муж с женой – громко обсуждавшие в поездке неотложные дела, никак не связанные со скорбным текущим днем или воспоминаниями об усопшей. Микроавтобус летел по объездной дороге со скоростью гоночного автомобиля, порой закладывая опасные крутые виражи, так что сидевшая прямо у гроба Зоя иногда слышала, как внутри него Кирино тело глухо стучалось о стенки. Она поздно поняла, что едут они ни на какое не на Северное кладбище, как завещала покойница, непременно хотевшая быть похороненной рядом со своей грудной от скарлатины умершей дочкой в мягкую желтую землю, а мчатся напрямик в крематорий, не намереваясь заворачивать по дороге даже в самую захолустную церковь. Микроавтобус подъехал не к центральному, так сказать, парадному подъезду, откуда гробы обычно с помпой несли в ритуальные залы, а куда-то на задворки, к обшарпанной, железом обитой двери. Оказалось, это вход для «неторжественных» - и гроб был споро погружен на грохочущую медицинскую каталку. Двое тружеников в спецовках привычно пробубнили что-то о срочной необходимости «помянуть» почившую – и деловая родственница Киры брезгливо сунула в кулак старшему смятую бумажку. Гроб исчез за мгновенно герметично закрывшейся дверью, а polegавшая машина рванула в обратный путь...

Зоя опомнилась и закричала, только когда они медленно ехали где-то среди одинаковых новостроек, и то лишь потому, что муж деловой дамы вдруг выпрямился, застегнул добротную коричневую дубленку, обернулся к молчаливой старушке и вежливо спросил: «Вас у какого метро высадить?» Она давно привыкла перемалчивать любые несправедливости, творившиеся по-соседству, просто потому, что ее настоящая жизнь – то одна, то другая – никогда не имела к ним отношения. Никто ведь не мог, в конце концов, отнять у нее утренние прогулки среди снегириных аллей, любимые книги, жадно читаемые с юности, холодный закат над близким заливом, в светлые дни ясно видимый из окна... А тут не умолчала.

- Ироды! – хрипло взревела она, инстинктивно чуя, что это имя собственное последние веков двадцать – оскорбление пострашнее, чем причисление к банальным мерзавцам. – За что ж вы человека даже нормальных похорон лишили?! Почему даже не отпели, будто она последний нехристь?! Ладно бы дорого – да я же ведь знаю, что она деньги вам оставила – и немалые! Как руки-то поднялись – у покойницы гробовые воровать! Неужели не боитесь, что самих когда-нибудь вот так вот... с черного хода...

Супруги вовсе не удивленно, а с выражением «Так мы и думали, что без идиотизма не обойдется» переглянулись.

- Бабуля... - устало выдохнула женщина. – Бабулечка... У меня ученый совет через сорок минут, а еще по городу через все пробки тащиться... Ну как вам объяснить, что мертвым это уже все равно, а живым бы со своими проблемами справиться... Давайте по-хорошему, а? Вон метро впереди - видите букву «М» - вот и идите себе тихонечко...

Зоя осеклась и быстро посмотрела на женщину: та действительно выглядела очень усталой и вообще не здесь присутствующей, а отлетевшей очень далеко, дальше, чем даже сама считала; на одутловатом лице под толстым слоем жирного грима угадывались темные старческие пятна, пока подвластные маскировке, но грозившие скоро выйти из-под контроля и усыпать собой всю дряблую кожу... И вдруг Зое на несколько секунд стало жутко: она отчетливо увидела на этой беспросветно загринтованной маске явно проступивший оскал близкой смерти, словно кто-то живой и всезнающий глянул *изнутри* этой жалкой женщины сквозь тусклые глаза, как сквозь немые окна... Зоя вышла не попрощавшись – до какого «свидания», собственно, они расставались, глупо же! – но с той минуты смертный ужас больше ее не покидал.

Он свернулся в ее душе длинным толстым змеем, почти осязаемым, особенно когда шевелился – а шевелился он по малейшему поводу. Так, наверное, чувствует себя счастливый обладатель взрослого солитера, в минуты, когда тот устраивается в гостеприимной утробе поудобнее, чтобы надежней присосаться к вкусной стенке хозяйской кишки... Зоя никогда раньше не пыталась разыскивать у себя ранние признаки рака, этого авансом засылаемого смертью искусного лазутчика, которого уже не перехитришь. А теперь вот придирчиво ощупывала под рубашкой свои сухие холодные груди, превратившиеся в чахлые морщинистые мешочки, ни разу не выполнившие извечного предназначения и оттого обреченные, быть может, стать очагом убийственной опухоли – и мерещились, мерещились тут и там твердые бугристые узелки. Зоя стала мучительно прислушиваться к тембру собственного голоса, отчего-то вдруг убоявшись, что рак заползет через горло и попросту придушит однажды, и иногда ей казалось, что голос уже огрубел до мужского, и

даже стоит у трахеи шершавый комок... По ночам она сама себе ощупывала живот и бока, каждый раз натываясь, конечно, на непонятные лишние органы в неположенных местах, а утром мчалась в церковь заказывать молебен о собственном здравии... Ничто не помогало. Ей никогда не дожить до ста лет, и ее так же, как Киру, сдадут в длинной корявой коробке на милость страшных мужиков в спецовках, которые небрежливо сорвут с нее парадное коричневое шелковое платье... Парадное? Коричневое? Черта с два! – в морг наскоро отнесут первое попавшееся... Ну и хорошо, первое попавшееся не сорвут, потому что его не сдать во всеядный сэконд-хэнд, но ведь из гроба все равно выкинут, чтоб пустить его в оборот по второму и третьему кругу – и отправится она вверх тормашками в белый всепожирающий пламень, сначала местного значения, а потом... Да, потом в вечный – и именно с того самого мытарства блуда...

Вменится ли ей? На всю жизнь она запомнила равномерное хлопанье приоткрытой форточки, за которой стояла неподвижная и безмолвная белая ночь. Ее единственная ночь с мужчиной. Заповедная ночь, о которой нечего рассказать, потому что и она прошла – внутри...

В тот день маленький коллектив их бухгалтерии – и секретарь директора в качестве необходимого приложения – был в полном составе приглашен домой к молодому главбуху по случаю ловко выбитой им крупной премии, милостиво спущенной с недосягаемого «верха». Как в других коллективах на вечеринки приглашают сотрудников мужеска пола «с женами», так в их случае хозяину пришлось пригласить всех дам «с мужьями» – иначе уж очень явно возникала ассоциация с отдыхающим от государственных дел султаном в гареме или, в крайнем случае, попросту с деревенским петухом. Мужа не оказалось только у Зои, и, когда она поняла, что одна пришла без пары (почему-то ей думалось, что молоденькая секретарша тоже не замужем), retirроваться было поздно: в желтом шерстяном платье выше колена и без рукавов, с сочными янтарными бусами, такими аппетитными на вид, что их хотелось съесть, высоко начесанной «бабеттой» и экстравагантными черными «стрелками» на веках, наведенными дома умелой сестрой, она уже сидела на модной низкой тахте, независимо положив ногу на ногу, с бокалом светлого вина в напряженной руке. Чувствовала себя сорокатрехлетняя Зоя весьма глупо: вечеринки такого рода всегда были, что называется «не для нее», но не пойти в очередной раз означало снова стать объектом скользких бабьих пересудов, вечно клеймивших ее то зазнайкой, то гордячкой. Получалось, что она сама собой попала в партнерши хозяину дома – их снисходительному начальнику, у которого жена с двумя дочками была заблаговременно отправлена на дачу и на свою долю от мужниной премии, кажется, уже не могла рассчитывать. Но у Зои имелась в тот вечер личная крупная неприятность: обутая в очаро-

вательные кремовые «лодочки» с узкими носами и на невысокой шпильке, она чувствовала себя жестоко оскорбленной. Дефицитные туфли, выброшенные в «Пассаже» в маленький отдел с противоположной от Невского стороны, за которыми она простояла пять жарких часов в оживленной очереди, прошившей универмаг насквозь, достались ей на размер меньше, чем требовалось для счастья. Ее ходовой тридцать седьмой закончился обидно близко перед Зоей: она вздрагивала всякий раз, когда очередную лаковую коробку снимали по требованию счастливой покупательницы с вершины уже самой низкой пирамидки у чернильной цифры «37» – и драгоценных коробок долго оставалось всего две, что позволяло надеяться на неслыханную удачу. Увы! Стоявшая на четыре дамы впереди самоуверенная девушка с грубым лицом, которому совсем не подходили такие волшебные туфельки, купила сразу две пары – и обе тридцать седьмого размера, буркнув продавщице, что берет для сестры-близняшки... Едва не заплакавшая Зоя ясно представила себе этих двух уродин, бойко цокающих тонкими шпильками, унижая их хрупкую прелесть своими обязательно кривыми и волосатыми ногами... Да в калошах таким ходить, в калошах! Словно загипнотизированная, она не смогла уйти прямо от прилавка, достигнутого с таким трудом, и купила пару туфель тридцать шестого размера, заведомо тесных, недружелюбно стиснувших и без того распухшие от долгого стояния ноги – и опомнилась уже у выхода на Невский. Конечно же, надо было брать на размер не меньше, а больше, стельку положить – и порядок! – Зоя кинулась назад бегом с целью срочно обменять покупку – и как раз успела увидеть, как пробивали чек на последнюю пару тридцать восьмого... Она ушла убитая: растянуть туфли до вечера, даже если налить в них водки и ходить так целый день, не получится... Убитая же и сидела на тахте, отвергая соблазнительные приглашения потанцевать, как назло, посыпавшиеся на нее в этот вечер со всех сторон, словно компенсируя недостаток, с юности наблюдавшийся у нее в этой области... Горько переживала и не заметила, как гости отвеселились и ушли по-английски, оставив ее, привычно таинственную, в качестве законной ночной добычи радушного хозяина.

Не говоря ни слова, он принес из ванной белоснежный тазик с теплой водой. Так же молча он снял с ее отяжелевших ступней одну кремовую туфлю, а за ней другую – и маленькие ступни вдруг словно расправились, как вольные тюленьи лапы, когда он бережно опустил ее ноги в зеленоватую мыльную воду. Он стоял на коленях перед тазиком, сосредоточенно склонив над ним голову, Зоя видела темный плотно стриженный затылок и металлические полукольца очков за беззащитными ушами, хотела и не смела прикоснуться рукой к его голове, инстинктивно чувствуя, что это было бы очень ответственным прикосновением. Мужчина мыл и массирует ей ноги

без слов – неторопливо намыливал каждый пальчик, осторожно разминал натруженные подушечки стоп и мягкие еще пятки, а старая удивленная девушка, застыла, не зная, надо ли вырываться или просто замереть от блаженства и ждать, что будет. Она неотрывно, словно жизнь от этого зависела, смотрела на маленькую высокую форточку, что размеренно ударялась о раму застрявшей задвижкой – с приглушенным стуком, остро вспоминаясь в ночи и через сорок семь лет, и в те минуты уже знала, что именно так и будет его помнить... А чужой родной человек бесшумно отставил таз с водой в сторону и принялся, не вставая с колен, вытирать ей ноги чистейшим вафельным полотенцем, точь-в-точь таким же, каким за четверть века до той ночи мать крепко отходила ее по лицу – и это тоже сразу вспомнилось, но уже без обиды, словно смытой его бережными руками... Он так ничего и не сказал, и она молчала, как окаменевшая. Туфли надевать обратно было трудно и жалко, даже неудобно немножко перед собственными ногами, только что так возмутительно разнеженными и, вот опять безжалостно загоняемыми в темную тесную тюрьму – и Зоя сделала это сама, пока мужчина, виновато поднявшись с колен, ушел ловить для нее раннее сонное такси...

Надо было об этом говорить на исповеди? И если надо, то как? Или оставить до блудного мытарства – и пусть там спорят падшие ангелы с непадшими, страшный ли это грех, когда чужой мужчина в пустой квартире белой ночью моет тебе настрадавшиеся ноги, - пусть они спорят там об этом подольше, пусть – а она постоит в сторонке и еще раз, последний, вспомнит ту ночь, перед тем, как заставят напиться из горьких вод Леты и сотрут это воспоминание – вместе с другими ненужными и суетными... Ведь туда, куда ушла успевшая указать путь подруга, не войдет ничто сомнительное или пустое... А может, наоборот, именно такие ночи имеют право доступа в жизнь будущего века, а вовсе не те, когда невольно зачинают в законном и неосужденном браке нежеланных детей?

Настал день, когда через сорок семь лет Зоя однажды решила вновь отыскать тот дом, где больше ни разу с тех пор не была и адреса его не знала, помня только, что стоял он где-то между Гоголем и Герценом, а форточка, без всякого сквозняка стучавшая в ту вечную белую ночь, располагалась на втором этаже. Что это теперь Большая и Малая Морские, Зоя прекрасно помнила и в этом отношении не растерялась. Сорок семь лет назад раз навсегда вымытые ноги уверенно несли ее по, как выяснилось, не забытому пути, и она почти не сомневалась, что вот сейчас поднимет голову, а там... И форточка по-прежнему хлопает, и, если подняться в квартиру, то за тюлевой шторой и белая ночь все та же – вот только теперь они уже не станут молчать... Зоя храбро подняла голову.

Перед ней оказалась станция метро «Адмирал-

тейская». Зое стало ясно, что все-таки случилась ошибка, ее понесло в сторону вместе с толпой, она вырвалась и устремилась обратно, потом вдруг оказалась на улице Дзержинского, обернувшись Горюхой из каких-то давних стихов Чуковского; совершенно сбита с толку, она стала зачем-то заглядывать во все подряд дворы, ища какого-то смутно всплывавшего в памяти переулка, по которому шла почти полвека назад, но большинство дворов оказалось за запертыми чугунными воротами – но именно там, думалось ей каждый раз, и есть вход в заповедный переулок; вновь старуху вертело в потоке людей и машин, она непостижимо оказывалась все перед той же нелепой и невозможной «Адмиралтейской», и уже понимала, что никакой ошибки не было с самого начала... Вернее, была, но сорок семь лет назад.

Совершенно дезориентированную, залитую слезами сорокасемилетней давности, наконец, нашедшими дорогу из ее давно уж сухих глаз, Зою действительно привели домой две посторонние добрые женщины. Расслабившись в чужих руках, она не сумела догадаться, что ее странное путешествие, так глупо окончившееся, приведет к катастрофе домашнего ареста – да и шут бы с этим! Но Зоя неожиданно лишилась главного, что давало ей силу жить, из последних сил ощущая себя полноценной, не готовой пока для гроба: ей запретили ходить даже в близкую церковь, а значит, существование утратило последний смысл, и на время посторонившаяся смерть имела полное право брать ее теперь тепленькой.

Отсрочка неожиданно пришла с самой невероятной, как казалось, стороны: внучатая племянница Лариса вдруг сама предложила сопровождать Зою в церковь и обратно, что и было, конечно, с благодарностью принято. Раньше Зоя обеих девчушек не то что в расчет не принимала, а даже особенно не различала между собой. То есть, она знала, конечно, что та, что потемней волосами и потоньше станом – это Анжела, а та, что пониже ростом и миловидней лицом – Лариса, в семье этой приемш-довесок, как и она сама. Но в целом девчонки были для Зои чем-то вроде единого существа – не особо приятного: дурного соответственно возрасту, совершенно бездушного, не умеющего читать, истерично писклявого, одетого в пестрые нелепые тряпки, проводящего время в какой-то исключительной, ненормальной праздности, всюду волочащего за собой хвост сладкого цветочного запаха... Словом, это был пучок безнадежных евангельских плевел... Но теперь Зоя начала исподволь присматриваться к Ларисе, с радостью находя в ней смутные черты ее матери Любы, безвестно пропавшей в буйных девяностых. Та тоже считалась безнадежной, лишь она, ее тетка, умела тогда разглядеть сквозь наносную пыль еще полудетской самости алмазный блеск незаурядного человека... Любу подбили на взлете, искренне считала она – считала так и молчала, зная, что из своей дальней эмиграции все равно не будет услышана.

И вдруг Лариса тяжело заболела, простудившись на выпускном вечере. Зоя хорошо помнила ту совсем не праздничную белую, а темную дождливую и ветреную ночь, когда десятки тысяч детей-выпускников невесело резвились, пьяные и злые, на мокрых неприветливых набережных. Лариса вернулась под утро уже совсем больная, встрепанная и жалкая, как выпавший из гнезда птенец, и проболела, мыкаясь меж домом и больницами, все лето, осень и зиму, то немного поправляясь на время, то приближаясь к опасной черте умирания. Зоя находилась при ней неотступно – сама не знала почему. Особенной родственной любви она к девочке не испытывала: в таком возрасте уже поздно было начинать. Но она ощущала, что уходит человек, которому можно в жизни доверять и, может быть, опереться на него после смерти. Похожий на того, которого она почти разглядела, но трагически упустила восемнадцать лет назад... Несколько раз, когда Лариса вдруг начинала среди ночи задыхаться в соседней комнате, жутко, по-мужски, кашляя и биясь головой о стену, Зоя, всегда чутко спавшая, прибежала и ухитрилась «раздышать» уже синевшую девочку, а потом укладывала на две высокие подушки и долго гладила усохшей рукой по голове. Не потому что испытывала какую-то особую нежность, а потому что знала, что Ларисе эта нежность нужна.

Весной, когда девочка начала выздоравливать по-настоящему, врачи посоветовали отправить ее для реабилитации за город, на северный берег залива, где сосновый воздух мог бы оказаться полезным для, как виделось Зое, в ключья изодранных приступами кашля Ларисиных легких. Старую деревянную дачку семья унаследовала от покойной Ларисиной бабушки, завещавшей собственность именно ей, тогда едва родившейся, и формально, достигнув в апреле совершеннолетия, Лариса и владела теперь этой дорогой по нынешним временам недвижимостью, о чем, конечно, по молодости не задумывалась. Мысль поехать туда с выздоравливающей очень полюбились Зое, однажды остро понявшей, что в скромном трехкомнатном домике с похожей на старые кружева верандой, вечно нуждавшемся в латании то одной, то другой дыры, обе они могут почувствовать себя хозяйками, а не приживалками в чужом доме... Нет, им никогда не тыкали в глаза их очевидной «лишнестью», но ведь человек всегда и сам знает, когда окружающие только терпят его рядом, и лишь из вежливости не говорят о том, как сильно он мешает им жить так, как хотелось бы.

Зое повезло – на дачу их доставили как раз под Пасху, и ей сразу же удалась неслыханная и в городе в связи с арестом невозможная вещь: она с девчоночьим азартом удрала с дачи на всю пасхальную службу. За Ларису можно было не волноваться: она давно уже не задыхалась по ночам, включить в подвале паровой котел прекрасно смогла бы, если б вдруг замерзла, а развлечений в виде многочисленных дис-

ков с фильмами и – по странной прихоти – толстой стопки журналов о жизни животных она привезла с собой немало.

Возвращалась Зоя в четвертом часу теплого майского утра – ее безвозмездно и уважительно подвез незнакомый мужчина-прихожанин, после службы добровольно занявшийся развозкой трех едва державшихся на ногах героических старушек и одной матери-одиночки со спящим на ее согнутом локте бледным ребеночком. Выйдя из машины, среди сосен Зоя увидела свет в окне их недалекого домика и, будь она хоть на десять лет моложе, то припустила бы рысью – ведь это значило, что что-то случилось! Отродясь в их трудовой семье не зажигали огня в половине четвертого утра – только если кому-то было плохо! Мгновенно прокляв себя за преступное легкомыслие, старушка ускорила своековыляние; лакированная антикварная трость тревожно стучала по сухой земле, легкий складной стульчик больно ударял по лодыжкам.

Целая и невредимая Лариса сидела на выставшей кухоньке над стаканом холодного красного чая, неотрывно глядя на старую цветную фотографию. Увидев бабулю, она внешне спокойно протянула ей изображение и, стараясь сохранять мнимое безразличие, тихо спросила:

- Баб Зой, не знаешь, с кем это тут моя мама?

Зоя внимательно рассмотрела щуплого паренька, с явной нежностью обнимавшего Любу, незнакомых людей, стоявших на скудной равнине, прочитала бледную надпись на обороте...

- С твоим отцом, конечно, с кем же еще, - уверенно ответила она.

До позднего утра они проговорили в Ларисиной комнате. Зоя больше не таилась. Она честно рассказала внучатой племяннице о том, каким человеком, по ее мнению, была ее мать, не скрыла и своей внезапной догадки:

- Смотри сюда внимательно. Вот этот мужчина с бородой, что стоит позади твоих... родителей. Видишь? Ведь это у него не брюки! За ногами Любы и... этого парня... не очень ясно видно, но ведь можно угадать: на нем – подрясник! Он священник, Лариса! Значит, Люба не фантазировала, когда говорила, что у нее есть муж! Боже мой, девочка, это ведь действительно муж: здесь священник, наверное, только что обвенчал их!

Глаза Ларисы горели совершенно Любиным пламенем, тотчас узнанным так же загоревшейся Зоей. Девочка проговорила, запинаясь:

- Значит, я... Я не приبلудная, что ли? И у меня был законный... настоящий отец... Но как же он мог... бросить меня и маму... Раз они были обвенчаны!

Зоя помолчала.

- А кто тебе сказал, что он вас бросил? – наконец, прошептала она. – Тетя и дядя тебе сказали. Просто потому, что им было... приятней так думать.

Озарение шло за озарением, и теперь остановиться было нельзя.

- Приятней?! – вспыхнула Лариса и тут же осеклась: - Да, конечно... Приятней, я понимаю. Но что толку... Правды теперь никогда не узнать... Столько лет прошло... И ничего не осталось, кроме этой фотографии...

Зоя неприметно усмехнулась: еще похожая после своей изнурительной болезни на ошипанного воробья девчонка, прожившая на свете лишь восемнадцать лет, из которых десять можно смело списать на полную бессознательность, считала девятнадцатилетний срок – непреодолимой вечностью, а людей, живших так много дней и ночей назад, давно вымершими или впавшими в беспамятство. Она осторожно потрепала девочку по худенькой коленке:

- Столько – это сколько? Вот этому батюшке – лет тридцать пять. Сейчас, значит, пятьдесят четыре, и, если его спросить, то он все расскажет... Живет он в этом твоём... Койдино или нет, а найти его все равно труда не составит.

- Но кто меня пустит туда, чтоб его расспрашивать! – отчаянно воскликнула Лариса.

- А что, тебе надо просить разрешения? – Зою вдруг охватило совсем не старческое волнение, напомнившее вдруг ни к селу ни к городу о первых днях войны, когда она поняла, что жизнь вот сейчас круто переменится, и от нее это не зависит. – Ты забыла, что ты уже не маленькая, и закон позволяет тебе разъезжать, куда вздумается? А на что серьезное нужен твой вечный Интернет – неужели только в Одноклассниках пропадать до полуночи? Если не найдется там села Койдино, то для чего он вообще?

- Но... деньги... - прошептала отчетливо задрожавшая Лариса. – Ведь такая поездка – это целое состояние для меня... А может, и не только туда придется съездить...

С тем, что ехать непременно надо, она не спорила, и именно это стало основным фактором, подсаказавшим Зое мгновенное и правильное решение. Она хитро улыбнулась, потому что знала: ее коричневый дерматиновый чемоданчик с металлическими углами, способными ощутимо покалечить любую неосторожно подвернувшуюся коленку и готовый невинно предъявить любому желающему нехитрое старушечьё барахло, прячет за клетчатой подкладкой немалые, за много лет накопленные деньги. Зачем они существуют на свете? Ведь ей уже ясно, какие пышные похороны ожидают ее в недалеком будущем, а вот если пустить теперь этот капитал в оборот... Кто знает, какие неожиданные дивиденды принесет он – пусть уже не ей! – а остатка наверняка хватит Ларисе на свадебное платье...

Глава 3

На линии огня

У их солистки Вальки Геннадьевой были абсолютно некрасивые ноги – с круглыми и плотными, как дыни-«колхозницы», икрами, тонкими щиколотками и огромными ступнями и плоское, равномерно белое лунообразное лицо с всегда кислым – и на сцене, и в жизни – выражением. Говорила Валька редко и неохотно, причем рот открывала не прямо, как все здоровые люди, а презрительно цедила слова из правого уголка слегка искривленного, будто у инсультницы, маленького бледного ротика. Если б еще на сцене она преображалась! Так ведь нет – танцевала без всякого артистизма, слишком четко, технично и напряженно, каждое движение выглядело заученным и неестественным, застывшая улыбка – приклеенной... И вот уже четвертый год, с угловатого отрочества, являлась неизменной солисткой...

«Блатная? – рассуждала Люба под стук колес на верхней боковой полке плацкартного вагона самого задрипанного из всех поездов Петербург-Москва. – Непохоже: мать у нее простая продавщица, а отца, кажется, и вовсе нет. И орет на нее Тамара Васильевна не меньше, а больше, чем на нас всех...»

Руководительница их девичьего танцевального ансамбля народной пляски, по слухам, балерина-неудачница, действительно считала особым балетным шиком ругаться, как извозчик, на своих танцовщиц подросткового возраста. На репетициях только и слышалось: «Как стоишь, уродина?! А вы, овцы поганые, чего тут разблеялись?! А ну, пасти закрыли – и ногу выше! Ногу, я сказала, стадо безмозглое!» Никто давно не обижался – жаловаться было некому и идти некуда. То есть, было куда – в родную Корабелку на лекции, о чем Люба без содрогания не могла и подумать... Господи, ну какой из нее инженер-кораблестроитель? Но у мамы надежные знакомые оказались только в этом горе-институте, потому Любу туда осенью и зачислили со всеми тройками на вступительных почти насильно – после того, как в прошлом году она вполне предсказуемо провалила в танцевальное училище. Не от бездарности, конечно, провалила, а потому что не было там ни одного знакомого в приемной комиссии... Танцевала Люба, как сама прекрасно понимала, да и добрые их девчонки без всякой зависти подтверждали то же, не в пример лучше Геннадьевой – да и собой была уж точно симпатичнее, во всяком случае, ноги стройные, самой нравились. Бывает, идет по улице и где-нибудь случайно увидит отражение собственных ножек, затянутых в блестящие черные лосины – так и стукнет: надо же, какие у кого-то ноги красивые... да это ж мои! Однажды Люба набралась храбрости и, уловив на лице Тамары Васильевны редкое незлое выражение, подбежала к ней балетной рысью и на одном дыхании выпалила:

- Тамара Васильевна, а давайте я разучу соль-ные партии венгерского и неаполитанского! Чтобы просто про запас у вас быть, на всякий случай!

- На место! - в ответ рявкнула на нее та, как на собаку. - А ну, пшла! На место, я сказала!

Последние два года их самодеятельный коллектив, когда-то рожденный в недрах третьеразрядного дома пионеров и с тех пор кочевавший в одном и том же составе по Домам культуры, выезжая в пригороды и ближнюю провинцию с нечастыми концертами, был взят под крыло энергичным толстопузым директором-продюсером, обещавшим раскрутить талантливых девчонок – им на радость, себе на пользу. Концерты стали чаще и выгодней, девушки, раньше танцевавшие почти на общественных началах, стали получать за каждый концерт невеликую денежку, достаточную на скромное питание и сценические костюмы, которые раньше были для них сущим разорением. Дело шло к тому, что никому не известный полудетский коллектив вот-вот должен был получить гордый статус профессионального – с соответствующими материальными последствиями и общественным признанием. Многие зависело именно от того ответственного, выбитого для них правдами и неправдами выступления во Дворце Культуры им. Ногина в Москве, куда они и ехали сейчас из родного Питера в пыльной прокуренной плацкарте...

Люба со стоном повернулась к стене. Именно сегодня она находилась в самом невыгодном положении по сравнению со своими подругами, давно молодо и здорово сопевшими в разных концах дешевого вагона. Она не умела спать в поездах – ни разу не заснула, когда приходилось ездить на дальние расстояния, всегда мучилась с тяжелой головой, ломотой во всех костях и словно песком присыпанными глазами до самого утра, завистливо слушая безмятежных храпунов. Таково было одно из побочных свойств ее слишком утонченной нервной системы. По прибытии на пункт назначения Люба обычно уж и вовсе ни на что не была годна, головная боль становилась к тому времени резкой, никаким лекарствам не поддавалась – и, словно в насмешку, теперь хотелось спать по-настоящему, а лечь, как правило, было негде. «Неужели ты в поезде не выспалась?!» - удивленно спрашивала какая-нибудь свежая и умытая попутчица, вызывая в Любе острое желание стукнуть ее прямо сейчас кулаком по упругой румяной щеке с вызывающим отпечатком казенной подушки. Вот именно это и предстояло ей завтра, 3 октября 1993 года, в тот самый великий день, когда могло решиться будущее их коллектива – ну, а свое собственное она от него давно уже не отделяла. Да еще и пробежал перед самой поездкой легкий гнилой слушок, что из двадцати танцовщиц в коллективе нового завидного статуса будут оставлены только шестнадцать – такое, мол, количество, «спущено», придется соответствовать... Имена трех девушек, с которыми без жалости расстанутся, хотя

и не назывались, но были примерно известны, а вот четвертое... Как бы ей, Любе, этим четвертым лишним не оказаться, если она будет напоминать на сцене переваренную картофелину! А то еще и запутается в чечетке – а как не запутаться, когда в висках уже орудут тонкие острые молоточки, что к полудню превратятся в кувалды – тогда уж точно пиши пропало... Люба вспомнила, как однажды, когда ей едва исполнилось восемь лет, и она танцевала в детском танцевальном кружке, их пригласили выступить на телевидении в программе «Творчество юных». Танец назывался «Октябрятская полька», и мама, помнится, две или три ночи подряд, не разгибая спины, шила ей на безотказном «Зингере» первый в жизни сценический костюм: пурпурного сагина платьице с «фонариками»-рукавами и газовый белый передничек с оборками. И вот, когда они уже приехали на телестудию, у Любы начались непереносимые рези и спазмы в животе. Хоть и маленькая, она уже знала, что в этом нет ничего страшного: такое происходило с ней в детстве всякий раз в минуты сильного волнения. Чтобы рези прошли, нужно было срочно лечь плашмя на спину, без подушки, и полежать так не более пяти минут. Лечь было негде. В огромной студии стоял арктический холод – такой, что у детей клубился пар при дыхании. Высокие лампы, окружавшие абсолютно гладкую площадку, давали безжалостный режущий белый свет. Танец сначала прогнали без записи, в качестве репетиции, потом неторопливые накрашенные тетеньки долго настраивали аппаратуру, запретив маленьким артистам и на секунду покидать помещение – и вдруг, похохатывая, ушли курить, а их заперли. Хотелось уже не кричать – выть, как попавшая под машину собака. Случайно глянув в какое-то зеркало, Люба внезапно увидела там свое лицо – маску пепельного цвета со страшными провалами глаз и закушенными серыми губами. Ей было восемь лет – почему она не зарыдала, как любая ровесница на ее месте, не сказала их доброй руководительнице, что у нее болит животик, и танцевать она не может? Да и взрослый бы не смог на ее месте – с такими-то болями! По сути, «скорую» можно было вызывать... Конечно, съемку бы отменили, потому что три пары вместо четырех не смотрелись, а удалось бы или нет устроить это в другой раз – Бог весть. Неудачливые звезды экрана возненавидели бы Любу как виновницу краха несбывшихся детских надежд – но это потом. Так далеко восьмилетняя девчушка не загадывала, ее спартанской терпеливостью (вряд ли тот хрестоматийный лисенок, думалось Любе позже, принес маленькому спартанцу больше страданий, чем она перенесла тогда) двигало другое, загадочное чувство, гибрид прямо противоположных друг другу: крайнего смирения – и крайней же гордыни. Она протанцевала эту треклятую польку – и никто ничего не заметил. Подскакивала, уперев руки в боки, кивала с кукольной улыбочкой направо и налево, игриво подпирая указательным пальчиком

пухлую щечку, легко перелетала, кренделем сложив ручку, от партнера к партнеру... Но лишь смолкла музыка – и она уже никого не слышала. Молча вышла в незнакомый коридор, горевший мертвенным зеленым светом – а может, просто так казалось из-за заливавшей глаза дурноты – и безошибочно попала прямо на взрослый туалет, как усталый грибник на лесной полустанок. Там тоже курили какие-то равнодушные женщины – но Люба прошла в кабинку мимо них – и закрыла дверь. К счастью, дверь эта достигала пола, но девочке было уже все равно. Она легла на спину прямо на грязные метлахские плитки, протиснув ноги в белых балетных тапочках между унитазом и перегородкой и уперев их в заднюю кафельную стенку. На всю жизнь запомнилось блаженство, с каким она впитывала спиной и затылком резкий каменный холод, входивший в тело вместо улетавшей куда-то вверх боли... Ее искали, звали – она лежала тихо, как мышь, пока не исчезли последние отголоски страданий... Если тогда, в восемь, смогла, то неужели не сможет теперь, в семнадцать? Господи, дай мне заснуть. Хоть на часик дай мне заснуть, Господи...

На Ленинградском вокзале в половине седьмого утра было серо и промозгло холодно, и высыпавшие из поезда с рюкзаками девчонки, совсем не похожие на будущих известных танцовщиц, а напоминавшие заблудившуюся стайку взъерошенных синичек, нахохлились и сонно моргали, подняв капюшоны своих дешевых китайских курточек. Еще накануне вечером прилетевший на самолете продюсер прыгал по перрону маленьким недожаренным колобком:

- Девчоночки мои, я вас сразу разочарую: экскурсии не получится. В Москве беспорядки, центр перекрыт, делать там нечего. Кто хочет в Третьяковку – пусть отправляется на метро самостоятельно. Начало концерта в семь, наше выступление в первом отделении. Очень надеюсь, что до половины девятого вы уже отпрыгаете, потому что обратный поезд в десять с копейками... А сейчас пока базируемся в соседнем Доме пионеров, сегодня он закрыт – воскресенье. Но нам откроют – я договорился – и пойдут в спортзал с мягкими матами... Может, кто и вздремнуть захочет, расслабиться... А потом – почистить перышки, да и в Ногина галопчиком, пока другие участники не захватили лучшие гримерки-раздевалки...

Среди разочарованного девичьего мычания – опя-ать эти депутаты с президентами что-то не поделили, а мы распла-ачивайся; столько о Москве мечтали – и вот пожа-алуйста, даже Красной площади не уви-идим – Люба хмуро молчала, предательски радуясь про себя: какое счастье, что не потащат их ни на какую добровольно-принудительную экскурсию! Может, найдется ей вместо этой повинности укромное местечко, чтобы свернуться калачиком и поспать?

Мечта ее, что, вообще-то, в жизни Любы случалась

нечасто, взяла и просто осуществилась ровно через час. В спортивном зале ей быстро и ловко удалось подтащить тяжелый жесткий мат к шведской стенке. Там она, не мешкая, постелила вместо простыни мамину вытертую шаль, часто служившую верой и правдой в некомфортных поездках, под голову сунула собственный свитер, куртку приспособила вместо одеяла, а два сценических костюма, потребных для вечернего выступления, были нежно расправлены и заботливо повешены все на ту же шведскую стенку... Надеть их Любе больше никогда не пришлось.

Как странно всегда бывает оглядываться на дни-рубежи и видеть в них себя самого за несколько часов или минут до того, как ты беспечно занесешь ногу чтобы сделать роковой шаг, после которого путь назад окажется навсегда отрезанным – хочешь ли ты вернуться или нет. Около двух лет спустя, в день, когда дребезжащий, но выносливый и надежный АН-2, ласково прозванный мужчинами-летчиками «Аннушкой», стал заходить на посадку над аэродромной площадкой среди негостеприимной тундры, Люба глянула вниз, и вдруг ни с того ни с сего перед мысленным взором ее предстало мрачное московское утро, когда, лежа в футболке и джинсах на коленкоровом мате под мягкой синтепеновой курткой в семистах километрах от дома, перед тем, как провалиться в крепкий короткий сон, она зачем-то открыла глаза и обвела взглядом весь небольшой спортзал... Словно вернувшись во времени в те последние минуты прежней своей жизни, Люба отчетливо вспомнила мелкие вешки прошлого, на тот момент еще принадлежавшие близкому и неотвратимому будущему. Все они были еще там, в зале, – девчонки, которых после сна ей не придется больше увидеть... Когда Люба проснется, они уже дружно убегут в обязательную, как Эйфелева башня в Париже, Третьяковку, а ее не разбудят, потому что она сама еще раньше попросит их этого не делать. Она запомнит Кису Соболеву, упорно расчесывающую на соседнем тоже заботливо застеленном мате свои легендарные локоны Златовласки, горевшие, казалось, самостоятельным светом; Леля Евдокимова, на миг остановится над ней и спросит о чем-то неважном, слегка склонив по привычке свою умную птичью головку; Юля Витман засмеется где-то вне поля зрения своим странным гортанным голосом, напоминающим тревожный клекот – и все они уютно поплывут, поплывут перед Любиными глазами – и исчезнут навсегда... Какое-то время – а именно, лишний час, не больше – еще продержится в ее жизни Леночка Кузнецова, маленькая беленькая девочка, едва в том году закончившая школу, почти пародийно напоминающая молодую ангорскую кошечку с голубыми глазами и розовым бантом. Леночка не пойдет со всеми в Третьяковскую галерею – ее туда родители в детстве насильно таскали раз шесть – но зато ни разу не водили в знаменитый московский

зоопарк! Поэтому она честно дождется Любиного полуденного пробуждения и предложит ей сходить туда с нею; покажет и заранее припасенную карту Москвы: «Смотри, туда добраться ничего не стоит: он прямо у самой «Баррикадной», эта такая станция метро...»

В течение нескольких лет – ежедневно, а потом, надолго – в начале каждого октября у станций метро «Баррикадная» и соседней «Краснопресненской» станут прямо на асфальте появляться букеты красных гвоздик. Этого Люба так и не узнает, потому что с тех пор судьба в Москву ее больше не занесет.

...Непонятная тревога смутно восстала со дна души еще в битком набитом вагоне, ехавшем в сторону «Краснопресненской». Девочки стояли, плотно прижавшись друг к другу, почти в обнимку, и Леночка растерянно шептала:

- Куда это они все, а? Ведь воскресенье же...

- Слушай, ведь наш-то говорил про какие-то беспорядки... Может, они как раз здесь? Только этого нам и не хватало: не дай Бог, на концерт вовремя не доберемся... – так же шепотом отзывалась вполне оробевшая Люба.

- Не-а... - успокаивала подруга. – Он говорил, в центре, а это совсем не здесь: центр, это где Кремль, далеко отсюда...

- Но не в зоопарк же они все едут! – волновалась Люба. – Ты только посмотри на них!

Посмотреть действительно стоило. Ехали, в основном, мужчины – и Люба никогда не видела столько серьезных мужских лиц сразу. Кроме того, ее вдруг поразило одно простое наблюдение: *все это были очень красивые мужчины*. Даже те из них, у которых оказались неправильные черты лица или наблюдался серьезный недостаток роста и внешней мужественности – и те выглядели таинственно привлекательными для женского взгляда. «Они как будто идут на войну, - вдруг без всякого повода подумала Люба. – А любой мужчина, идущий на войну... прекрасен...» Тут их обеих вынесло словно лавиной на платформу «Краснопресненской» - и дальше вагон поехал почти пустым – во всяком случае, там оставались только женщины и дети. В общем потоке подружек волокло дальше – к переходу на «Баррикадную», издававшие резкий запах свежего пота тела мужчин, отнюдь не расположенных ни к джентельменству, ни к праздным шуточкам, тесно сжимали их со всех сторон.

- Ленка, быстро поехали отсюда! – в небывалом волнении схватила Люба подружку за рукав. – *Это* здесь происходит, я знаю! Ни у какого не у Кремля! Там, наверху... Ленка, я не знаю, *что* там!

Кошачьи голубые глаза на остреньком беленьком личике сощурились:

- Ну, ты и трусиха! – зашипела подружка, вырываясь. – Какое нам дело до их митингов! Зоопарк прямо у метро. Пусть идут, куда хотят, а мы быстренько направо – и нет нас... Чего ты дрейфишь-то, а? Вро-

де, никогда особо не трусила, даже перед Васильевой рот открывала, а тут вдруг... Не понимаю...

Люба и сама не понимала, что именно так пугает ее – просто инстинктивно чувствовала, что они не просто оказались в толпе каких-то непонятных мужчин, а, возможно, некстати попали в суровый строй воинов, идущих в бой и, следовательно, в любой момент могут оказаться на линии огня. Ею все больше овладевал древний пещерный страх, продиктованный инстинктом самосохранения не просто дрожащей твари, а возможной матери, продолжательницы рода, на которой он в любой момент может быстро и незаметно прерваться...

Вместе с ними людская волна выплеснулась на маленькую площадку перед метро – и здесь толпа, под землей лишь приглушенно гудевшая, заговорила в полный голос – и голос этот был грозен. Вокруг стоял будто заворачивающий рокот штормового моря, волны тысячной толпы одна за другой разбивались о неколебимые ряды военных в пятнистой форме и низко надвинутых касках, с настоящими с автоматами наперевес. «Ты в кого стрелять собрался?! – наскакивал на белокурого богатыря из оцепления низенький пожилой гражданин. – Я в отцы тебе гожусь, сукину сыну! Ишь ты – на свой народ с автоматом! А у самого усы не выросли! Да пороть тебя надо – ремнем! С пряжкой!» Самое странное, что парень вовсе не обижался и стыдливо глядел себе под ноги, не отвечая обличителю ни слова. Зато другой, жилистый и иссиня-черный, наоборот, заматываясь прикладом на старушку в шляпке с вуалью, похабно орал на нее, ничуть не смущавшуюся и ни отступавшую от оцепления ни на шаг: «А ну, гребни отсюда, кошелка старая! Развонялась тут! Без тебя не разберутся!»

Плотно стиснутых людей мотало из стороны в сторону, как каторжников в трюме корабля; иногда лавина устремлялась вперед, на цепь испуганно выставлявшего дула ОМОНа, иногда ее отбрасывало обратно, к дверям метро, откуда все выходили и выходили прибывавшие люди, которым, казалось, уж не было места на крошечной площади – но они втискивались куда-то и тотчас же сливались с грохотающей толпой...

Люба в панике глянула вправо, ей было уже не до зоопарка, а хотелось только согласовать с Ленкой план срочного отступления с передовой – но никакой Ленки рядом не оказалось: во время очередного колебания толпы ее засосало и отбросило в сторону, и Люба оказалась совершенно одна в этом непонятном хаосе, куда ее будто заманили обманом и теперь ни за что не хотели отпустить. «Ленка! – истерически выкрикнула она. – Ленка! Где ты?!». Если подруга и отозвалась на отчаянный зов, услышать ее Люба уже не могла: все перекрыл рев милицейского мегафона: «Внимание, граждане! Вам предлагается немедленно прекратить несанкционированный митинг и разойтись по домам! В противном случае к граж-

дана, не подчинившимся распоряжению законной власти, будут применены силовые меры!» Толпа в очередной раз дрогнула – не в отступательном – нападательном движении; линии оцепления мялись и ломались где-то впереди – слышались сдавленные крики, глухие удары и уже откровенный боевой мат, всегда сопровождающий кровавые столкновения. В ужасе от всей невероятной ситуации Люба зажала уши руками, зажмурилась и пронзительно завизжала.

- Девочка, что ты здесь делаешь?! – рявкнул на нее оказавшийся рядом крупный спортивного вида парень в странной черной форме, смутно напоминавшей что-то враждебное. – Марш в метро!

- Эти уроды его закрыли! – отозвался другой. – Чтоб подкрепление не подходило. А сами уже женщин дубинами своими бьют! Ей надо прорываться по Конюшковской к реке, а там пёхом до Калининского моста!

- Руку дай, дура! – грубо схватил ее за запястье первый парень. – И не дергайся, а то в лоб дам!

Люба и не думала дергаться, она была счастлива тем, что даже в такой невыносимой неразберихе и давке кто-то вдруг решил заняться ее судьбой, и послушно засеменила рядом с больно продиравшим ее сквозь толпу молодым мужчиной. Омоновца, вдруг растерянно выросшего прямо перед ними, он уложил на землю одним быстрым и незаметным движением – и развернул Любу спиной к себе:

- Вот по этой улице вниз бегом – марш! Увидишь реку – поверни налево по набережной, там будет мост. Через него – и чтоб духу твоего здесь...

По улице уже давно дружно бежали целеустремленные люди, прорывавшиеся там и здесь через оцепление, и Люба, себя не помня, до потери дыхания бежала среди них под холодным светло-серым небом. Некому было задать ей тогда вполне разумный вопрос – почему она не поступает, как сказал ей тот надежный парень у метро, не бежит до набережной, а вдруг сворачивает вместе со всеми направо, к громадному белому дворцу Верховного Совета, который уже раз стоял в центре бурлящей толпы два года назад, как невозмутимый океанский лайнер среди бури. На подходах к Дому правительства тоже стояло военное и милицейское оцепление, и здесь уже все выглядело гораздо серьезней: за пешими цепями, окружавшими здание, виднелась сплошная линия страшных на белом фоне баррикад... Бойцы оцепления, стоявшие с продуманно непроницаемыми лицами спиной к баррикадам, имели совсем другой вид – отрешенный вид людей, на что-то решившихся. Толпа плескалась о них, как в Питере вода о стену Петропавловки во время привычного осеннего наводнения. Здесь раздавались все те же гневные слова – только больше слышалось женских голосов: «В матерей своих стрелять будете?! В сестер?! В невест?! Кто вы после этого – солдаты?! Защитники?!» Как под гипнозом, Люба шла вдоль

оцепления в сторону, прямо противоположную той, что указал ее спаситель от «Баррикадной» - и делая каждый шаг, удивлялась, что ей выпало видеть *такое* своими глазами наяву, не в черно-белом фильме про Октябрьскую революцию. Это в конце двадцатого века, в центре спокойного культурного города громоздятся неприступные кучи тяжелого хлама, за которыми виднеются строгие лица, ходят покрытые платками женщины в длинных юбках, с алюминиевыми кастрюлями в руках, и кричат, кричат и проклинаят... Точно перед такой, наверное, баррикадой душеспалательно погиб мальчик Гаврош из романа Гюго – но, Боже мой, та Парижская коммуна была в тридцатых годах прошлого века! Ее проходили по истории в – восьмом? – классе, те давние события казались покрытыми седым мхом вечности и не могли, никак не могли повторяться на ее молодых глазах! Люба не заметила, как оказалась у противоположной стены Белого дома, со стороны Рочдельской улицы, среди особенно толпившихся и кричавших людей, стремившихся во что бы то ни стало попасть туда, за оцепление и баррикады, где расположился уже целый палаточный город, кишачий людьми. Она приблизилась, вполне к тому времени освоившись в толпе и научившись без стеснения работать локтями, как раз в тот момент, когда рослая женщина со скуластым сибирским лицом, рыжеватыми волосами и крупными белыми руками, обнимавшими укутанный тканью и обвязанный бечевкой бак для белья, одним несильным толчком бедра отодвинула с пути преградившего ей дорогу военного:

- Дети у меня там, понял? Пожрать им несуду. Ну, давай, останови меня.

Мрачный парень рисковать не стал и молча посторонился, а Люба, держась за женщину как прижитая и сгорая от напряженного любопытства, беспрепятственно прошла вместе с ней внутрь железного кольца...

Любопытство! Это замечательное детское чувство, погубившее не одну жизнь в самом начале, не раз толкнувшее всего на полшага дальше, чем следовало, чтобы не получить пулю, наклонявшее лишь на сантиметр ниже, чем надо было, чтобы сохранить равновесие, задерживавшее во времени всего на секунду дольше точки невозврата... «Тебя ведь это никак не касается, - страстно шептало оно девушке, случайно забредшей за линию окруженных войсками баррикад. – Зато смотри, как кругом интересно! Все эти люди, может быть, уже завтра умрут за какую-то странную, лишь им понятную идею – а ты их всех увидишь и запомнишь... Сейчас, здесь, рождается История – и ты в самом центре родильного зала... Спустя полвека ты расскажешь внукам, о том, что видела – и так сама станешь частью этой Истории... Походи, посмотри, не торопись... У тебя впереди бездна времени, сейчас только три часа... Тебе ничто грозит, потому что это еще *не твоя* война...».

Но люди, обосновавшиеся целыми семьями под

стенами осажденного Белого Дома, смертниками вовсе не выглядели. Люба оказалась в грязноватом палаточном лагере, где на траве, как ни в чем ни бывало, возились с игрушками тепло одетые дети, а женщины мирно стирали в тазиках совсем не воинственное разноцветное тряпье, то и дело сжимая оледеневшие руки... В одном месте молодые ребята в стройотрядовских куртках поверх толстых свитеров жгли небольшой костер, переворачивая палками черные горячие картофелины в золе, а в котелке варилось совсем мирное, вкусно пахшее варево. И Любе стало все уверенней казаться, что ничего страшного кругом не происходит – это что-то вроде невинного лагеря переживающих стихию людей или даже просто большой суетливый кемпинг... Завтра, когда закончится будоражащая нервы безопасная «Зарница», все эти благодушные отцы семейств и матери с чудными резвыми детками спокойно разойдутся по своим теплым домам и всей семьей сядут перед телевизором.

Вдруг она остановилась в некотором удивлении. Впереди на складном стуле меж двух палаток сидел перед раскрытым этюдником худенький мальчик. Он поднял голову, и стало ясно, что это все-таки юноша – с умным и цепким взглядом серых чуть насмешливых глаз. Молодой человек спокойно рисовал что-то на белой бумаге цветными карандашами – и заинтересованная Люба стеснительно подошла поближе. Он рисовал людей – такими, как они были. Женщину, с отсутствующим взглядом поправляющую платок, семилетнего мальчишку, играющего с веселым сиаемским котенком, усталого рабочего, дующего на круто посоленную половинку раскаленной картофелины...

- Похоже... - изумленно прошептала Люба. – Надо же, как похоже!

Юноша поднял на нее спокойно оценивающий взгляд.

- Не отходите далеко. Сейчас закончу и вас тоже нарисую, - сказал он.

По мнению Любы, он должен был спросить на это разрешения – во всяком случае, так делали художники в книгах и фильмах; можно бы ехидно бросить ему: «А мое согласие вам не требуется?» И сразу же она поняла, что паренек просто пожал бы плечами в ответ, отвернулся и позабыл ее навсегда. А может, он потом когда-нибудь станет известным дорогим художником, и эти небрежные рисунки, запечатлевшие отважных героев накануне исторической битвы, будут оспаривать между собой самые престижные музеи мира. Все станут гадать – кто эта хрупкая девушка с длинными волосами и тонким породистым лицом, как она попала на баррикады, что случилось с ней после? Ее разыщут искусствоведы, и она даст пространное интервью, которое навечно впаяет ее имя в Историю... - а что? Мало ли женщин попало в нее именно так, не приложив ни грана труда, подвига или таланта, а просто приглянувшись

либо художнику, либо поэту? Что из себя представляли, например, Анна Керн или та же Галá? Да ноль без палочки, прости, Господи... А вот защищают же люди диссертации на их именах!

- Вы – художник? – с трепетом спросила Люба.

- Не знаю, - без улыбки ответил он. – Во всяком случае, в Академию Художеств только что второй раз благополучно провалил – у нас в Питере.

- В Питере? – бурно обрадовалась она. – Так ведь мы земляки с вами! Я тоже оттуда! – можно было гордо добавить: «Учусь в Корабелке», сразу установив дистанцию превосходства, но отчего-то захотелось обозначить свою причастность к вечному племени «вольных стрелков». – Я... артистка... В смысле – танцую... Сюда приехала выступать, и вот... понимаете...

Она вдруг мучительно покраснела, потому что и сама не знала, что – вот. Как она попала сюда, на баррикады? Что она вообще тут делает?

Парень серьезно кивнул:

- Не смогли остаться в стороне. Не волнуйтесь, что ж тут непонятного? Здесь все именно из-за этого и находятся... - и вдруг его лицо просияло короткой и яркой, как вспышка молнии, улыбкой: - А вы что, так и собираетесь воевать с распущенными волосами?

Люба опять невероятно смутилась. Пропустив мимо ушей распущенные волосы (ну да, в давке у «Баррикадной» действительно соскочила и потерялась заколка, отчего ее гладкие русые волосы рассыпались поверх куртки, покрыв спину до лопаток), она поняла, что абсолютно невозможно взять и признаться серьезному юноше в том, что воевать вовсе не собирается, хотя бы потому, что очень смутно представляет себе, что именно хотят отстоять здесь все эти благородные люди. Что она просто зашла посмотреть на редкое и пока внешне безопасное зрелище, а через несколько часов, как ни в чем не бывало, будет высоко подкидывать на сцене свои красивые обнаженные ноги... Как раз когда они тут, может быть, будут умирать.

- Нет-нет, я заплету... - в совершенном смятии пробормотала девочка. – Просто мне надо найти, чем завязывать...

- Возьмите, - он резким движением вырвал тесемку из своего откинутого капюшона, протянул ей и жестко велел: – Заплетите прямо сейчас. Неизвестно, когда они попрут. И тогда любая мелочь может спасти – или погубить – вашу жизнь.

- Думаете, попрут? – шепотом спросила она. – И что... что тогда...

- Попрут обязательно. И не пощадят никого. Поэтому, если боитесь – уходите сейчас, - строго ответил молодой художник.

Вконец оробевшая Люба только теперь заметила, что этот полумальчик говорит с ней сильным и глубоким баритоном взрослого крепкого мужчины – голосом, который создан, чтобы приказывать. Она

бросилась неловко плести свои нечесанные волосы, на ощупь разделив их сзади на три пряди. Такой и запечатлелась на его быстром рисунке – растерянной маленькой глупышкой, запутавшейся пальцами в недоплетенной косе, вытарачившей детские испуганные глазенки... Стань он великим художником – кто бы захотел брать интервью у такой модели!

Как у людей *начинается*? Откуда они знают, что среди сотен и тысяч случайных встреч и бесед именно вот эта – *настоящая*? Что именно вот этот человек, а не любой другой скоро станет средоточием всех твоих устремлений и помыслов? Какое сокровенное слово или жест может в один миг перенастроить душу на музыкальную волну другой – настолько, что даже в бесконечной разлуке всегда безошибочно ее поймаешь? Неужели все это было предусмотрено Всевышним в конечном счете просто ради продолжения человеческого рода? Зачем, для кого предусмотрел Он такую расточительность? Или это просто жалкие отголоски памяти об утерянном Рае? Если так – то *что* же мы потеряли?!

Павел больше не рисовал в тот день – и рисовать ему не пришлось еще достаточно долго. Люба не подбрасывала ноги в лихом канкане тем вечером – и не делала этого больше в своей жизни никогда. В одно пропущенное ею мгновение пришла и осталась естественная, как дыхание, мысль, что в той же Истории ее танец может остаться пляской на крови... И еще – просто нельзя было взять уйти от этого незащищенного мужественного мальчика-мужчины, тоже пришедшего *не воевать*, но – оставшегося...

Павла мама вырастила в одиночку: муж бросил ее вскоре после того, как их годовалый сынок Паша с улыбкой сделал первые шаги, любовно подталкиваемый мамой в распахнутые папины объятия. Бывшая жена отказалась получать даже алименты, переменила фамилию ребенка на свою девичью и подняла его сама, никогда не порываясь замуж и, как искренне считал ее сын, не имея даже коротких утешительных романов. А когда мальчик закончил школу, ей однажды поставили самый короткий и самый страшный диагноз. Этот рак оперировать в России не брались: гений от хирургии профессор Углов состарился, а другие не решались. Согласилась немецкая клиника – и деньги волшебным образом нашлись: их показательно давала немецкая Баптистская Церковь. Требовалось лишь немного – перейти из Православия в Баптизм. Кого бы это остановило? Очень немногих – но Пашина мама, лишь недавно, в окодиспансере, со страху крестившаяся, неожиданно оказалась среди них. Сын не умолял мать – знал, что это бесполезно... Была еще одна туманная возможность спасения: ее бывший муж, а его отец, на свободе подпрыгнувший до депутата Верховного Совета России и заседавший теперь именно там, в осажденном белом здании. Павел решил смирить свою наследственную гордость и, если надо, кинуться отцу в ноги: сумма, потребная на лечение, была

теперь сущей мелочью для него, а мама смогла бы прожить еще лет десять и дожидаться, быть может, внуков... Павел приехал в Москву, не полностью осознавая, что Белый Дом блокирован, и отец его находится в добровольном плену. Он остался под стенами Дома без всякой поддержки извне, зарабатывая себе на пропитание тем, что рисовал баррикадников с натуры и дарил им их карандашные портреты. За это его там и тут кормили той простенькой снедью (чаще всего картошкой с огурцами), что родственники приносили защитникам Парламента из дома, и пускали ночевать в палатки – случались, правда, на его пути и чудные щедрые женщины с тазами мясных пирожков для всех, и тогда в душе поднимался восторг. Он уже не знал – удастся ли ему встретить отца и переговорить с ним, зато хорошо понял другую истину: ему придется остаться здесь до конца. Может быть, до собственного. Потому что уйти теперь отсюда как ни в чем не бывало и невозмутимо поехать по Кольцевой в сторону Ленинградского вокзала, отложив исполнение задуманного до конца очередной русской политической свары, было для него так же невозможно, как и виться сегодня в Саломейном танце девушке Любе, Богом данной невесте его...

Когда пришла тьма, они бродили, держась за руки, от костра к костру и рассказывали друг другу о своей жизни. Хотя что им было рассказывать? Оба только что вышли из вполне приемлемого детства, у обоих, правда, прошедшего без отцов, – только Любин торжественно присутствовал за стеклом секретера на их с матерью черно-белой свадебной фотографии, а Пашин был вычеркнут, вытравлен со всех скрижалей – и даже лицо его сын впервые увидел с телевизионного экрана. Оба с юности поддались неодолимым страстям: он – рисовальной, она – танцевальной, оба мыкались по дворцам пионеров и студиям, обучаясь этим сомнительным ремеслам. И оба еще не узнали даже поцелуя... У какого-то костра их накормили густым горячим супом, острый вкус которого врезался в память обоим надолго; на одной из баррикад разрешили спеть со всеми хором «Тонкую рябину», у огромной брезентовой палатки, оказавшейся походной часовней, рассказали, что там сегодня днем обвенчались жених и невеста из Союза Офицеров – и показали другую палатку, маленькую оранжевую, установленную в стороне от всех, где новобрачные проводили сейчас свою первую (и последнюю, как выяснилось чуть позже) брачную ночь...

- Идем спать, - сказал Павел около четырех часов утра. - Неизвестно, что будет завтра.

Они бесшумно прокрались в семейную восьми-местную палатку, гостеприимную для Павла две последние ночи, и тихонько легли, не снимая теплых курток и укрывшись пропахшим костром рваным ватным одеялом, на толстый надувной матрас, подаренный Павлу еще раньше кем-то из сострадательных баррикадниц, гоdivшихся ему в матери. Дрожа

от холода, эти полуподростки обнялись, как брат с сестрой и, понемногу пригревшись, задремали в полной темноте, в которой ярко горели у них в головах лишь красные цифры электронных часов.

Дальнего грома первых выстрелов они не услышали, провалившись в крепкий счастливый сон, и проснулись только от визгливого женского вопля, прозвучавшего прямо в палатке:

- Танки!!!

Все ошеломленно подскочили в темноте – и близящиеся выстрелы стали отчетливо слышны. Любе врезались в память три горящие цифры 6-52 на так и не зазвеневшем будильнике, а потом она вслед за Павлом выпрыгнула из палатки на серо-стальной свет. Прямо на их баррикаду с другой стороны быстро и неотвратно, как в кошмаре, надвигались три огромные ревушие тени.

- БТРы... - послышался сбоку чей-то сиплый от ужаса, утративший пол голос.

...В полдень на скользком от крови полу подвала в двадцатом подъезде кто-то, кому она несколько раз в день попадетя на глаза, восхитится Любиной небывалой храбростью и самообладанием, проявленным с самого начала и парадоксально не иссякшим до самого поражения. Она устало поведет плечом и откинет с лица липкие грязные волосы. Никакого героизма за собой она не знала – с первой минуты, когда со стороны Рочдельской улицы на них выскочили из полумрака три непрерывно стреляющих БТРа. Как только Люба увидела их, с ней приключилось что-то странное: ее словно отрезало от внешнего мира, где совершалось нечто настолько невероятное, что оно не могло уложиться в ее сознании, не разорвав его на клочки. Люди, немедленно бросившиеся врассыпную, потому что все их традиционное баррикадное вооружение состояло из бесполезных обрезков труб и стальных прутьев от ковровых дорожек, виделись ей не более, чем фантомами, а происходящее вокруг, казалось, никоим образом не может никому навредить, потому что происходит в некой совершенно иной реальности. Люба своими глазами видела, как высокий парень и девушка с растрепанными волосами, вместе выскочившие из крошечной оранжевой палатки, без звука упали, сложившись ровно пополам, будто перерубленные невидимым тесаком, но это огорчило ее не больше, чем сцена на белом экране, наблюдаемая из темного зала; присутствовала полная убежденность, что они чуть-чуть полежат, и с улыбкой вскочат, отряхивая одежду, когда властный голос крикнет: «Снято!» И такой голос действительно донесся: «Всех на поражение! Живыми никого не брать! Всех уничтожить!» Легкие танки остановились, прекратив стрельбу, и неожиданно с брони посыпались вовсе не военные. Атлетического вида парни, все как один в кожаных куртках и темно-серых брюках, со знанием дела рассредоточивались по окрестностям, на ходу снимая с предохранителей длинные тяжелые ружья. Обезумевших Любу и

Пашу, несшихся плечом к плечу, накрыл огромными руками, как крыльями, необъятный мужик в тельняшке под расстегнутой курткой – накрыл и толкнул вниз, на землю, заслоняя собой.

- Головы не поднимать! – рычал он, придавливая их своей доброй потной тушей. – Сейчас мочилово начнется... Видели их ружья? Так они помповые! Разнесут всех к е... матери!

- Кто это вообще? – сдавленно шепнул, выворачивая голову, Павел.

- «Бейтар»... Эти ни перед чем не остановятся... Они...

Договорить он не успел – частые выстрелы застучали со всех сторон, и метавшиеся вокруг люди стали падать один за другим.

- Туда, к подъезду, за пандус! – скомандовал моряк, указав направление головой. – Бегом, пригнувшись... Может, попадут, может нет. Но если здесь останемся – точно пристрелят, как собак. Ждем за тобой – и, как только скажу...

«Ну, конечно же, не попадут! Как они могут попасть, если они где-то там, в военном фильме, а я просто подошла слишком близко к экрану...»

- Вперед, - тихо скомандовал дядька, и в ту же секунду Павел вскочил, поднимая Любу за собой.

Сзади послышалась короткая очередь – но левее, кто-то закричал, а они втроем всё бежали и бежали по-обезьяньи, почти на четвереньках, пока не оказались за высоким пандусом восьмого подъезда. Здесь уже собралось много ополоумевшего народу, и прятаться было фактически негде.

- Пока из пулемета садят – еще ничего, а как жахнут снарядом – всех тут размечут, н-на... - нервнo заметил кто-то.

- Решились все-таки... Надо же – русские русских! – истерично шептала молодая большеглазая женщина; впрочем, может, глаза у нее просто расширились от страха.

- Где ты видела там русских?! Дура! – злобно гаркнул на нее моряк, но сразу осекся, махнув рукой. – Уходить отсюда надо, здесь всех как кур перебьют.

Паша и Люба все не могли расцепиться, судорожно держась друг за друга, как за последний оплот.

- Он прав, Любушка, - вдруг вполне вменяемо произнес Павел. – Смотри, там, вроде, потише, давай пробираться вдоль стены.

Она послушно дала ему руку, внутренне давно и безоговорочно признав его негласное лидерство, которым он и не думал бравировать. Как всякий сильный не на словах, а по сути мужчина, Павел ощущал, как данность, свое право принимать решения и отвечать за них, не задаваясь даже странным вопросом – а откуда у него это право, и есть ли оно вообще. Взявшись за руки, ребята пригнулись и помчались вдоль стены. Они бежали одни на ярко-белом фоне, но до них никому не было дела: танки в упор рас-

стреливали баррикады. У бесстрашных защитников демократии было в то утро много первостатейных дел: например, совершенно необходимо было подавить такой важный очаг сопротивления, как походная часовня, где молодой священник прямо под огнем начал взволнованный молебен, вопреки всему не просительный – благодарственный. Им действительно было за что благодарить Бога в те минуты – ему и нескольким женщинам, прямо, как свечи, стоявшим перед иконами. Часовню снесло одним прицельным залпом из БМП, но и этого штурмующим показалось мало: поверженную палатку, из-под которой не доносилось уже ни звука, для гарантии проутюжили гусеницами – чтоб уж точно никто от туда не восстал...

Между тем ребятам удалось без ущерба под шальными пулями обогнуть здание – и как раз для того, чтобы попасть под уже прицельный огонь. Они оказались у настезь распахнутого подъезда, куда как раз волоком затаскивали босого человека с лицом цвета свернувшегося молока. Голова его запрокинулась и моталась, неестественно выкатившиеся глаза смотрели снизу вверх жалобно и жутко... Двое тащивших его мужчин, один из которых, как на миг показалось Любе, был с ног до головы облит бордовой краской, глянули на парочку, как из-под земли выросшую перед ними, со смутным удивлением. Один бросил на ходу:

- От Горбатого моста досюда все ранеными усыпано. Руцкой разрешил затаскивать их в подъезды... Помогайте, не стойте...

Люба подняла голову: на расстоянии около ста метров несколько легких танков – она уже усвоила, что это более маневренные и опасные БТРы – методично стреляли из пулеметов по людям, не оказывавшим ровно никакого сопротивления, а, наоборот, устремившимся перебежками к пока еще открытому подъезду. Без движения лежало, на первый взгляд, человек пятьдесят. Перед самым входом Люба отрезанно отметила кровавую сумятицу – уже непонятно было, кто кого втаскивал, кто был ранен, кто помогал, кто просто, потеряв голову, стремился прорваться внутрь по спинам лежащих – и всех косили ни на секунду не прекращавшиеся очереди.

- Все равно надо попасть туда!! – прокричал Павел сквозь грохот боя. – Иначе и минуты не проживем!!

Люба кивнула, судорожно облизнувшись; в принципе, ей было все равно – она не собиралась просыпаться так рано. Но проснуться пришлось. Проснуться на самом пороге открытой двери, когда толкнувший ее в темный подъезд Павел вдруг поскользнулся со странным всхлипом и, словно пытаясь удержать равновесие, пробежал, согнувшись, несколько шагов. Они упали рядом – и молодой человек все еще крепко обнимал девушку поперек спины. Двери сзади захлопнулись, и настал полумрак, потому что никакого электричества, оказывается, и

в помине не было. Люба приподнялась на локтях и огляделась: освещаемые только недружелюбным дневным светом, в коридоре вповалку валялись люди. Все залитые кровью, кто больше, кто меньше, некоторые задыхались, стиснув зубы и зажмурив глаза, иные, как заведенные, издавали страшные ритмичные крики. Другие растерянно ползали среди них на карачках, иногда нависая над стонущими и пытаясь перевязывать их подручными материалами – попросту говоря, грязными тряпками. «Такого не может быть, – твердо решила для себя Люба. – Откуда я здесь? Как все могло произойти так быстро?» Ей опять показалось, что эта чересчур натуралистичная массовка вот сейчас по команде поднимется, забалагурит, доставая сигареты, посыплются грубоватые анекдоты, разряжающие обстановку, и все станет просто и спокойно...

- Паша, – позвала она, толкая его. – Что нам дальше делать?

- Люба, только не паникуй, – тихо отозвался он. – Я ранен. И, кажется, сильно.

Может, если бы он не предупредил, что ожидает ее паники, Люба и смогла бы удержать себя в руках. Но он, сам того не желая, подал ей сигнал сорваться и закричать:

- Нет! Не смей! Только не это! – ее заколотило в приступе слепого ужаса; еще немного – и она, пожалуй, ударила бы Павла за то, что он так подло подвел ее – взял и вышел из строя именно тогда, когда она так нуждалась в поддержке сильного!

- Не ори. Лучше попробуй остановить кровотечение, а то я скоро потеряю сознание, – тускло приказал Павел; он явно экономил силы, чтобы они не уходили с неудержимо текущей кровью.

- К-куда... куда тебя? – крупно трясущимися руками Люба пыталась стянуть с него, так и оставшегося лежать на животе, набрякшую кровью куртку.

- В спину... Не в позвоночник, не бойся... Заткни чем-нибудь... Просто заткни покрепче, потом разберемся, – шептал он, из последних сил сдерживая малодушный стон.

Небольшая, похожая на раздавленную черешню рана оказалась чуть выше поясницы, слева. «Там ведь где-то почки», – смутенно подумала Люба, уже сдиравшая с шеи крепдешиновую мамину косынку. Сложив во много раз, она прижала ее к ране, и тут же ее озарило: она начала судорожно стаскивать с себя джинсы. Только сняв колготки и туго примотав ими к ране скомканный платок, Люба вновь надела и штаны, и кроссовки с носками – а до того ползала по склизкому полу вокруг Павла в одних трусиках, с голыми ногами – и никому не было дела до того, насколько они красивы...

В тот день еще много чего пришлось пережить: когда обстрел подъезда усилился, все, кто мог двигаться, долго перетаскивали неподвижных раненых в подвал, пригибаясь под подоконниками простреливаемых снайперами окон, и сваливали там уми-

рающих как попало. Кому-то хватило сил потом еще оказывать им новую помощь, с риском для жизни, как в Брестской крепости, пробираться куда-то за недоступной драгоценной водой – но полностью обессиленная и деморализованная Люба, отупев от усилий и слез, не зная, чего еще ждать, лежала на бетонном полу рядом с безмолвным, иногда слабо пожимавшим ей руку Павлом, и тихо всхлипывала ему в плечо.

Около полудня штурмующие ворвались в подвал – и она инстинктивно закрыла своего поверженного мужчину телом, ожидая очереди напряженной спиной – но женский голос выкрикнул: «Не стреляйте! Здесь все безоружные!» - и выстрелы прекратились. Все смешалось. Мысленно оглядываясь назад, Люба видела, будто сквозь полиэтиленовую пленку, что в кое-как освещенном подвале их уложили рядами, лицом в скользкий холодный пол, и стали хамски обыскивать, от души пиная замешкавшихся под ребра; у лежавшей по соседству женщины нашли в кармане шоколадку – и здоровый детина в бронежилете с рёготом пожрал ее, а потом длинно сплюнул сладкой коричневой слюной в ее, Любину сторону, и плевков упал прямо у нее перед глазами – но поворачивать голову не разрешалось, поэтому она только зажмурилась, сдерживая горячие слезы унижения... И все-таки она ни на секунду не сомневалась в одном: это все равно почетней, чем если бы она вчера... на сцене... Люба знала, что Павел также распластан на полу рядом, но не слышала его дыхания и все время боялась, что он уже умер... Руки всем велели сложить на затылке, шевелиться и разговаривать запрещалось; она слышала, как какой-то обыскиваемый мужчина твердо потребовал вернуть ему водительские права – в ответ раздался дружный хохот, мерзкая брань и сочный удар, а потом кто-то из победителей, похабно растягивая слова, объяснил: «Они тебе больше не понадобятся, по-онял, козли-ина?!» Только через час разрешили опереться на локти и закурить, а когда кто-то спросил, долго ли их так продержат, ему небрежно ответили: «Пока не поступит приказ пустить вас в расход»... В глубине помещения завывали женщины, послышался густой мужской мат – а Люба не легла на локти и не закурила, она подползла поближе к Павлу и обхватила его. Теперь ей стало слышно, что юноша пока дышит, и снова припав к его неподвижному плечу, даже в такие минуты парадоксально надежному, впервые за этот нездешний день Люба вспомнила о своей маме – и негромко зарыдала... Ведь мама уже знает, что дочь пропала в революционной Москве, не явилась на выступление, не вернулась домой... И где-то в Петербурге плачет, по крайней мере, еще одна мать – это мама Павла... Люба тихонько скулила, обливаясь слезами, боясь привлечь к себе внимание и получить зубодробительный удар ботинком в лицо, как только что получила черноволосая девушка слева, принявшаяся было причитать...

Было около пяти часов по полудни, когда двери их подъезда номер двадцать внезапно открылись. Громовой голос грянул с потолка: «Для безоружных мирных граждан открыт коридор «Альфа». Выходить по два человека, раненых выносить к санитарным машинам. Кто не несет раненых, руки держать на затылке». Павел давно потерял сознание, лежал с заострившимся, словно золой присыпанным лицом, но возможная близость медицины придавала Любе сил и надежды. Невольно виделось, как, позвонив маме домой – сказать что жива, она останется здесь, в Москве, и сутками не отойдет от его постели, будет выхаживать нежней родной сестры, засыпая только на четверть часа, на коленях, прислонившись к его подушке – и вот, он когда-нибудь откроет глаза... Неожиданно крошечного, как котенок, Павла на руках у рослого мужчины и ее, панически ухватившуюся тому же мужчине за полу, вытолкнули прямо в ревущую толпу: «Коммуняки! – ревели вокруг. – Б...и красножопые!» - Люба едва осознавала, что это относится и к ней тоже. Вдруг прямо перед ними оказалась машина скорой помощи, Люба побежала вперед, чтобы запрыгнуть внутрь и принять любимого с мощных рук мужчины, но фельдшер устало глянул на нее и негромко твякнул: «Брысь». Она увидела, что и на каталке, и на кушетке уже лежат две сплошь покрытые кровью голые женщины, как две огромные разделанные туши, а для Павла есть место только на полу – его почти грубо втоптали в машину и стали закрывать дверцы... И только тут в ней прорезалось до того словно дремавшее сознание:

- Куда вы его повезете? – дико крикнула она. – Куда, ради Бога, скажите!!!

- Уйди, девочка, не до тебя... - буркнула ей молодая бледнокудрая медичка, споро разрезая на Павле заскорузлый от крови свитер.

Тогда, себя не помня, Люба ухватила за его тощие ноги в огромных серых кроссовках и стала трясти их, зовя его по имени.

- Убери малолетку – поехали! – раздался женский голос – и ее сразу сильно толкнули в грудь.

Девочка чудом не упала, успев ухватиться за болтающуюся дверцу и, пока ту не вырвали из рук, обливаясь слезами, все кричала и кричала внутрь уже медленно поехавшей машины:

- Паша, как твоя фамилия??!! Как твоя фамилия, Паша??!!

Глава 4 На краю света

Конечно, он помнил. Такое и захочешь – не забудешь. Гнал только воспоминания прочь – что ж тут удивительного... Места здесь дикие, конечно, но чтоб такое... И, главное, сколько непонятностей

осталось... А милиция... Что милиция, тогда девчонки были... А если рассказывать, то даже не знаешь с чего и начать... Может, как увидел ту девчонку заплаканную у сарая, где Пашка трудился? Да нет, все раньше началось, месяца за три. Пришло ему тогда – помнится, стоял уже апрель, всюду дул теплый шелонник (1) с материка – письмо от однокашника по семинарии. Тот как-то (рука, наверное, дружеская вела – не без этого) ухитрился в Петербургскую епархию перевестись, окормлял там малый приходец. Так вот, умерла у него новоначальная прихожанка. Новоначальная-то новоначальная, а исповеднического венца сподобилась: баптисты ей деньги давали на лечение какого-то мудреного рака, взамен прося в их веру перейти, ну, а она отказалась. В Церкви без году неделя – а вот, пожалуйста: прямо по-евангельски – взялась за плуг и не стала оглядываться назад. И умерла, конечно, – в мучениях. Остался у нее сыночек-юноша. Рисовать горазд, хотя в тамошнюю Академию Художеств два раза провалился – ну, да это не показатель. Непростой парнишка: Белый Дом, вроде, защищал, даже ранили его там, почку прострелили и что-то еще важное. Полгода по питерским больницам – мать, сама еле живая, его, полумертвого, домой как-то доставила. В Москве только пулю вынули, перевязали – и до свидания. Тамошние доктора-сволочи получили приказ тех, кто *по ту сторону* был, особо не лечить – мол, *недобитые*. А как он на поправку пошел – так и мать его умерла: видать, только тем последнее время держалась, что сына выхаживала. Отца, конечно, не было, давно уж их бросил. Парень места не находил себе – в храм, правда, стал захаживать, стоял там в уголке чуть краше покойника. Вот и пришла однокашнику идея: пусть сюда, к нему, отцу Олегу, на короткое северное лето съездит. Не бесполезный человек, так или иначе пригодится, может, нарисует что. Обьесть уж точно не обьест: клюет, как птичка Божья. А то, еще дело – у отца Олега три поповны на выданье, не за рыбаков же на тонях (2) их выдавать. Словом, пусть возьмет мальчишку под крыло месяца на три-четыре, чтоб оклемался, в себя пришел, посмотрел на новый край, ремесло какое-нибудь освоил – не всё сидеть скрюченным над мольбертом...

Не возражал отец Олег: дом тут священников добротный, пятистенки на подклетьях, поместить есть куда, да и работы край непочатый: церковь в Койдино поставили на деньги жертвователя, что был родом отсюда, поехал, как водится, хорошей жизни искать – и нашел, вот что удивительно! А еще удивительней, что про малую родину не забыл и решил храм ей построить, потому что ближайший – одиннадцать километров пешим драгом по тундре – не набегаешься. И построил – на месте того, что большевички в свое время с землей сравнивали. Даже старообрядцам в соседнем селе – и тем больше повезло: их-то церковь просто под магазин пустили... Поставить-то поставили с Божьей помощью – так

ведь где церковь там и заботы: вот прислали его с семьей окормлять здешних суровых обитателей и просвещать, по мере возможности, ненцев-язычников. Жить-то надо, зарплаты ведь не положено! Ну, понятно, огород разбили, скотинку какую-никакую завели. Попадья – сугубо городская женщина – давай с тремя дочками убиваться. Да еще и воду таскай, дрова руби-пили бесконечно, потому что полярная зима кажется, что всегда, а лето... Что там Пушкин писал про Псковщину: карикатура южных зим? Да там же курорт, хоть не топи вовсе! Сюда бы Александр Сергеич приехал – вот бы вдохновился... А отец Олег, понятное дело, что зима, что лето – на санях или пехом по тундре, как заведенный: там треба, здесь треба – изголодались люди по ненаказуемой молитве... Даже ненца одного с женой крестить сподобился – вот какие дела, прямо по Лескову...

Паренек – Пашей звали, Павлом, имя красивое, да ко многому обязывает – как сошел с трапа «Аннушки» у них на аэроплощадке – так отец Олег головой покачал: вот это помощника Бог послал – да ему ж постельный режим, кажется, нужен! Идет себе мальчишечка с рюкзаком за плечами, волосья, как у духовного, в хвостик сзади схвачены... Идет – а самого под тяжестью рюкзака из стороны в сторону качает. Дула бы морянка (3), не шелонник теплый – так, глядишь, и унесло бы. А тут не унесло: этюдник на плече не дал. Здоровый такой этюдник, парнишку так вправо и заносило... Но ничего, правильный оказался: подошел чин-чином, руки лодочкой сложил... Благословил его отец Олег, пригляделся повнимательней: лицо хорошее, глаза ясные такие, светло-серые – и грусть на дне этаким темным пятнышком. Ну конечно: мать похоронил, один во всем свете остался, да и вообще – *то* видел. Вот этими самыми ясными глазками...

Выделил ему отец Олег в своем большом пятистенке небольшую, но светлую и теплую комнату. И полочка книг там была – от прежнего хозяина, мирского, не духовного, осталась. Романы там, альбомы всякие – девчонкам своим не давал: еще наберутся чего. А этому уже ничего не сделается, хуже не будет: питерский. И вот что случилось неделю примерно спустя. Приходит к нему в комнату вечером Паша (а они уж привязались к нему, как к сыну, попадья, чай, за будущего зятя держала, хотя с поповнами он вежливо-то вежливо, а чтоб ухаживанья какие – того ни-ни) и говорит, застенчиво так: вот, посмотрите, мол, отец Олег, там альбомчик у вас лежит художественный – так в нем целый раздел с иконами, я и дерзнул: деревяшку загрузил, да и скопировал одну – Богородицу Казанскую. Ну, вроде как, не совсем точно скопировал, а как чувствовал... Отец Олег зыркнул на него поначалу строго – как это, мол, икону – да без благословения! – а глянул на фанерку, что Паша ему протянул – да и на лавку осел, медленно. Сам-то он про иконопись знал только то, что в семинарии проходили, но не на иконописном же

учился! Несколько раз сглотнул судорожно, глаза с иконы на Павла переводя – и обратно. Погрешности там были, конечно, какие-то, если б профессионал глянул – так, поди, и раскритиковал бы, да не в том же дело! Живая была икона, вот что! Дышала прямо, в душу глядела. А у любой иконы известно, какое назначение: окном быть – в горний мир. Таким, чтоб через него туда хоть одним глазком глянуть можно было... Так вот, с колотящимся сердцем понял отец Олег: тут не глянуть – тут *войти* ничего не стоило. Сам себя окоротил, помнится: э-э батёк, в прелесть не впади на ровном месте! Заволновался, велел Павлу альбом тут же принести – и уже вдвоем смотрели чуть не до заутрени: решали, что еще копировать, какого размера доски заказывать – вдохновились оба настолько, что, как мальчишки, спорили, без учета всякой там субординации. «Ведь он же самородок! – как птенец в ладонях, билась в сердце отца Олега ясная догадка. – Надо же, кого Господь послал! А я-то, дурак, для баб своих помощника по хозяйству у Него выпрашивал!»

В мае расчистили Павлу небольшой сарай под мастерскую – а он и рад стараться, почти что поселился там: верно, душа изболевшаяся высоким искусством вылечиться хотела. Случалось, и обед ему туда носили – впрок, слава Богу, шло: к лету уж на тони рыбаки приехали, семгу, случалось, и по пятнадцать кило им к столу приносили. Рыбе – что? Какое ей дело, что перестройка началась, и рыбсовхоз дотла разорила – она как валила валом при коммунаках – так и сейчас на куйпоге (4) взрослые семги, здоровые, как молодые акулы, аж кувыркались, хвостами плеща. Раздолье им стало, ловушек поубыло. Раньше, говорили, как начинался отлив, весь берег оставался покрытым трепещущей рыбой – знай, только, лупи ее колотушками, да собирай себе на здоровье. Теперь рыбаков, что промышляют, по пальцам пересчитать можно – почти что, можно сказать, браконьерствуют... Но на столе-то семга эта всегда – и зимой, и летом – то вареная, то тушеная, то соленая, то копченая, то вяленая... Икрой красной и собаки зажрались... Глаза б не глядели на эдакое изобилие, прости, Господи. Суп – тоже только рыбный, жирный такой, что губы потом полдня не оближешь: рыба, соль, перец, лавровый лист с материка, и все. Ложка стоит – так густо. А вот картошка – деликатес. Хлеб и по мелочи что – это «Аннушка», спасибо ей, доставляет два раза в неделю, а так – все свое. Он еще морзверя застал, его зимой артелями били – из винтовок, на лодках среди льдов ходили. Опасный промысел, ничего не скажешь... На берегу салотопни стояли – шелегу топить. А у кого из тюленей детеныши оставались – тех дорасчивали, целая ферма по этому делу была. Цех еще работал по обработке шкур, изделия меховые шили – эти из песка: испокон веку тут живет. Потом прахом все пошло, по ветру развеялось, как пепел, за каких-то три года. Ничего, зато церковь поставили: раз церковь есть –

значит что-то, может, и восстанет из того пепла...

Так вот, Павел-то в сарайчике своем на семге как на дрожжах поправлялся: в Питере он ее там с рождения не видывал и названия даже не знал, а тут она ему вроде лекарства стала. Смотрели поп с попадьей – нарадоваться не могли: уж и румянец у их Пашки сквозь нездоровый воск на щеках просвечивает – да и щеки те округлились, лицо как-то оформилось, что ли, черты резче стали. Бородку он решил отпустить тогда – думал с тайной усмешкой отец Олег, что редкая полезет, как у отрока, – ан, нет, через две недели уже вполне мужеская была, почти, можно сказать, густая – светлая, курчавая – загляденые. Павел не замечал, конечно, а матушке в глаза бросилось, что стал он к Петровкам таким – хоть самого на иконе пиши – прямо князь древнерусский... Эх, знать бы тогда... Постом его было решено не мучить – пусть себе отъедается рыбой на правах болящего. И действительно, округлился, глаза заблестели – чем не жених, думалось матушке. Жених, конечно, оказался. Да не про их честь...

А на следующий день после праздника первоверховных апостолов Петра и Павла, когда, как могли, не только праздник, но и Пашины именины отметили и подарок ему всей семьей сделали (толстый свитер, попадьей любовно связанный и поповнами вышитый, серый, с коричневыми оленями) – тут он ее и увидел. Прочь от сарая шла городская девчонка в хилой для их краев курточке, ботинках и с хвостиком, по виду – десятиклассница. Шла и рыдала, только тихо, без воплей – ладонью себе рот изо всех сил зажимала. Помнится, удивился отец Олег – это что ж, выходило – Пашка приезжую девчонку так разобидел, что она белугой ревет? Не похоже на него было – скромный, вежливый, на кошку не прикрикнет никогда, не то что на человека... Нет, серьезно, если кошка их, бывало, на табуретке спит – он ее ни за что не сгонит, себе другую табуретку принесет. А нет другой – так на лавку сядет. Вот какой парень был, не мог он такую малышку обидеть. Подошел к ней отец Олег заинтересованный: ясно же, что девчонка только что на «Аннушке» прилетела – с родителями, конечно, таким молоденьким одним летать не разрешается. Интересно, чья девчонка? Так и спросил:

- Девочка, ты чья? И чего это размокропогодила?

А она эдак отвернулась, слезы по щекам размала, носом шмыгает и отвечает вполне независимо:

- Ничья, одна я здесь. Сейчас обратно улечу на том же самолете, не беспокойтесь.

А что ему беспокоиться? Не его дело, в конце концов, раз она, оказывается, совершеннолетняя, одна летает в свое удовольствие. Но в сердце засадило: ясно же, что скорби у человечка; выговор у девчушки интеллигентный, ручки беленькие – домашняя, значит. Кроме того, он здесь привычно чувствовал себя неким властелином душ: как что не

прямо идет – так это его, отца Олега, вотчина.

- Э-э, нет. Так не пойдет, – властно заступил он ей дорогу. – Только что прилетела – и сразу «улечу». Откуда сама?

- Из Петербурга, - всхлипнула она, все еще не в силах удержать слезы.

«В такую даль прискакала! Значит, все-таки Пашка», - пронеслось у него. Вслух сказал:

- Так. А ревешь чего?

- Неважно, - девушка попыталась обогнуть отца Олега. – Дайте пройти, самолет улетит.

Не мог же он ее силой удерживать! Спросил – глупо, наверное, но ничто другое на ум не шло:

- Что, с Пашкой нашим, что ли, поссорились?

Она помотала головой, и вдруг слезы просто брызнули у нее из глаз, как под давлением, отец Олег даже испугался – схватил ее за плечо. Девчонка вся дрожала от беззвучных рыданий – он только, как дурак, по голове ее гладил.

- Не поссорились... - сквозь рыдания вырывалось у нее. – Просто я приехала... Приехала... Наугад... Не была даже уверена, что это он... Не знала...

- Так *не он*, стало быть? – догадался отец Олег.

- Он... - тряслась она уже у него на плече. – Он... Только... Я ведь пока ехала – не думала, что делать, если это окажется он... Что сказать ему... Ведь почти год прошел! Он уж и лицо мое забыл, наверное, и как звать, тоже... А тут я – приехала за ним на край света – здравствуй, милый, я твоя Люба... - Люба горько усмехнулась сквозь слезы. – А у него, поди, и невеста есть... - отец Олег тихо кашлянул, потому что невестой Павла последнее время все упорнее видел свою старшую, Катеньку, но Люба не заметила: - Я в Москве его встретила, на баррикадах, когда Белый Дом расстреливали... Мы вместе вбежали в подъезд – и тут его ранило... Потом мы на полу с ним... Столько часов... В крови... А когда «скорая» его забрала – меня вытолкнули... Я фамилии-то и не знала – все Паша да Паша... А он - без сознания... И только неделю назад... Однокурсница замуж выходила за парня одного – здесь родители его живут... Он на свадьбе про Койдино это ваше... рассказывал, да и говорит между делом, что живет тут у попа богмаз из Питера... И описывает... Описывает его... С издевкой так, будто блажененького... Я сразу поняла, что это он... Меня как подкинуло. Расспросила, где да что, да как добраться и – в ломбард бегом... Заложила все золото, что было – два колечка от бабушки, цепочку, что мама подарила, сережки, тетин подарок... Написала пачку открыток для мамы, а даты поставила с разницей в пять дней... Поручила подружке, что в деревню к родным погостить собралась, отправлять их по очереди маме из той деревни – и отпросилась будто бы с ней вместе ехать... Сказала, что сессию сдала, а на самом деле институт бросила... Билет купила до Архангельска. А там этот... - она содрогнулась. - АН-2, что ли...

Господи, как трамвай летающий... Чуть не умерла со страху... И вот, прилетела, спрашиваю человека, не знает ли, где тут художник из Питера живет... Он, говорят мне, сейчас во-он, в сарае... Работает... Я и побежала – думаю, посмотрю сначала, вдруг не тот, чтоб глупость не вышла... Подхожу – дверь настежь, а он почти спиной ко мне, у мольберта... Но я и со спины узнала, я ведь эту спину... Перевязывала я ее тогда... А на мольберте – огромная икона стоит – то ли ангел, то ли... Не знаю кто, с крыльями... И солнце из окна – прямо на них обоих, на Пашу и ангела, холодное такое, низкое... У вас здесь совсем другое солнце, не как у нас... А он так весь в работе, что не видит, не слышит, ни до чего ему... Стою я, стою, смотрю на все это – и думаю: чего ты, глупая, приперлась? Вот человек, дело у него. Дело настоящее, призвание. А ты приехала только душу ему смутить. Сейчас вот затянешь его в это свое мелкое – поцелуйчики какие-нибудь... Разбередишь – а дальше что? Кто ты ему, если честно? Сутки вместе провели, да и то из них последние несколько часов он без сознания пролежал... - Люба по-взрослому, мудрым бабьим движением махнула рукой и высвободилась: - Пустите, товарищ священник... Действительно ведь улетит самолет – что я тогда делать буду...

Отец Олег растерянно выпустил ее, и Люба тихо пошла прочь по улице, ведущей к их тундровому аэродрому – попросту ровной площадке с будкой – посреди тундры. Ну и хорошо, что улетает: он Катьку к осени Паше сосватает. Жена она, ясно, будет ему хорошая: девка с головой, здоровая, в теле – не то что эта истеричка, прости, Господи... Ровно минуту смотрел он ей вслед: тяжело шла, как приговоренная – да уж и Бог с ней, ангела в дорогу... Посмотрел-посмотрел – и сорвался с места, назад побежал, как оглашенный. Хорошенькое зрелище, нечего сказать: подобрал подряник, мчится по деревне, не разбирая дороги, поп, будто черти его гонят! Ворвался в сарай – едва дыхание перевел:

- Скорей давай! Там эта твоя, как ее, – Люба! Да, да, из Белого Дома! Беги, болван, чего стоишь, она сейчас на «Аннушке» обратно улетает!

Никогда бы не поверил, если б сам не увидел, что лицо у человека в секунду может так измениться. Румянец словно вниз стёк, губы побелели, щек как не стало, одни глаза остались – на пол-лица.

- Люба... - выдохнул Павел – и миг сдуло его; отец Олег даже шагов не услышал – как на крыльях полетел парень.

Ну, теперь в обратный путь можно было степенно идти, как по сану положено... Когда до площадки добрался – «Аннушки» уж и след простыл, а посреди летного поля – так сказать, картина маслом: стоит девушка эта питерская, рюкзачок ее рядом валяется; Пашка – на коленях перед ней и ноги ее обнимает, как бешеный, а она ему волосы его длинные обеими руками ерошит – такие вот дела... Народ кругом северный, суровый, близко не подходит, с расстояния

дивится на материковые страсти... «Да... – подумалось, помнится. – Этой осенью Катерина моя точно замуж не выйдет...»

Ну, и завертелось все с места в карьер, как и водится в таких случаях. Приехала-то приехала девушка, а что с ней дальше делать – селить, например, ее куда? Хозяйку ей найти да и пусть живет на другом конце поселка? Куда там! Только посмотреть – и сразу ясно, что голубков этих друг от друга теперь только с мясом оторвать можно. К парню в комнату? Это уж извините: он священник – как блуд под собственной крышей терпеть? Выгнать вместе с Пашкой – и пусть как хотят дальше? Матушка так и сказала сгоряча – гони, мол, его с его девкой, гнилой он оказался, видеть больше не хочу. Это она не по злобе, просто уж больно большая надежда в ней выросла на него как на зятя. А Павел, если с холодной головой глянуть, чем виноват? За Катей не ухаживал, глазки ей не строил – просто держался, дружески – какая тут гнильца? Икон одних сколько им в храм написал, не церковь стала – загляденье; и не взял ни копейки, наоборот, еще должником себя считал. Так, конечно, иконы не пишут, понимал отец Олег – не профессиональная это иконопись – так ведь иначе б никаких не было: штук десять маленьких, что прихожане из домов своих пожертвовали, висело по стенам – и все. А теперь только на Царские Врата глянешь – жить хочется. После всего этого взять и выгнать? Не побожески, с какой стороны ни взгляни... Но, когда первая обида-то поулеглась, матушка, от природы отходчивая, сама посоветовала: «Так повенчай их тогда, Олег, Бог с ними – и пусть живут»... Увел Павла на другую половину, пока девочку кормили с дороги, да и выложил ему напрямик все эти соображения. Тот и секунды не колебался: «Венчайте скорей, батюшка», - даже у Любы не спрашивал, так уверен в ней был... На том и порешили сразу же. Предложила им матушка в сельсовет, пока открыт, сбежать и расписаться сначала – да тут невеста заартачилась: «Мама моя не поймет: для нее нужен петербургский Дворец Бракосочетаний с фотографом, платье белое и фата до пят, а потом чтоб гости – и стол бы ломился, иначе это не свадьба. Вернемся домой – и сделаем так для нее, чтоб не обижать. А то до конца жизни не поверит, что дочь замуж вышла». Ну что тут скажешь? Ночь Люба на их половине переночевала (младшие-то дурочки еще были, только хихикали, а вот старшая спать к подруге демонстративно ушла – что ж, тоже понять можно), а утром отслужил отец Олег обедню, исповедовал-причастил обоих – да и обвенчал во славу Божию. Невеста стояла в джинсовой юбке (другой в рюкзачке не нашлось, все брюки да брюки), синей шерстяной кофточке и матушкином белом платочке, а жених в джинсах, как всегда, и новом дареном свитере... Серьезные оба... Один венец держала матушка, другой – Анатолий Иванович, человек заслуженный, герой войны... Две младшие дочери смотрели, как венчал, но Катя так и не пришла

– никто и не настаивал. Накинули все потом штормовки, вышли и сфотографировались на память: самая маленькая их щелкала, сама сниматься не стала, застеснялась... Отпечатали каждому по одной, отец Олег многие годы потом свою хранил...

Вспоминал еще один эпизод забавный – на свадьбе уже, когда выпили-закусили – о том никому никогда не рассказывал. А было вот что. Как отец Олег на двор вышел за понятной надобностью – так его Пашка на обратном пути подкараулил и в сторонку отвел – а сам, как дитя, смущается: «Отец, - говорит, - Олег, можно мне к вам, того – как к мужчине... Спросить-то ведь здесь больше не у кого... Видите ли, у меня с женщиной – ну, короче, не было еще никогда. Что мне теперь с женой делать? Как бы не опозориться...» У отца Олега аж оленина в животе заурчала: надо же, вот привел Господь – двух девственников перевенчать, это ж редкость какая в нынешние времена-то! Сделал он ему отеческое внушение, что, мол, позор ему был бы, если б он к своим восемнадцати уже наблудил, как кот гуллистый, а так – дерзай, мол, паря, с Божьей помощью, природа сама подскажет, куда... кхм. И, видать, подсказала природа правильно. Наутро специально на молодую искоса поглядел – ничего, довольная была, улыбалась счастливо: стало быть, не оплошал Павел, рода мужеского не посрамил. Таил в бороде улыбку отец Олег: сам тогда не остыл еще до этого дела, тридцать восемь только весной стукнуло...

До перестройки в этих краях водка-матушка главной валютой была: завозили ее в магазин редко, чтоб людей не забаловать, а приедем, чтоб сыту-счастливу быть, ящик ее, родимой, привезти с собой надо было. За одну поллитру давали ненцы бочку сладкой морошки – для приезжих невидаль, а здесь заелись все, – иногда оленью ляжку, а когда и выделанную шкуру песца выторговать можно было. Ох, и знатный песец здесь был, в феврале и сам отец Олег, что греха таить, с ненцами в тундру бить его ходил, потому как именно тогда у этого зверя лучший мех в году – белоснежный, без единого темного волоса. Летом грязно-бурым становится, не нужен никому. Промышляют его ненцы в песчаных сопках на берегу Белого моря, а еще зверь этот хитрый в подземных лабиринтах живет – главное, вымани! А стрелять ему нужно в глаз, чтоб драгоценную шкуру не попортить. Для ненцев – плевое дело, а он, дурак, сколько меху извел, пока научился! Своих зато всех потом мехом обеспечил. И вот однажды вдруг берет Катя – и Любе самую богатую шкуру из собственных дарит. Люба смущается, а Катя – пуще: это смиряла она себя так, понял отец, жалеючи – и ее, и шкуру: лучшая была... А Люба все морошкой не могла наестся – куда там земляника средней полосы! Паша ее горстями с руки кормил – смешные такие, дети всё ж, куда денешься. Ходили только за руку, по тундре гуляли часто – день-то не кончался, солнце как повисало над горизонтом – так все и висело, подгля-

дывало... Это только кажется, что хорошо: на ночь ставнями наглухо закрывались, иначе не заснуть. А молодым хоть бы что – день с ночью перепутали, одно слово: медовый месяц. Работа встала, конечно, да грех осуждать – дважды ведь такое в жизни не повторяется. Ну, в смысле – не должно повторяться... Ходили они и за несколько километров к рыбакам на тони, на глядень (5) лазали, смотрели, как сети выправляют, как прилив уходит, оставляя огромных рыбин серебряных колотиться на желтом песке. Рисовал там Павел много портретов рыбаков – простым мягким карандашом: видать, от красок тоже отдохнуть хочется. Рисунки редко домой приносил – обычно сразу дарил там на память. У него вообще правило такое было: нарисовал – подарил. Часто в гости ходили, у Анатолия Иваныча чай пили не раз – любили, когда про войну рассказывал. А он мастер был истории всякие травить, не в пример иным фронтовикам, что о войне и вспоминать не могут. А этот ничего – хоть и ранило его миной сильно: весь живот перепаян был старыми шрамами вдоль и поперек... И у ненцев на становище тоже были, Люба все оленей гладила. Ненцы народ дружелюбный, на лицо только корявый: поначалу все, конечно, одинаковыми кажутся – с плоскими коричневыми лицами, выпяченной нижней губой и тонкими усиками, странными такими, вниз растущими, к подбородку. Шкуры носят зимой и летом, снимают ли когда – загадка, но близко лучше не подходить: запах с ног валит, потому что они еще и шелегой (6) натираются от холода – а может, и для красоты, кто их разберет. Их женщины Любе кошель бисерный подарили, мехом отделанный – красотища, она наглядеться не могла... А иногда молодые просто по тундре рука об руку гуляли – так и видел отец Олег потом много лет во снах своих два темных силуэта влюбленных на фоне низкого арктического солнца...

Всего медового месяца отпущено им было недели три с хвостиком – а потом принес Паша жене своей телеграмму. Обычай у него был такой: всегда почтальона лично у «Аннушки» встречал, и всю почту, что в их дом приходила, сам приносил, бегом. Телеграмму прислала та подруга, что три недели за Любу из деревни открытки отправляла. Туда, в деревню, другая телеграмма пришла: Любина мама в больницу попала – сердце. Улетела Люба в свой Питер с той же «Аннушкой» - даже проститься с мужем толком не успела: собиралась, как сумасшедшая, белая вся стала от страха. А может и не от страха: бледной она уж неделю как ходила, и за столом толком есть не могла – мучило. Отец Олег с попадьею тогда понимающе переглядывались: ясно же, что благословил Господь, что тут еще могло быть... К самолету ребята бегом по площадке бежали, Пашка с рюкзачком ее кожаным. Матушка только и крикнула вослед: «Песца своего забыла!» - да Люба уж не оглядывалась... «Через неделю буду! – надрывался ее молодой муж, когда она вверх по трапу шла. – Много – дней через

десять! Только «Успение» закончу!» Она обернулась у входа, кивнула ему и исчезла – отец Олег издали смотрел...

О том, что дальше происходило, он без слез и через двадцать лет вспоминать не мог. А если рассказывал кому, так самыми скупыми словами. А день тот, перед постом – и вообще – последний, хорошо помнил: и захочешь – не вырвешь. Морянка в тот день впервые после лета задула, скорую осень обещающая. С утра, помнилось, самолет прилетал, и Пашка, как всегда, про почту спросить бегал. Письму от Любы рано было, но, может, телеграммы она ему слала – про них он не говорил, только про первую, что долетела, мол, и маме лучше. К ним в дом в тот день корреспонденции не было, и Паша не сразу в сарай свой работать пошел, а еще с Анатолием Иванычем дома у него посидел сколько-то... Только в полдень за работу взялся, отец Олег еще проведать его зашел: матушка пирог с оленевой в тот день испекла – заговеться, так он кусок ему отнес с пылу с жару – подкрепиться. Сидел Паша задумчивый и – мрачной тучи. Попенял ему отец Олег по-родственному: негоже так короткой разлукой убиваться, грех это: послезавтра полетишь, а третьего дня, даст Бог, уже и свидитесь. С тех пор надолго зарекся глаголы будущего времени употреблять... Потому что тою же ночью – на этом месте отец Олег неизменно начинал плакать и не стеснялся – убили Павла на его половине. Времена лихие были тогда, и полушки жизнь человеческая не стоила. Впрочем, и потом не дороже. Увидел его утром Анатолий Иваныч, фронтовик их легендарный: зашел книжку парню занести, про которую тот вчера у него спрашивал, да не нашлась сразу. Толкнул дверь – а она открыта, впрочем, по привычке не всегда они и запирались. Павел в постели своей лежал – с перерезанным горлом. От крови все кругом коричнево стало... Кругом – разорение полное, перевернуто все, разворочено... Как Иваныч заорал страшным голосом – так попадья первая со двора примчалась, через плечо ему глянула – и на землю. Саму потом еле отходили... А отец Олег как застыл от такого зрелища, так и через двадцать лет еще не до конца разморозился. Во всяком случае, две вещи с ним с тех пор случились – странные: смеяться напрочь разучился, и делу тому самому, мужскому... Ни о том, ни о другом не пожалел ни разу... Милиция прилетала, конечно, куда ж без нее? Допросили всех чин по чину, но с прохладцей: то ли знали убийца, да свой был, то ли найти не надеялись. Никто ничего не видал-не слышал, разумеется. Вещи Павла забрали все подчистую – и одежду с обувью, и краски с кистями и мольбертом в придачу, и рисунки, что не раздарил – все до одного, даже зубную щетку увезли – вещдоки, дескать. Про песца Любиного и говорить нечего. Хоть иконы из церкви не вытащили – и на том спасибо. Забыли только фотографию со стены снять – ту, свадебную: Паша ее в рамочку одел и на стену повесил – все любовался. Думали, навер-

ное, что хозяйская, вот и оставили, как и книги – те тоже не тронули... Хотел было отец Олег на свою половину карточку унести, да передумал: у самого такая же в столе лежит, а эта пусть здесь останется. Может, приедет еще Люба, так пусть хоть что-то в их комнате, как при муже ее, сохранится.

Долго голову ломали, как ей сообщить о таком ужасе: ведь ждет же, бедная, не знает, что и думать. «В положении она, - твердо решила матушка. – Напишем – чего доброго, выкинет. Или на грех пойдет, что еще хуже. А так, хоть и мучается, и терзается – но, как ни погляди – а с надеждой жить проще... Официально ведь не жена она ему, в паспорте у него не пропечатана – отсюда ей не сообщат. Если сама не приедет – через девять месяцев расскажем. Оставь, Олег, на Божью волю...». Так и сделали.

Сначала телеграммы от нее шли отчаянные, все на один лад: где ты, мол, что с тобой, отзовись; письма потом приходили – одно другого толще. Их не вскрывали, в ящичек под иконы аккуратно складывали. После Нового года замолчала Люба – изуверилась, видно. Так и чесались руки написать ей, узнать, как носит, здорова ли – да как расспросишь, о главном не рассказав? В мае решили – пора. Две недели письмо писали и переписывали, все хотели удар смягчить. Так и не понял отец Олег, получилось ли. Но письмо отправили, а в начале июля Люба и сама, как они и ждали, приехала.

Она не плакала, строга была и серьезна. Сказала, что все слезы еще в осень ту выплакала. Чего только не передумала! Всякие мысли бывали, греха не таила: и такие проскакивали, что разлюбил ее и давно уж в Питер вернулся – да не к ней. Гнала их, конечно, да куда от них денешься? А если не это – тогда что? Тогда только самое страшное оставалось, но если так, почему матушка не написала? Не думала ведь Люба, что они поняли про ребеночка и щадили его, боялись... Всю беременность лететь порывалась, на месте все узнать, да не сдюжила: тяжело ходила, все по больницам маялась. Дома осуждали, думали, нагуляла, раз артистка – а она и не артистка давно. Про венчание и рассказывать не стала – только посмеялись бы да сказали еще, что ее вокруг пальца обвели, как дурочку. Потом дочку родила, Ларисой назвали, фамилию собственную пришлось давать, отчество – Павловна. А тут письмо их... Но слез уже не было – любовь свою она еще раньше похоронила, в сердце у себя, так вот. Как дочка чуть окрепла, головку держать стала – она сюда и вырвалась, на несколько дней только: могиле мужниной поклониться, на комнату, где счастлива с ним была, взглянуть, в церкви, куда муж иконы писал, помянуть его... И назад, потому как за ребенка страшно – и трех месяцев нет младенце... Они с матушкой тоже рассказали ей, что сами знали, про следствие. Да какое следствие, если родственников у парня здесь не было, и никто не погонял, не подмазывал? Ту первую версию, что еще при осмотре места происшествия сама собой

разумелась, так и не изменили потом: заезжали-де чужие по тундре, кто-то даже людей подозрительных в районе видел. Прослышали они-де каким-то образом, что в Койдино художник питерский всю церковь расписал, и теперь уезжать собирается. Подумали-де, что плату хорошую он за работу взял, никому ж и в голову прийти не могло, что такое благолепие – и за просто так. Потому и разор-де такой в комнате, что искали те деньги-то... А куда потом подались – ищи ветра в поле. Времена такие настали, что не один художник – сотни людей ни за что пропадают... Люба слушала и кивала, а глаза сухими оставались и горячими... Прямо перед собой смотрела – так думалось, взгляд тот стенку прожжет. Как она сказала – так и сделала. Обедню заупокойную отслужили, на могиле крест, что за зиму просел, поправили. По тундре долго одна ходила – отец Олег к ней в попутчики не набивался, понимал же: самого так первые недели мотало. Только он с молитвой ходил – ему легче было, а она молиться – научилась ли?

Проститься не довелось с ней, не судил Господь. Матушка – та простилась, потому как сама еще раньше в Архангельск с дочерью улетела, к отцу больному. А как раз накануне, как и Любе ехать, сани за ним из ненецкого становища пришли: ненец знакомый, крестник его, «от живота» помирать собрался. Думали, что ли, собратья его, что, раз родственник их шамана звать не хочет, то надо русского попа ему привести с той же целью: потрясет вокруг своей железной чашкой на цепях, из которой дым благовонный валит – и встанет сородич их. Причастил он больного, как следовало, сам аппендицит ему диагностировал, да пока с отправкой в Архангельск на операцию управлялся – уж и сутки прошли. Не дождалась его Люба, помчалась к своей девочке – оно и понятно, мать она и есть мать. Как вернулся – Иваныч зашел чайком побаловаться, поклон от нее передал, сказал, что не прилетала «Аннушка» в тот день, потому он сам на баркасе своем по Мезенскому заливу отвез ее по дружбе... Хотела, бедная, напоследок на Белое море взглянуть – столько раз с любимым вместе глядели... Посидели с ним, вспомнили... И про войну под сто грамм поговорили, не без этого... Больше он Любу никогда не видел. Писем тоже они ей больше не слали. Попадья отговорила: «Не бери ты ей раны, молодая она. Может, за другого замуж хочет: и ребенку отец нужен, и сама с девятнадцати лет вдоветь весь век не будешь. Напишет – ответим, а нет – и не трогай...». Но Люба так никогда и не написала.

Через восемнадцать лет оставался отец Олег все на том же приходе. Всех изменений – это что из иерея на шестом десятке протоиереем заделался. Стал протопоп, одним словом, как Аввакум – а что, до Мезени тут рукой подать. По молодости-то он в протопоповы писания особо не вдавался, а как за полтинник перевалило, под руку попала книга – и перечел. Старовер-то, конечно, старовер, упертый на

редкость – а что, плохо, что ли? Сам-то он, протопоп Олег, он из каких, интересно? Понятно, что из никониан, если по-аввакумовски; а для новых раскольников, тех, что Катакомбную Церковь основали – для тех уж и никониане хорошие. Для них он сергианин – а хуже и не придумаешь... Раз ступенька, два ступенька – дальше-то куда пойдём? Аввакума бы сюда: Литургию нынешнюю если б воочию узрел, особенно в городе где-нибудь – никониане тогдашние ему святыми бы показались; Типикон давно попрали, о Номоканоне и вспоминать неудобно. Иначе теперь вообще никто бы никогда не причащался, и его, недостойного протоиерея, сюда включая. А вот интересно, думалось: стал бы он, как Аввакум, на своей нынешней сергианской ступеньке до смерти упираться, если б вниз поволокли еще на следующую, называемую по имени очередного передового реформатора? И поймал себя на мысли: хотелось бы! Ох, как хотелось бы – только откуда взять такой силушки... И зауважал Аввакума с тех пор отец Олег, на восток, в сторону Мезени, что почти на той же широте лежала, все пристальней стал поглядывать. И мысли всякие роились, особенно когда Павла покойного вспоминал. Почему-то казалось, что у того точно сил бы хватило. Почему – Бог весть. На вид такой был, что соплей перешибить ничего не стоило, а сила – та чувствовалась. Настоящая. Только не расправилась еще, наружу не вышла. Не позволил Господь. Почему?

К тому времени они с матушкой во всем доме уж вдвоем остались – старушка, правда, была у них еще – за ради Бога и в церкви, и дома у них прислуживала. А дочки – те, как по новому времени водится, сначала в Архангельск учиться упорхнули, потом замуж без всякого родительского совета повыскакивали. Внуки, хотя и народились – да что толку: один в Москве, двое в Америке. Больше не хотят, избегать научились: карьеру делают – Номоканона на них нет... Только и мог отец Олег вздыхать тяжко, когда об этом думал – а что ты тут поделаешь. Вот если б Павел с Любой – у них бы... Вздыхал еще тяжелей и гнал от себя подальше ту мысль протопоп.

А летом как-то раз постучали в дверь. Матушка на ту пору в Архангельск отлучилась, прислуга туговата на ухо была, пришлось самому открывать. Кто там, никогда не спрашивал – какая разница: если и зарезать хотят, как Пашку тогда, то все равно ведь будет, как Бог попустит. Тяжелая дверь медленно отворилась, и отец Олег увидел Любу. Точь-в-точь такую, как вспоминал. А вспоминал он ее не скорбную с горячими глазами и тенями сиреневыми во все лицо. Нет, он всегда представлял, как она после венчания из церкви выходила. Такой и стояла теперь перед ним девятнадцать лет спустя, ничуть не изменившаяся. И лицо также светилось...

Через полминуты сообразил, конечно, – девушка еще и рта раскрыть не успела. Никем иным не могла она оказаться, кроме как дочерью Любиной,

Ларисой... Павловной. Отличалась, конечно, отличалась: ростом повыше, собой пофигуристей. И волосы, опять же, острижены. Одета хорошо, не потогдашнему. Тогда что здесь знали? Летом – штормовка линялая, зимой тулуп извечный. На Ларисе была нарядная синтетическая курточка – розовенькая такая, смешная... А лицо – не испорченное еще, это он сразу понял, все-таки священник с опытом. Такое и двадцать лет назад редкостью считалось, а уж сейчас-то...

- С мамой приехала? – спросил, не здороваясь.

И по тому, как она на секунду замялась, сразу понял. Понял, и в один миг весь какой-то тяжелый стал, будто секунда та ему лет десять возраста прибавила. Распахнул дверь шире:

- Ну, проходи, Лариса...

А она и не удивилась будто. Нынешние молодые, они такие – сообразительные. Хотя что тут – два и два сложить... Знает ведь, что как две капли воды на мать похожа. Девчонка кивнула с улыбкой, бойко скинула куртку в сених, кроссовки сбросила и в комнату уж в носках пошла, прихрамывая.

- Упала? – спросил сочувственно (не могла же у Павла с Любой дочка от рождения хромоножкой быть). – Садись сюда вот...

- Да, здесь уже, как с самолета сходила... Так укачало в нем, что, земля из-под ног ушла... - сдержанно пояснила девочка и, чуть смутившись, добавила: - Значит, я правильно сюда приехала, раз вы сразу поняли, кто я. Я название села прочла на обороте фотографии, где вы, моя мама и... папа, да?

Сердце у отца Олега подскочило так, что он аж ворот на себе рванул: она что, не знает, кто ее отец?! Про Койдино никогда не слышала?! Это ведь значит, что не Люба ее воспитывала – с самого начала... Господи, да что же там еще могло стрястись?!

- Лариса, когда твоя мама умерла?! Что она тебе рассказывала?! – крикнул так, что стекло в шкафу звякнуло.

Она глянула как бы изумленно:

- Я не знаю... Я у вас спросить приехала... Маму свою я не помню... Она пропала, когда мне было три месяца, ее искали, но не нашли. Узнали только, что в Архангельск прилетела в июле – и с концами. Меня тетя и дядя, как дочку, воспитали. А этой весной нашла я на даче, на чердаке, фотографию. На ней дата ровно за девять месяцев до моего рождения. Мы с бабой Зоей и подумали, что там рядом с мамой, наверное, мой отец. И вы тоже там, только моложе, не седой еще, – баба Зоя так и сказала: священник. И еще сказала, что, похоже, венчались мои родители. Денег дала, чтоб я поехала, вас разыскала и спросила, не знаете ли вы, что случилось с мамой и... папой... А вы тоже удивляетесь. Значит, не знаете... Зря я, выходит, ехала, да?

Отца Олега подбросило из кресла и замотало по комнате туда-сюда.

- Нет, нет, не зря... - бормотал он, пытаясь со-

брать в кучу разметававшиеся мысли. - Странное здесь что-то, вот что... Подожди, подожди, давай с самого начала... - Спыхватился: - Да тебе, наверно, чаю?! Или поесть с дороги?! Ты прости: оглоушило так с самого начала, что не сообразил.

- Да ничего. Меня доктор покормил, Григорий Петрович, - ответила Лариса.

Такая фраза простая – а зарозовела вдруг де-вушка, как шиповник в цвету. Он глянул внимательней и переспросил:

- Доктор?

Глаза опустила, русыми ресницами их прикрыв до половины:

- Да... Я когда упала прямо у трапа, меня муж-чина один поднял и в медпункт отвел. А там Григорий Петрович... Ногу мне посмотрел, сказал, что ничего страшного, и повязку эластичную сделал. Пока делал, расспрашивал, кто я, да зачем приехала... Я стала рассказывать, а он, вот как вы только что, сразу понял, что я после такой дальней дороги голодная. Повел в соседнюю комнатку, а там столик у него и плитка электрическая... Супу мне дал из красной рыбы и оленины кусок... А потом мы чай пили и... обо всем... разговаривали... Григорий Петрович сказал, что я могу в другой половине того дома, где медпункт, остановиться: там не живет никто, и вход отдельный... Я согласилась, конечно, мне же ночевать где-то надо... - и опять слова все обычные, не придерешься, а вот совсем другой смысл в них промелькнул, *тот самый*... *Коснулось* ее – что тут говорить...

Хоть и взбаламучена душа была и мысли не о том, а не сдержался протопоп, усмехнулся в бороду: ай, да доктор! Шустёр Гриша, ничего не скажешь! А с виду тихий такой очкарик, в церкви прилежный прихожанин. Здесь он после интернатуры отбывал, чтоб от армии откосить. Уклонистов-то отец Олег в целом не поддерживал – но тут ведь дело другое: да кто ж придумал такое вредительство, чтоб врачей, что столько лет проучились и так народу нужны, – да под винтовку рядовыми! Неужели они там полезней будут?! Лично помог Грише отсрочку получить, пока на отдаленной точке врачом работает, – а там, глядишь, и возраст выйдет. Знакомствами-то оброс за годы, понятно: многие чины и повыше военкоматских, делов понаделав, ада бояться стали и пред духовными лебезили – отпусти, мол, батёк, грехи мои тяжкие, а я тебе за это... Для себя ничего не надо было отцу Олегу, а для других – пользовался. И за грех не держал. Тем более, что и Гриша нравился ему: честно лечил, вдумчиво. Мзды не брал – разве по мелочи, да и то натурой – да в этих краях в таком и на исповеди не каялись. Ночами доктор над книгами медицинскими просиживал. Я, говорит, в институте-то и ворон на занятиях считал, случалось, и половину экзаменов на халяву спихнул; теперь пробелы заполнить должен – не всегда же успеешь, если что, в Архангельск больного доставить; а по-

мрет по дороге только потому, что у тебя знаний не хватило – так ведь как самому жить после такого-то... Этот подход отец Олег целиком поддерживал и нравственным чувством своего духовного чада вполне доволен был. Одного только, по его мнению, Грише недоставало: жены толковой, чтоб по местным бабам-разведенкам тайком не бегал, триппера себе на... то самое... не искал... И вот, гляди-ка... Хотя рано загадывать. Посмотрел на Ларису серьезно:

- Ладно, давай вдвоем все по полочкам разложим.

И вот какой расклад вышел неутешительный: по всему выходило, что тогда, в июле девяносто пятого, сойдя в Архангельске с баркаса Анатолия Ивановича, Лариса билет на самолет не взяла. Не было такого, иначе б милиция, когда искала ее тогда, это бы первым делом выяснила. А значит... Значит, в самом Архангельске случилось с ней что-то страшное, она и до аэропорта добраться не успела... И выяснять теперь, что стряслось тогда, восемнадцать лет назад, когда люди целыми городами пропадали – дело гиблое. Грузно обрушился на диван отец Олег, еще лет на пять постаревший, а Лариса беззвучно заплакала. Много свалилось сегодня на девочку – да еще и про отца такое узнать: как ни крути, а рассказать пришлось... Но она вдруг подняла голову и спросила вполне рассудительно:

- Отец Олег, а если не в Архангельске? Кто подтвердит, что этот ваш фронтовик маму действительно до порта довез, а не по пути в Белое море за борт выбросил?

Он махнул рукой:

- Это ты, дочка, брось. Он войну до Сталинграда прошел – там живот ему миной разворотило – человек заслуженный, проверенный. Здесь с конца сорок четвертого, я только родился после этого через двенадцать лет. Всю жизнь он здесь летом в совхозе рыбарил, а зимой морзверя бил. Даже если б я ему, как себе, не верил, сама подумай – зачем бы он на Любу руку подымал? Ему тогда уже за семьдесят перевалило, мама твоя по возрасту внучкой его могла быть – что ему, изнасиловать ее, что ли, приспичило, прости, Господи? Если на то пошло, Иванычу когда и восемьдесят было, никакая одинокая баба ему здесь не отказывала – кому, как мне, не знать... Кхм... - он запнулся, вспомнив, с кем разговаривает. – Короче, глупости. А хочешь – еще раз у него спросим. Не думаю, что забыл, голова-то у него дай Бог каждому.

- А он что – жи-ив еще?! – подбросилась Лариса.

- Не только жив, но до этого года еще в море ходил за пикшей. С весны только сдал маленько, со двора не очень-то выходит, - отец Олег глянул на часы. – Еще не спит, наверно, хоть сейчас пойдём...

Ветеран не только не спал, но и во дворе своем прибирался весьма бодро.

- Доброго вечера, Анатолий Иваныч! – приветствовал его от забора протопоп и рукой помахал.

Тот поднял голову, ответить хотел – да замер, гостю за плечо глядя. Туда, где скромненько Лариса шла. И увидел отец Олег на миг не лицо, а... Сказал бы «маску ужаса» - да к чему такие сравнения. Просто удивился старик, ясное дело: тоже в первый миг Ларису за мать ее принял. Домой не повел их – сказал, не прибрано – во дворе разговаривали... Да, отметил отец Олег, сдал старик, ничего не скажешь: руки трясутся, говорит еле-еле, сам серый весь – старость... Все помнил, конечно, ничего не прибавил, не убавил – все, как тогда, рассказал. Да и чего особенного было-то, чтоб рассказывать? «Аннушка» в тот день не летала – погода нелетная. Вот Люба к нему и зашла – вроде как навестить – с мужем-то часто раньше заходили. Пожаловалась, что до Архангельска не добраться, а дома дите без груди неделю, сердце изболелось, дома давно уж быть обещала. Он и предложил по-дружески на баркасе своем довести ее. А что? Подумаешь, шесть часов туда, шесть обратно, на море только рябь небольшая – одно удовольствие. Она согласилась, через час и отправились, а к четырем пополудни уж и на месте были. Поблагодарила его Люба, привет всем передала, здоровья пожелала... Он на берег за ней не сошел – на что? Домой торопился: в Мезенском заливе вроде как ветер усилился... Вот и все. О чем тут еще было спрашивать?

Обратно молча шли, оба грустные. О том, что тайны той вовек не разгадать, помалкивали – и так ясно. Из докторова дома он Ларису все же забрал тем же вечером: хороший-то хороший Гришка, а неровен час... Поселил у себя на другой половине – той, где родители жили когда-то, только в другую комнату, не ту, где Павла зарезали. Та – давно закрытая стояла наглухо, а полки с романами и фотографию со стенки – это все во вторую комнату перенесли. Туда и гостей всегда теперь селили.

- Можно я поживу немножко? – спросила, краснея, Лариса.

- Живи сколько хочешь. Хоть навсегда оставайся, - от души ответил отец Олег.

Какой ей резон теперь был оставаться? Да ясно какой – девичий. И в том протопоп давно уж научился смертным не перечить...

Не греет тундровое солнце – висит над горизонтом, как перемороженное яблоко, смотрит неприветливо. И море ледяное – редко какой смельчак в самой середине лета окунуться рискнет – да тотчас и выскочит, холодом обваренный. Тундра кругом – плоская и седая от ягельника, насколько хватает взгляда. Редко где кривое корявое деревце притулится. Зима почти всегда, даже когда лето по календарю – потому что разве ж это лето? А ведь есть один период в жизни людей, когда им и здесь хорошо, думалось отцу Олегу. Это когда любовь их настигает, да не всякая, а первая – без оглядки на прошлый горький опыт, как потом бывает. И солнце, отродясь здесь и кошки не согревшее, греет их жарче южного, и море ласково

лижет босые ноги...

Ни от кого не таились доктор Гриша с Ларисой. Как ему свободная минутка выпадет – тотчас они за руки – и по тундре на берег. Он, отец Олег, когда на тони ходил к знакомому – видел не раз обоих: даже не целуются. Так вдоль обрыва ходят – разговаривают. Дивны дела твои, Господи – о чем им говорить-то, ведь неделю знакомы! Все правильно. Сказал об этом апостол: тайна сия велика есть. На двери медпункта почти всегда записка повешена: «Ушел за медикаментами. Скоро буду», – и номер мобильного. Ничего, дело святое, если помирать кто соберется – вызвонят, а нет – так и подождут... Как вернется парочка – доктор не старше Ларисы выглядит, хотя уж четверть века на свете живет. Резвый стал, как мальчишка, оленем скачет. А она... Тут отец Олег мать ее всегда вспоминал и лицом темнел. Нет, за этими он пристальней смотреть будет. Беды не допустит! И сам себя окорачивал: «Аще не Господь сохранит град, всуе бде стрегий» (7)... И радость, и горе – так и ходят рука об руку. Как эти вот двое.

Он уже спал, когда она начала колотить кулаком ему в дверь. «Отец Олег!» - кричала не своим голосом – он чуть в одних кальсонах к ней не выскочил, думал, спасать надо. Лариса буквально ворвалась в комнату – и прямо в лицо ему стала бумажку какую-то совать. Он спросонья ослобевший был, не сразу и понял. Оказалось, телеграмма на имя Павла – восемнадцатилетней давности. Текст непонятный, словно кусок откуда-то вырван: «Справа Генка» - иди, разбирайся.

- Вы что, не понимаете? – повторяла Лариса, как заведенная. – Не понимаете, что ли?

Только теперь он заметил, что в другой руке у нее фотография – та самая, в рамочке, со стены. Проснулся, глянул внимательно, да и без того наизусть знал. Слева первым он сам стоял в подряснике, потом – молодые, следующий – Анатолий Иванович. Матушка со средней дочкой чуть впереди... Телеграмму взял, дату проверил первым делом. Что за напасть! Выходит, получил ее Паша прямо в последнее свое утро! И не знал никто... Конечно, не знал, он же сам всегда почтальона встречал...

- Где взяла? – прошептал – а сердце из груди наружу чуть ли не проламывалось.

- В книжке, – пролепетала она. – Книга там такая же, как та, в которой я дома фотографию нашла. Набокова, «Дар» называется. Взяла я в руки – думаю, мама ведь и здесь ее могла читать – а в ней... Обратный адрес где-то в Псковской области... Какая-то Пахомова Клавдия... Отец Олег, сколько у моих родителей было этих фотографий?

- Какая разница! – с досадой воскликнул он, хоть и точно помнил, что они взяли три вместо двух – матушка им свой экземпляр уступила. – Здесь справа – Иваныч, не Генка никакой. Это вся деревня знает, хоть кого спроси. О чем-то другом телеграмма, но важная она, Лариса! Важная – понимаешь – в любом

случае! Отец-то твой, Павел, – тоже Пахомов был! Эта Клавдия, стало быть, родственница его – а тут тебе адрес готовый. Телеграмму, девочка, он прямо накануне смерти получил – и не показал никому! Может, ерунда какая-нибудь, может – нет, но ведь это адрес родных твоих, кровников, понимаешь? Южиков (8) тех самых! – хитрой улыбки не сдержал.

- Каких ёжиков? – изумленно спросила девочка, как он и надеялся.

Утром они с доктором проводили Ларису на «Аннушку».

- Думаете, вернется? – грустно спросил Гриша, не отрывая взгляда от все уменьшавшейся темной точки в невысоком светлом небе.

- Куда она денется... - философски ответил отец Олег. – Сам-то ты что обо всем этом думаешь?

Телеграмму ту странную имел он в виду и фотографию, конечно, – что же еще? Но воистину – что у кого болит...

- Да смешная она... - блаженно улыбнулся Гриша. – В тот еще, первый день у меня спрашивает: «Какие, доктор, самые надежные таблетки, чтобы похудеть побыстрее?» Представляете? А я смотрю – у нее же серьезный недобор веса!

О чем с ним говорить было – ясно же, что не на аэроплощадке рядом с ним стоял доктор – в самолете с Ларисой летел... Вздохнул протопоп. И призадумался.

Глава 5 Всякому свой ад

Тонечкиного сына Пашу Клава видела в своей жизни всего раза четыре. Впервые – когда новорожденного встречали в Ленинграде из роддома – она тогда специально приехала из Краснореченска поглядеть на внука. Строго говоря, приходился он Клаве внучатым племянником, но она до того привыкла считать Тонечку своей дочерью, что даже имя внучку дала сама – в честь своего покойного мужа. Родных деток им Бог не дал: даже того единственного, которым было благословил сначала, доносить не позволил – недостойна, наверное, оказалась. Клава скинула четырехмесячный плод как раз вечером того дня, когда напротив школы вешали девчат и парней из краснореченского подполья – почти весь Нинин класс в полном составе. Нина и послала ее, старшую свою сестру, с хутора, где к тому времени уже неделю пряталась у нее, в город, посмотреть, что будет, - и пошла Клава на свою голову. Ровно семьдесят лет ей тот день видится, как голову приклонит... Многие из ребят уж не понимали, где они и что – их эдакими кулями кровавыми затаскивали на помост и вздергивали из лежачего положения в воздух, как поло-

манных кукол. Кто-то все же своими ногами шел, но кто – понять уже было невозможно, потому что лица напоминали иссиня-черные головешки. Клава только Таю Мотовилову смогла опознать – и то не наверняка, лишь по слипшимся коротким кудряшкам, яркая рыжина которых просвечивала даже сквозь темно-коричневую корку. Ее волок, поперек спины одной рукой ухватив, высокий парень, у которого вместо второй болталась перетянутая культишка: он один ухитрялся голову держать высоко и даже с дощатого возвышения обвел палачей презрительным взглядом. Клава близко стояла, поэтому услышала, как из черного провала разбитого рта с острыми обломками зубов донеслось гневное пророчество: «Недолго вам осталось... по нашей земле... за все ответите...» - и вслед за словами толкнулась наружу густая кровь. Клава зажмурилась. Она ведь их всех знала – всех до единого! Еще когда года два назад, до войны, набивались всем классом в их большой учительский дом в Краснореченске – и читали стихи, свои и чужие... А она теперь не может даже узнать их лица, чтобы свидетельствовать! Кто, например, этот высокий парень, которому на допросе отрубили руку? Миша Андреев? Женя Мещерский? Кто еще в том классе ростом вышел? Женщины в толпе безмолвно падали в обморок – эти-то узнавали своих искалеченных детей, убиваемых у них на глазах. Но ни стоны не раздавалось в школьном дворе – предупредили: если кто станет по преступникам во время казни выть – со двора никого живьем не выпустят, на месте всех из автоматов положат; а смотреть пригнали весь народ от мала до велика – даже древнего деда Сеню парализованного принести велели. Полицаи из оцепления сигарки по кругу передавали, слышались веселые матюги... Клава скосила глаза: и Генка среди них стоял – кровь с молоком, сам белый, как подушка, щеки румяные. Еще бы – отожрался на фрицевских-то харчах... Господи – а ведь тоже с ними учился, за Ниной весь девятый класс как пришитый ходил. Сама она, Клава, ей записки от него носила, случалось, – думала, может, поженятся – парень-то справный, работающий и до спиртного не горазд...

Когда началась война, все парни из Краснореченска, окрестных деревень и хуторов, кому на тот день уже восемнадцать исполнилось, не стали дожидаться повесток – добровольно ушли на фронт. И Генка собирался – это все знали. Только не взяли его в армию, потому как покоцанный он тогда был сильно: месяца за три до войны на свадьбе собственной старшей сестры жирного переел парень – и готово: заворот кишок, чуть от одной только боли не помер. Его в Псковскую областную больницу тогда отвезли, и кишки несколько раз так и сяк перекладывали – все брюхо перепахали. К войне не зажило еще брюхо, потому и дома остался. Вместо него батя его сорока с лишним лет пошел добровольцем: если, говорит, сын за Родину встать не может – сам пойду.

Пошел – и, конечно, без вести... Матери давно уж не было – вот и остался Генка без догляда один. Остановить было некому, когда немцы пришли и тем, кто в полицию наймется, пообещали сытную беззаботную жизнь. Впрочем, пошли многие – из тех, кто по возрасту или болезни не угодил на фронт. Советской власти ведь обратно никто не ждал, все думали, что новый порядок теперь если не навсегда, то уж точно надолго – а жить-то надо, принципами и сам сыт не будешь, и семью не накормишь...

Клава тогда только что вышла замуж, и муж ее, Павел, до того лет десять вдовевший на отдаленном хуторе, по возрасту годился ей в отцы, потому тоже в армию не попал. Хороший был человек, добрый, дом даже при колхозе ухитрился держать полной чашей – может, оттого, что его организм самогона не принимал на дух: выпьет грамм пятьдесят и за голову хватается: «Убери ты, Христа ради, эту гадость, глаза бы ее не видели!» Детей его от предыдущей жены одного за другим в младенчестве унесла скарлатина, за ними и сама жена отправилась, не снеся горя. А Клава как вошла в возраст – так и заглядываться на Павла стала: никакой не старей, плечи широкие, глаза синие – а главное, ласковый, слова плохого не скажет, даже на дворового пса не прикрикнет никогда... Подумала – да и пошла за него, когда посватался. Ни разу потом не пожалела – самостоятельно жили на хуторе душа в душу. Жаль только – мало. Победы дождался – и через год сердцем помер, даже до пятидесяти не дотянув... Больше Клава замуж не выходила.

Это он, муж ее, спас Клаву во время войны. Когда выпускники сорок первого года, среди которых была и сестра Нина, через год после начала оккупации организовали в Краснореченске подпольное комсомольское Сопrotивление, Клава тоже решила, что вступит к ним. Дочери сельского учителя, ушедшего на фронт на второй день войны и воспитавшего их в духе высокой нравственности, девушки не могли спокойно смотреть, как по-хозяйски ходят враги по их родному городу, как походя втоптывают в грязь все самое сокровенное из того, что помнилось, о чем мечталось светлой ночью после выпускного вечера; только рабынями им теперь быть не запрещалось, все остальные пути перекрылись сами собой... Так не бывать же такому! По привычке она поделилась с мужем сокровенными мыслями – и вдруг ее кроткий Павлик потемнел лицом. Супруги сидели друг напротив друга за чистым оструганным столом – и между ними стояла глиняная миска с вареной, только что очищенной дымящейся картошкой. Муж не торопясь взял одну картофелину, положил ее на свою широкую жесткую ладонь и вдруг одним движением стиснул. Когда он разжал пальцы, на ладони осталась бледно-желтая картофельная труха – и Павлик медленно отряхнул руки. «Вот что будет с этим подпольем, – изменившимся, низким и тихим голосом произнес он. – Жаль ребят: желторотые со-

всем. Сможешь – отговори Нинку. Не сможешь – на Божью волю. Но вот ты – ты с ними не пойдешь. Втихаря бегать станешь – скручу и на цепь посажу вместо Полкана. Сбежишь – поймаю и запру в погреб. С сегодняшнего дня в город – только со мной. С сестрой твоей я тоже сам поговорю». Клава испугалась так, что несколько минут и слова вымолвить не могла: ведь это сушая правда, что нахрапистых мужиков, вечно не по делу утверждающих свою мнимую силу, бабы не боятся и им не подчиняются. А вот если тихий да нежный вдруг коршуном глянет да веское мужское слово скажет – то это страшно, и не ослушаешься. Слова поперек не скажешь – скорей язык себе откусишь, проверено... Не вступила Клава в подпольную комсомольскую организацию – и на цепь ее сажать не пришлось.

А вот Нина – та вступила. И нанялась машинисткой в комендатуру, чтоб к секретам поближе быть, да и кушать тоже хотелось. Генка тот краснощекий и все остальные полицаи – свои же парни со всех близких деревень – пуще голубями весенними вокруг нее заворковали: красивая была, ничего не скажешь: волосы каштановые волнистыми прядями вдоль шеи, глаза глубокие, не то зеленые, не то карие – смотря при каком свете... И офицеры немецкие заглядывались, да тем начальство запрещало со славянками заигрывать. А Нина только улыбается уголками губ да глаз не поднимает – а сама знай себе слушает: по немецкому в школе пятерку имела, а во все каникулы еще на курсы какие-то в Псков ездила...

Краснореченское подполье просуществовало рекордно долгий срок – и разгромлено было почти прямо перед освобождением. Несколько раз подорвали грузовые машины с фрицами, списки сельчан, предназначенных на угон в германское рабство, из комендатуры два раза виртуозно выкрали, а однажды – так не списки, а приезжего офицера с секретным планшетом – да и к партизанам с оказией переправили; про такие мелочи, как красивые рукописные листовки со сводками Советского Информбюро, расклеенные по всему городку, и рисованные плакаты-карикатуры – и говорить не следовало, привычным делом стало, даже немцам художников тех ловить надоело. Ловко работали, слаженно – на то и были самым дружным классом за всю историю Краснореченской школы. И, наверное, в боевом запале своем, в полудетской еще лихости, закусили удила от безнаказанности...

Попались глупо, совсем как детсадовцы. План операции по захвату грузовика с боеприпасами, о прибытии которого доложила Нина из комендатуры, расчертили на самодельной карте местности – со стрелками, надписями и цветными рисунками: кому где стоять, когда куда стрелять – и фашистов в серой форме, падающих под меткими очередями. План согласовали и – нет, чтобы сразу уничтожить! – засунули под скатерть в доме Борьки Томилина, чтоб завтра еще раз на свежую голову глянуть. Знали, что

никто их не подозревает, почитая не за детей, так за недоумков: привыкли к вечной безопасности. А к Борькиной старшей сестре Альке утром пришел свататься Васька-полицай. Сел за стол чин-чином, шапку снял, ружье прочь отставил – да будущей теще та скатерть вдруг несвежей показалась. Застеснялась она своей неряшливости – и сорвала ее со стола одним суетливым движением. Разрисованная карта так прямо на колени жениху и спланировала...

Пока дня три на допросах только били – то ногами, то железками – парни девчонок еще не сдавали. Те даже передачи им в тюрьму, то есть, в бывшую школу свою, носили, осмелев. Но когда, заподозрив, что молодежью управляло взрослое коммунистическое подполье, и выявив у комсомольцев связь с местными партизанами, в виду особой важности расследования, районное начальство вытребовало из Пскова профессиональных заплечных дел мастеров, мальчики стали выдавать девочек по одной. Одна названная фамилия обеспечивала возвращение в камеру и желанную передышку – всего лишь до завтра, но и это имеет первостепенное значение в те минуты, когда у тебя по кускам отрезают пальцы – и хорошо еще, если только пальцы... Больше ребятам нечем было покупать себе эти редкие передышки в пытках: узнав о провале молодежного подполья, грамотные и хорошо организованные партизаны первым делом обрубали, как в таких случаях положено, все концы и ниточки в Краснореченске. Поэтому немедленно выложенные под пытками сведения о них сразу стали бессмысленными, а никаких связей с настоящими подпольщиками у комсомольцев не было – они и понятия не имели о том, как к тем подобраться... Только вот немцы закономерно в такую самостоятельность не верили, упорно доискиваясь до неуловимых руководителей – и допросы продолжались с всевозрастающей жестокостью. Школа была оцеплена с утра до вечера в радиусе пятидесяти метров, и все равно истошные крики пытаемых доносились ветром даже до хуторов. Родители арестованных дежурили у оцепления, мучительно вслушиваясь в нечеловеческие вопли, ясно слышимые здесь, простоволосые не старые еще матери рвали седые волосы... Весь Краснореченск подавленно затих, предчувствуя неотвратимо грядущую катастрофу, после заката солнца в домах не зажигали огня...

Нину выдали последнюю – и не ребята, поголовно в нее влюбленные, а кто-то из девчонок. Несколько раз тайно приходивший в город Павлик уговаривал ее немедленно скрыться у них на хуторе, но Нина почему-то была убеждена в своей неуязвимости – или просто, как и все молодые люди, считала именно себя бессмертной...

- Да меня покروют, не волнуйтесь! – горячо убеждала она. – В полиции же все наши ребята! Они мне по пять раз на дню в любви признаются и замуж зовут! Один Генка чего стоит: готов ноги мне мыть и воду пить – с мылом! Если что, предупредит заранее

– и нет меня!

- Дура... - плевал себе под ноги зять. – Кто из-за тебя свою голову в петлю совать станет!

- А вот увидишь! – уверяла Нина. – Нельзя мне уходить: я могу ребятам еще понадобится!

- Им и гробы теперь не понадобятся, не то что ты, – мрачно говорил Павлик. – Послушай доброго совета...

- И слушать не стану, - отворачивалась она. – Хороший же я товарищ им буду, если теперь, как заяц, в лес побегу, когда их там мучают...

Нину арестовали поздно вечером и втолкнули в наскоро оборудованный под камеру класс математики, где уже несколько дней сидели их девчонки – восемь человек смешливых девочек, с которыми столько лет она секретничала на школьном дворе, передавала с ними записочки красивым мальчишкам, бегала в клуб смотреть кино с Ладыниной, мерила перед выпускным белые носочки под первые взрослые туфельки...

Страшный запах ударил Нине по ноздрям, и память опознала его на секунду раньше, чем разум: мелькнуло мгновенное воспоминание о колхозной скотобойне... Так пахнет старая протухшая кровь, поняла арестованная. Очень много крови. Очень. Единственная голая лампочка, едва дававшая темно-желтый ненадежный свет, показала ей невероятную, потустороннюю картину. Среди кучами сваленных черных парт и скамеек, девочки лежали на полу как попало, прикрытые жутким бурым тряпьем. Со всех сторон слышалось тяжелое хриплое дыхание вперемешку с долгими глубокими стонами. Кто-то мучительно закопошился сбоку, и навстречу остолбеневшей Нине поднялась неузнаваемая косматая голова. Только отчаянно взглядевшись, Нина разобрала, что это остатки – другое слово в голову не приходило – Зины Юдиной, главной классной хохотушки и заводилы. Именно она, лучшая в классе рисовальщица, мастерила веселые плакаты, где изображала немцев то крысами, то тараканами, беспощадно истребляемыми синеглазыми русскими красавцами-солдатами с лихо заверченными желтыми чубами. Она же придумывала едкие рифмованные подписи к рисункам, иногда вставляя и хлесткое бранное словцо, а потом, дождавшись комендантского часа, бесстрашно расклеивала плакаты по всем улицам их тихого городка – и оказалась, в придачу, такой великой артисткой, что даже, однажды попавшись патрулю чуть ли не на месте преступления, сумела выпутаться и уйти ни в чем не заподозренной... Теперь узнать ее можно было только по общим очертаниям, потому что лицо в общепринятом смысле отсутствовало. Нина увидела синюшную бесформенную массу с двумя щелочками на месте глаз и жуткими багровыми струпами. В первую секунду она зажала себе рот обеими руками, чтобы не завизжать от нахлынувшего животного ужаса, но потом пересилила себя и кинулась к подруге, лепеча бессмысленные слова:

- Зиночка... Господи... Что же это они с тобой... Как же это... - и попыталась обнять вновь упавшую на подстилку девушку.

Ответом был короткий и дикий, ни на что не похожий крик – такой, что Нина отпрянула и взвыла.

- Не трогай... - прерывисто зашептала Зина. – Рука раздроблена... вся... сверху донизу... Кувалдами молотили... Сволочи...

Нина задохнулась и на четвереньках попятилась назад. Сбоку кто-то тягуче простонал, она рванулась было туда, но Зина хриплым шепотом повторила:

- Не трогай... Не трогай ее... Ей сегодня глаза выжгли... Раскаленной кочергой – я сама видела... А Маринке – той грудь отрезали... Майю на горячей плите два раза жарили... Парней – тех вообще, как туши... разделяют... Нина... дай попить, подышаю... - в голосе засквозили рыдания. – Скорей бы... прикончили...

Нина бросилась к ведру, увидела рядом кружку, но долго не могла поднять ее крупно трясущимися руками, а когда, наконец, зачерпнула воды, то расплескала почти всю. Только со второго раза кружку удалось донести до распластанной девушки и кое-как напоить ее. Слышно было, как зубы несчастной стучат о железный край, а Нинина рука, которой она поддерживала Зине затылок, сразу стала липкой от крови...

Нина отбросила кружку и вскочила с колен. С этой секунды ей стало понятно одно: здесь она не останется, не может остаться, потому что уже завтра утром превратится в такой же бессмысленный сгусток боли и унижения, как все эти разбросанные по полу уже не-люди, и не-скотина, непонятно зачем еще живые... Она мгновенно вспомнила, что, когда ее вели по школьному коридору, в открытую дверь одного из классов, превращенного в «дежурку» для полицаев, увидела невозмутимо пьющего чай своего вечного, самого верного, с седьмого класса еще, ухажера Генку – он мелькнул перед ее взглядом – противный, распаренный, с одной щекой, распухшей от засунутого в рот хлеба с салом... Значит, он дежурит сегодня – именно сегодня! Другой такой удачи не будет...

Нина бросилась к двери и замолотила в нее – кулаками, каблуками, коленями...

- Гена!!! – истошно кричала она. – Геночка! Геночка, миленький!! Иди сюда!! Это я, Нина!! Геночка! Гена!

За дверью послышались неторопливые тяжелые шаги, загремели запоры... Он! Генка стоял прямо перед открытой дверью, чуть насмешливо глядя Нине в лицо.

- Чего орешь? – спокойно спросил он, будто и без того не знал очевидного ответа.

Раньше Нине было противно, даже когда он робко прикасался к ее руке – теперь она сама с размаху кинулась к нему на грудь и затряслась:

- Геночка, помоги, не оставь... Что они с дев-

чонками сделали... Изверги... И меня завтра... на допрос... А я не знаю... Ничего как есть не знаю, а то бы сразу сказала... И они со мной... то же самое... Не-ет!!! Не хочу! Не могу! Гена, помоги... Я тебе, что хочешь... Хочешь – замуж, ты ведь звал же... Не хочешь – так бери... Хоть прямо сейчас... Только помоги... Выпусти меня отсюда, Геночка! – и она разрыдалась.

Он с минуту помолчал, видно, раздумывая. Наконец, солидно ответил:

- Помочь можно.

Нина подняла на него просиявшие надеждой глаза.

- Посиди пока, я пойду разведую, - негромко проговорил Генка. – Как затихнут – через дяди Витин чулан тебя выведу – и чтоб духу твоего в городе больше не было. Даже домой не заходи, ясно? Куда хочешь, тикай.

Нина бурно закивала, высвобождаясь из его объятий.

«Дяди Витин чулан» знали все ученики Красно-реченской средней школы. Там работал и жил сосланный из Ленинграда на 101-й километр инженер Виктор Николаевич, из бывших. Он числился в школе истопником, но оказался на все руки мастером, благодаря чему весь учительский коллектив, начиная с директора, готов был на него ежедневно молиться: где что-то текло – вмиг надежно заделывал, если что надо смастерить, починить – всегда проявлял творческий подход к делу, умел ловко наладить охотничье ружье или рыболовную снасть – только вот никогда ни с кем не по делу не разговаривал... Жил, за неимением другого помещения, прямо в школе, в каморке без окон, имевшей отдельный вход с торца здания, и заметная снаружи только тем, кто знал о ней, дощатая дверца без крыльца смотрела прямо в смородиновые кусты; внутренняя дверь выходила в здании под лестницу. Умер дядя Витя незадолго перед войной, и оба ключа от его жилища быстро и окончательно потерялись, а грянувшая война помешала заняться изготовлением новых, так что помещение, собственно, оставалось всегда открытым. В загроможденной теперь всяким ненужным хламом каморке, кроме узкого топчанчика, стоял небольшой верстак, да всюду развешены были полки с полезным инструментом. Немцы, раз, при захвате здания, заглянувшие в чулан, увидели там традиционную русскую кладовку и поморщились. Их педантичный менталитет так за три года оккупации и не позволил им предположить наличие в заваленной ломаным скарбом клетушке всегда беспечно незапертый вход и выход – откуда! – из неприступного следственного изолятора.

Нина тоже помнила про каморку и несколько часов, томимая нешуточной надеждой, не отходила от запертой двери класса-камеры, боясь лишний раз оглянуться на истерзанных одноклассниц и завывать от ужаса в голос... Генка не обманул: глубокой но-

чью дверь почти бесшумно отворилась. Нина услышала: «Быстрее!» - и воровато скользнула в тускло освещенный коридор. Быстро и тихо они миновали несколько запертых классов, свернули на пустую заднюю лестницу – и там, уже почти не таясь, бросились вниз по ступеням к чулану. Когда Генка закрыл за собой дверь, в крохотном душном помещении оказалось так темно, что нельзя было увидеть даже собственную руку, поднесенную к глазам, но Нина знала, что выход с противоположной стороны, и метнулась в темноте туда, больно натываясь на твердые и острые предметы.

- Где, где, где тут эта дверца... - обезумев, повторяла она.

- Да здесь, здесь, куда она денется... - раздался рядом Генкин уверенный шепот. - Я тут и путь к ней разгреб немножечко... Только вот... - он вдруг похабно кашлянул, и сердце у Нины остановилось. - Ты ведь мне за эту услугу обещала что-то, а? Или ослышался? Сказала, кажется, - хоть сейчас... А сама утечешь через дверочку – и ищи тебя потом, чтоб должок взыскать... Ну, так как – рассчитывать-ся будем, или назад в камеру пойдем?

Нина отступила от гнусного шепота прочь – и что-то с грохотом обвалилось сзади. Генка подскочил к ней и ухватил за локти, сам не на шутку испуганный:

- Тихо ты, дура, сейчас погорим – и каюк обомим...

Изо рта у него воняло нечищеными зубами и перегаром – со стоном отвращения Нина вывернулась было, но он тотчас же зажал ей рот огромной потной ладонью и стал заваливать набок, туда, где была кушетка.

- И чтоб без звука... - повторял он. – Без звука чтоб, сука продажная...

Она извивалась под его вонючим жилистым телом, кусала себе кулаки от боли и омерзения, но остатки расплзшегося, как старое полотенце, рассудка, все-таки подсказывали ей, что кричать смертельно опасно... Ей казалось, что унижительная экзекуция никогда не кончится, даже мелькнула мысль, что вопить от страданий и захлебываться кровью в руках палачей – почетней и чище, чем сейчас вот стискивать зубы и зажмуривать глаза, утоляя чужую неумелую и жестокую похоть... Но вот Генка самозабвенно захрюкал над ней последний раз, пару раз дернулся – и быстро встал, натягивая в темноте штаны. Что-то тихонько стукнуло, взвизгнули петли, и в духоту каморки ворвалась волна чистого и свежего весеннего воздуха, мелькнул сероватый свет.

- Проваливай, шалава, - презрительно прошипел Генка. – Гребн отсюда, пока я добрый.

Нина молча скатилась с топчана, чувствуя грязную скользкость и жжение между ног, схватила с полу сорванную Генкой юбку и бросилась к едва светлевшей щели, на ходу пытаясь вступить в ускользающую резинку юбочного пояса... Она пло-

хо помнила, как мчалась напролом сквозь кусты, прочь со школьного двора через знакомую дырку в заборе, как неслась по вымершим улицам, проваливаясь в глубокие и ледяные весенние лужи, как чудом ухитрилась не напороться лоб в лоб на размеренно вышагивающий немецкий патруль... В какой-то момент она сообразила, что инстинктивно бежит домой, куда идти ни в коем случае нельзя, потому что ее отсутствие может быть обнаружено в любую минуту, круто повернула, заметалась, как кошка, завидевшая стаю псов, и брызнула, не разбирая дороги, прочь, прочь из города – туда, где через несколько километров начинались районные деревни, а за ними, еще дальше – дальние малообитаемые хутора, посещаемые немцами очень редко и неохотно по причине извечного, панического страха перед вездесущими партизанами. Те хутора, на одном из которых жила в счастливом браке дурнушка Клава, ее сестра, что всего на год старше...

Беглянка пробиралась туда весь остаток ночи и полдня, не чувствуя ни усталости, ни горя, одержимая лишь одним стремлением – убраться подальше от страшных, автоматически-безжалостных немцев, запятанных ими до полусмерти девочек-подруг, а пуще всего – от неизменного своего ухажера Гены, вдруг открывшего свое настоящее, на человеческое вовсе не похожее лицо, и надругавшегося над ней так, как она даже и предположить не умела... В полдень, идя по знакомой тропе через еще местами покрытый снегом луг, она услышала вдалеке родные и любимые, с раннего детства привычные мерные звуки: кто-то колот дрова за близкой рощицей, и это мог быть только ее добрый зять Павлик на своем дворе. Нина ускорила шаг и сразу увидела маленький и темный, но крепкий домик с серым резным крыльчком, а у двери, в расстегнутой цигейковой безрукавке, держа в руках огромное решето и перекинув длинное полотенце через острое плечо, стояла и улыбалась, глядя на мужа, смуглолицая Клава...

От сразу слегшей сестры она не отходила ни на шаг, и выслушивала, бесконечно выслушивала ее все повторявшийся и повторявшийся, как в кошмаре, невероятный рассказ. Павел озабоченно бегал в город за новостями и слухами почти ежедневно, а спустя дней пять, вернувшись под вечер, когда Клава уже не находила себе места от тревоги, с порога бухнул: «Завтра». Такое простое и нестрашное слово – но Клава упала на лавку и застонала, а Нина в постели закрыла лицо руками. Потому что это значило: завтра ребят казнят... «Клавушка, миленькая, сходи! Может, хоть словечко передать удастся девочкам! Скажи, чтоб простили... чтоб плохого не думали...» - рыдая до икоты, умоляла ее среди ночи младшая, уже не похожая на саму себя. Зная, что муж все равно ее, беременную, не отпустит, Клава не стала даже отпрашиваться – сбежала тайком, еще до зари.

Передать что-то оказалось совсем невозможно, да и некому, по сути, было передавать: почти всех

приволокли на казнь без сознания, а кто еще сам двигался – тем уж, ясно, не до прощений-отпущений было... Как домой пришла – Клава едва помнила, сразу повалилась на постель во всей одежде, накрыв голову тяжелой подушкой, а ночью произошел у нее мгновенный и безболезненный выкидыш – едва только успела мужа на помощь призвать. Утром думала – упрекать ее станет, что ребенка их, первенца, по глупости загубила, опять Полкановой цепью пригрозит... Но Павел, сидя у кровати, только наклонился иногда и тихо целовал ее в плечо, а когда сама спросила напрямую – винишь ли, мол, меня – грустно задумался и медленно ответил: «Не виню, Клава. И сам бы пошел на твоём месте. Иногда бывает так, что нельзя по-иному. А что потом – то уж не в нашей власти...»

Сестры встали после болезни одновременно, и в первый же вечер, когда Павлик вышел на двор за какой-то хозяйственной надобностью, Нина постучалась к сестре в горницу и, глядя в пол, мрачно спросила ее, каким растением можно быстро и надёжно вытравить нежеланный плод. Клава всплеснула руками – и сестра жестко, даже злобно глянула на нее:

- Да, да – не пялься так. Уж неделю, как знаю. Но это ничего: сволочному отродью я все равно жить не дам, - она присела на край сундука и горько усмехнулась: - Вот как бывает на подлом свете: ты, вон, от любимого мужа – потеряла, а я от гнусного скота теперь ношу... Ну так что – помогать мне будешь?

Клава замахала руками:

- Что ты, что ты, Бог с тобой! Ребенок-то чем виноват! Даже и думать не смей! А как я тебе помогать стану?! Ведь после этого мне Бог точно своего второй раз не даст! Одумайся, глупая, ведь он, может, теперь единственным твоим утешением будет – на всю жизнь!

- Ага! Вот тебе! – и обычно сдержанная Нина выбросила вперед, как заряженные пистолеты, сразу два крепких розовых кукиша. – Чтоб я, на него глядя, каждую минуту тот чулан вспоминала! И камеру! А в ней – девочек наших изувеченных! Не дождешься! Ищи другую правильную! Сегодня же изведу окаянное семя!

Нина вылетела вон, от души грохнув дверь, и действительно, с того часа ежедневно, до самых родов, судорожно пыталась погубить упорно растущий и цепко держащийся в ее утробе плод. Иногда Клаве казалось, что сестра готова умереть и сама – лишь бы убить ненавистного, никак помирить не желавшего ребенка. Бедная девочка заваривала и настаивала для себя ядовитые травы, пила, икая и давясь, смертоносные отвары кружками – ее выворачивало наизнанку, она иногда почти глохла, а однажды чуть не ослепла, но, отлежавшись, вновь и вновь повторяла свои остервенелые попытки: прыгала на отмель реки с высокого берега, скакала, рискуя головой, на полудиком соседском коне, что однажды сбросил ее

и топтал – а она радостно терпела... Тайно сбежав летом, когда неподалеку уже шли бои, к аптекарше в Краснореченск, Нина вернулась оттуда довольная, сжимая в кулаке пакетики с хиной, и натопила их черную баньку так, что и в аду, наверное, не бывает жарче – но она просидела там, наглотавшись своих порошков, не менее часа – и просто выпала из двери без чувств в росистую траву... Но истребить своего ребенка ей так и не удалось. Когда фашисты, гонимые советской Армией, ушли, наконец, из Красно-реченского района, сжигая за собой деревни, как мосты, Нина не радовалась Освобождению вместе со всеми, а сидела в углу избы, сверкая оттуда угольями одержимых глаз, со всей силы ударяла себя кулаком в заметно подросший живот и повторяла: «Все равно ты у меня околеешь, семя треклятое...»

Семя не околело, и роды начались в свой срок, когда хутор их давно уж тонул в морозно-фиолетовом рождественском снегу.

- Вот увидишь! - шептал Клаве Павлик, споро выталкиваемый ею из комнаты, где в потугах глухо стонала, не допуская себя до криков, так и не смирившаяся роженица. – Как увидит она свое дите – так и отгадет. Сколько раз такое бывало, что баба и не хочет ребенка, и травит его даже, а как грудь ему даст...

- Задавлю! – донеслось до них надсадное рычание. – Сдохни, паскуда!

Отпихнув Павлика, Клава метнулась к постели – и вовремя: только что выскочила скользкая темно-красная головка и, несмотря на убийственную боль последнего акта родов, Нина все-таки изо всех сил пыталась свести напряженные ноги – и раздавить ими, как жерновами, голову нежеланного детеныша... С криком, что более пристал бы в ту минуту сестре, Клава инстинктивно кинулась ей на живот – и ребенок, целый и невредимый, легко выскользнул из утробы и почти сразу же запищал – не громче невзучей мыши, прихваченной сытой кошкой.

- Дай сюда... Убью... Дай... - в изнеможении шептала Нина.

- Да у тебя девочка... - с непонятным облегчением, будто родила сама, проговорила Клава. – Сейчас увидишь, какая милая...

Она заранее приготовилась перевязать и отрезать пуповину, так что справилась с этим быстро и без труда, а послед вышел сам, так что не пришлось с ним ни секунды провозиться.

- Такая хорошенькая... - приговаривала Клава, бережно обтирая младенца теплым влажным полотенцем. – Вот сейчас мамочке тебя покажу... - и осеклась, словно подавившись, когда внимательней взгляделась в крошечное, еще пятнистое личико: на нее словно глянул мутным сизым глазом подонок-Генка – такой точно, каким и сам, наверно, явился лет двадцать с небольшим назад из материнских ложесн...

Нет, нельзя было давать сейчас ребенка его ма-

тери на руки – и минуты бы он там не прожил... «Бедняжечка... - прошептала Клава, невольно прижимая новорожденную к себе. – Не бойся: и мама у тебя будет, и папа...»

Нина уехала с хутора – и вообще – уже дней через десять. Это было, в целом, правильным решением, считал Павлик: ведь ни одного полноценного свидетеля ее участия в разгромленном комсомольском подполье в живых не осталось, зато весь Краснореченск знал, что она работала у немцев в комендатуре и пользовалась их – и полицейским – неизменным расположением. Кто-нибудь да рассказал бы. Осенью и зимой у временно вырвавшихся из рабства жителей было много других насущных проблем, а весной непременно вспомнят о не догадавшихся уйти с немцами предателях – настоящих и выдуманных – и обязательно начнут жестоко сводить счеты... Вернувшись домой в городок, запросто угодила бы под это колесо и Нина, далеко при немцах не бедствовавшая, – а если и нет, то могли приписать, отобрав документы, к восстановленному колхозу – и тогда, опять же, сиди на привязи вечно и жди, пока мстительная рука не дотянется и до тебя... В неразберихе и горе конца войны Нина отправилась, куда глаза глядели, в надежде найти себе тихое место, где ждет, быть может, пусть не самая лучшая, но хотя бы не такая страшная, как раньше, участь. Родным своим она так никогда ничего о себе и не сообщила.

Клава удочерила новорожденную девочку, назвала ее Антониной – Тонечкой – в честь давно уж покойной матери, выкормила с помощью незадолго до того родившей молодухи с соседнего хутора, а после смерти мужа вернулась с ребенком домой в Краснореченск, в целевшую крошечную квартирку родителей (отец-учитель до дома так и не добрался: умер от ран по дороге с фронта). В городке вскоре вновь заработал молокозавод, построенный еще до войны, и Клава проработала там всю жизнь счетоводом. Тонечка закончила школу, училась прилежно, была всем на зависть тихой и послушной девочкой, а в начале шестидесятых уехала в областной город Псков, где и выучилась на инженера. Она долго не могла выйти замуж по причине крайней скромности – и создала семью только в тридцать лет, да и ту неудачно. Хоть и увез ее муж в Ленинград, прописал и устроил там по специальности – да только года через два все равно ушел от нее к другой, бойкой и модной... Остался годовалый сынишка, тоже Павлуша, как Тонечкин приемный отец – Клава сама имя выбирала. Спасибо, хоть квартиру двухкомнатную бывший Тонин муж при разводе не отнял...

Тоня растила мальчика сама, но в Краснореченск приезжала все реже и реже – понятное дело: большой город и сам по себе затягивает, а тут Ленинград... Не сердилась Клава, просто любила свою Тонечку. Но с той случилась однажды непоправимая беда: навалился на нее неизлечимый рак и быстро

свел в могилу. На похоронах она внука Пашу впервые увидела взрослым – смешной мальчишечка, на Генку-урода ни капли не похож ни лицом, ни характером, а, как ни странно, пошел чем-то в своего тезку, покойного Клавиного мужа Павлика, хоть и не было у них общей крови ни капли... Это если не считать того, что все люди на свете родственники. Кто больше, кто меньше... Сказал ей тогда Паша, что собирается куда-то на север – мир смотреть, жизни учиться. Она одобрила: мужчина – не женщина, нечего на одном месте сидеть. Поглядела на него еще поближе, подумала-подумала, да и рассказала ему про войну и про Генку – то, о чем и мать его, Тоня, не знала: берегла ее Клава, говорила, что родители без вести пропали, и девочка верила ей, тете своей любящей, а не гнилым слухам, таскаемым злыми бабами, что мать нагуляла ее с немцем-интендантом (что и правда ей однажды букет цветов принес), а потом сбежала от позора и людского суда. Рассказала – и пожалела: и так горе у парня, а она, жестокая, ему еще одну ношу... «Да нет, бабушка Клава, - серьезно сказал, помнится, Паша. – Правильно вы сделали. Есть правда, которую скрывать нельзя. А что дальше – это уж не наше дело...». И снова он ей в тот момент мужа покойного напомнил – так, что расплакалась старая. Хотя какая старая? Только семьдесят с чем-то лет ей тогда было – и еще двадцать, как один день, прошли...

Уехал Паша на север этот свой, а в середине лета вдруг письмо от него пришло. Женился Паша! О жене своей написал – Любой звали, – как поп местный их повенчал, рассказывал. И была еще в письме том фотография, где молодые сразу, как вышли из церкви, вместе с попом и свидетелями снялись. Сначала-то Клава только невесту разглядывала: ишь ты, девчонка совсем, глазки светленькие, волоски жиденькие – а вон куда к жениху прилетела! – и лишь минут через пять рассмотрела свидетелей... Стало Клаве жарко – хотя лето в тот год стояло холодное, в доме сырость по углам поднималась. Хотела ворот себе расстегнуть, вдохнуть поглубже – пальцы не слушались. Наконец, отдышалась, взгляделась пристальней. И поняла, что не ошиблась: на фотографии справа стоял он – Генка-полицай и насильник. «Да полноте, - попыталась окоротить себя Клава. – Полвека прошло...» Но она знала, что все так и есть, потому что не очень-то Генка и изменился – высох, разве что, соответственно возрасту, но лицо – лицо осталось прежним, даже выражение сохранилось такое же – полное собственной значимости...

Не соображая, что делает, Клава бросилась на телеграф и отправила Паше телеграмму – как сама позже поняла, совсем невразумительную. «Справа Генка» - только это в мозгу и стучало, когда схватила телеграфный бланк, – так и написала. Поймет, казалось, мальчик – он умненький... И только по дороге домой задумалась: а что теперь? Мчаться сейчас туда, разоблачать его, суда требовать? Просто в гла-

за посмотреть мерзавцу, спросить, как ему на свете живется? Про дочку его рассказать, Тонечку? Сообщить, что он у собственного внука на свадьбе свидетелем был? Просто в морду его поганую плюнуть? Задумавшись, брела по улице семидесятилетняя тогда Клава. И вдруг пришла ей в голову простая и мудрая мысль: да все ведь давно кончилось. Пятьдесят лет назад кончилось. У Генки этого, конечно, семья, жена такая же, как вот она, Клава, да еще больная, может быть... Дети, которые отца уважают – ведь он им про жизнь свою сказок каких-нибудь напридумывал... Внуки, наверное, которых он на коленях нянчил, играл с ними, премудростям учил... И вот приедет она и заявит им всем: муж ваш, отец и дед – полицей, каратель, военный преступник. И девушку изнасиловал зверски... Какая польза от этого будет? Кому? Одно только несчастье ни в чем не повинным людям... И решила Клава подождать от Паши ответа, разобраться, что он из телеграммы понял, да и написать ему потом обстоятельно все свои соображения по этому поводу... Но ответа от внука она так и не дождалась – может, не понял он, о чем речь, а может, недосуг было: медовый месяц все-таки у ребят, а она им такую пилюлю... Да и, кроме того, знала Клава его все-таки мало, а взрослым – так вообще только раз видела; чужими почти были – на что ему, если разобраться... Тут как раз серьезно заболела ее одинокая подруга – инсульт с ней случился – и пришлось почти полгода ее днем и ночью выхаживать: не до писем стало – так и сошло все на нет, за другим, важным и насущным, перегорело.

И никогда бы она больше в жизни своей об этом ни с кем не заговорила, если бы не приехала к ней однажды девчушка Лариса – совсем как та, Люба с фотографии. Клава схожесть их все-таки заметила, хотя к тому времени совсем уж мало видела сквозь свой помутневший хрусталик и доживала горький век в богадельне – той, что при церкви недавно открылась. Шестеро их было в комнате, почти столетних старух-горемык, и все слушали, а некоторые – так и плакали. Но никто не дивился: к таким годам люди давно уже не умеют удивляться.

Глава 6

Живые не знают

Посмотрев в иллюминатор, можно было увидеть то, что всегда: блистающую лазурь кругом и словно бы густую свежую простоквашу внизу – самое успокаивающее зрелище для пассажира на высоте километров так двенадцать. Если видишь именно это, значит, самолет летит себе пока ровно и падать не собирается. Иногда картина быстро превращалась в фантастическую: на некотором расстоянии чуть справа по курсу и впереди появлялось нечто, напоминающее бокастую белую акулу с крыльями; она висела в невыносимой синеве почти неподвижно, но

самым непостижимым образом росла и росла; наконец, торжественно выплывала, гладкая и ослепительная, на странно близком расстоянии и оказывалась большим и тихим самолетом встречного курса – и внезапно исчезала навсегда...

После такого Ларисе каждый раз казалось, что самолеты разминулись, избежав рокового столкновения, лишь случайно, и следующая небесная акула обязательно проглотит их жалкий и тощий ТУ, следующий обыденным рейсом Санкт-Петербург – Архангельск... Лариса откинулась в кресле и улыбнулась с закрытыми глазами: зачем она поехала туда, на край земли, около месяца назад? Просто чтобы узнать, не помнит ли кто ее маму, не знает ли, куда делся отец... Она не рассчитывала и не собиралась превращаться в юного следопыта, выясняющего подробности давно канувших в Лету человеческих перипетий. Какое, к едрене фене, подполье во время Второй мировой, о котором рассказала эта полуслепая лысая старуха, оказавшаяся двоюродной прабабкой? Все эти давние события стояли для Ларисы в одном ряду с невнятными мотаниями Пьера Безухова по Бородинскому полю и черно-белым видением революционных матросов, храбро лезущих по витой решетке Зимнего Дворца... Хотя, в принципе, получалось понятно: тот полицей Генка в тюрьме изнасиловал некую Нину... Хотя, почему, собственно, изнасиловал? Он ведь серьезно рисковал головой, вызволяя ее из камеры, и вправе был рассчитывать на некую, так сказать, компенсацию, тем более, что Нина ему сама предложила... Тут Лариса несколько запнулась в собственных мыслях, остро ощутив, что думать так не положено: это абсолютно противоречит традициям гуманизма... Ну ладно, проехали... Она родила девочку Антонину, а та – сына Павла. Этот Павел и есть ее трагически погибший отец, а шалунишка-полицей, значит, родной ее, Ларисы, прадедушка... Хорошенькое дело. Но и это еще не все. Выходит, негуманный Генка-прадед ухитрился как-то сменить свое опозоренное имя на честное и проживает себе спокойно уже шестьдесят девять – Лариса ужаснулась такой запредельной цифре – лет в деревне Койдино, что у самого горла Белого моря... Все его уважают и зовут Анатолием Ивановичем, а государство периодически награждает за героическое прошлое и дает разные приятные льготы... Стоп-стоп-стоп. А кто это доказал, собственно? Да никто, если беспристрастно взглянуть. Потому что узнала его старушка Клава – полвека спустя! – по не особо четкой, с пленки еще, фотографии, да и самой ей тогда было уже за семьдесят и зрение, должно быть, не очень, раз потом почти ослепла. А сейчас она и вовсе никакая не свидетельница. Так ли, нет – концы в воду. Собственно, и рассказывать не о чем: и баба Зоя, и отец Олег, да и Гриша, пожалуй, не то что посмеются над ней, но ласково так усмехнутся, по макушке потреплют: ишь, сыщица великая, ну ладно, покушай вот пирожка с морошкой...

Лариса досадливо шмыгнула носом: она терпеть не могла, когда с ней разговаривали, как с маленькой. Но про родителей-то своих она так ничего и не выяснила! Кроме того, что отец ее, Павел, погиб как раз в день, когда получил ту взбалмошную телеграмму, из которой, конечно, ничего не понял... Хотя почему не понял? Ведь Клава рассказала ему историю его бабушки! Она-то ведь, Лариса, сразу поняла: одна фотография у нее и сейчас в сумке, а другая прямо на стенке висела. И у отца... тоже. А телеграмму он прочитал прямо на аэроплощадке и пошел... Куда?! Господи, да батюшка сказал, что прямо к Анатолию Ивановичу! И сидел там долго! А потом в сарае у себя мрачный был и чем-то подавленный. Отец Олег решил, что разлукой...

Лариса выпрямилась в кресле и невидящим взглядом обвела салон. Изнутри поднималась противная мелкая дрожь. Она оперлась локтями на откинутый столик и уронила похолодевший лоб на сцепленные руки. Спокойно. Спокойно. Отец был человеком прямодушным и... как бы это сформулировать... несколько наивным, что ли... Ему было примерно столько же, сколько и Ларисе сейчас, – и ей ли не знать, каковы в ее возрасте мальчики такого типа. Не мог он носить такое в себе, не сумел даже донести до дома... А может, не захотел, не проверив, делиться таким жутким подозрением. И просто спросил. Спросил напрямик... Ну, а тот же не дурак – мальчишке с места в карьер признаваться – отперся от всего, разумеется, сказал, мол, знать ничего не знаю, какой еще Генка... Не мог же Павел настаивать – ушел, конечно, да еще и извиниться, небось, пришлось. Чтобы точно выяснить – теперь очная ставка с Клавой нужна была, а на это время требовалось. И вот этого-то времени Анатолий Иванович – нет, Генка, Генка! – Павлу и не дал: ночью пришел и спящему горло перерезал: знал, что никто на него, гада, не подумает... Потом всю комнату перевернул, когда телеграмму искал – а вот в «Даре» посмотреть не додумался... А может, не успел, спугнуло его что-то... Но ведь тогда выходит, что и маму... Лариса запустила пальцы себе в волосы и со стоном рванула их.

- Девушка, вам что – плохо? – наклонилась к ней участливая соседка.

Лариса ошалело глянула на нее, словно вынырнув из-под воды:

- А? Нет... То есть... - она едва перевела дыхание. – Нет-нет, спасибо... Извините...

- Ну держитесь, мы уже на посадку идем... А если что – вы скажите, я стюардессу вызову... - не доверчиво отвязалась женщина.

Плохо? Да, конечно, Господи, ей плохо... И матери ее, Любе, тоже плохо было там, в комнате, где убили ее мужа, где столько воспоминаний смотрели из всех углов... Самых дорогих воспоминаний... Теперь и она, Лариса, понимает – почти понимает – каких... И маме тоже не спалось все эти светлые ужас-

ные ночи... Однажды она открыла любимую книгу, чтобы успокоиться... И нашла ту телеграмму, до которой не доискался убийца. Люба тоже поняла, о чем в ней идет речь – ведь фотография все еще висела на стене! Рассказал ли ей муж ту отвратительную историю? Конечно, да! Ведь они же были самыми близкими людьми на свете, вместе смотрели у Белого Дома смерти в глаза! А если и нет – пожалел ее, допустим... Все равно она смутилась, задумалась... И наутро пошла – к кому? – да все к нему, ветерану войны, у которого не раз чай с вареньем пила! И которому доверяла... Да и вообще – старый ведь, что такой сделает? Если в чем виноват – то сам скорей испугается... А священника в тот день как раз куда-то вызвали – и, хотя такое и происходит по несколько раз в неделю, но в тот день для Генки это стало просто подарком Небес... Успокоил Любу, наврал ей с три короба – за пятьдесят лет врать будь здоров научился, иначе не выжил бы! – и предложил в Архангельск отвезти, раз погода нелетная... И по дороге где-нибудь... Нет! Не было такого, не ступала мама на его баркас! Не уехала бы она, не попросившись с отцом Олегом по-человечески, дождалась бы! Да еще со стариком этим, которому не могла вполне доверять... Значит...

Самолет постепенно снижался, отчетливо закладывало уши – и подступила гадкая, тягучая тошнота. Не от перегрузки – от ужаса. Потому что Лариса знала теперь, что ее девятнадцатилетняя мать была убита там, в Койдино, и там же находится ее безвестная могила. И еще знала, что ее могилу тот старый негодяй обязательно покажет – и признается. Во всем. Сам...

Лариса прекрасно понимала, что все толпившиеся в ней прозрения и догадки были слишком сложны для обыкновенной восемнадцатилетней девушки, а вся невероятная ситуация, в которую этот полуподросток неожиданно-негаданно попал, могла оказаться не по зубам и взрослому мудрому человеку. Зато девчонка была полностью детищем своего века – века-бунтаря и созидателя все новых и новых машин, века не философа и не мыслителя, а созерцателя и накопителя информации. И она, конечно, посмотрела сотни и сотни самых разных фильмов, особо предпочитая триллеры и продвинутые ужастики, и потому навеки усвоила себе, что ситуации случаются и пострашнее, а чтобы выпутаться из них, особо необходимо личное бесстрашие и самая малость везения...

...Летной погоды в Архангельске ждать пришлось до самого вечера, и в Койдино по аэроплощадке Лариса, изведаясь нетерпением, бежала бегом – а там припустила к медпункту шустрей январского песка. И уперлась в запертую дверь, увенчанную знакомой бумажкой. «Ушел за медикаментами» - гласило идиотское послание. И действительно, бред ведь, если подумать: куда ушел за лекарствами – в тундру?

В десять часов вечера? В эту минуту Лариса узнала, что чувствует человек, когда у него внезапно темнеет на сердце: все цвета, и без того не очень яркие, в один миг отчетливо потускнели перед ее глазами. Потому что она прекрасно знала, где находился Гриша, когда на двери висела эта записка: именно в тундре. Или на берегу моря. С ней. А если не с ней, то с кем? Тут найдется... Можно не сомневаться... Она быстро нажала горячую клавишу с Гришиным номером – не может ответить, ласково сообщил ей специально поставленный извиняться перед обманутыми девушками робот. Чуть не плача, Лариса развернулась и тяжело пошла к дому священника, где ставни были еще распахнуты, и убито постучала в дверь. Долго не открывали, так что Лариса отчаялась ждать и отбила костяшки, но наконец – никаких традиционных шагов за дверью не раздавалось – дверь открыла старушка Липа в огромных, носимых ею зимой и летом и снимаемых только на ночь, черных валенках. Одевалась она тоже только в черное с головы до ног, хотя была не горькой вдовой, а сознательной девственницей. Возраста ее не знал никто, и даже старожилы определить не брались: сколько ее помнили – она всегда оставалась одинаковой, с маленьким темно-серым личиком, казавшимся вырезанным из старого растрескавшегося дерева, безмолвным провалившимся ртом и в теплом черном платке, доходившим до глаз. Говорила Липа только, если ее спрашивали, а в остальное время ритмично жевала губами, словно всегда повторяя про себя одну и ту же короткую – не более восьми слов – фразу. До того, как в начале девяностых в Койдино построили новую дивную церковь, Липа, нацепив на валенки огромные галоши, каждое воскресенье ходила пешком по тундре в ту дальнюю, что была открыта – и таким образом наматывала за один поход двадцать два километра, да еще и выстаивала службу. В это никто, кому рассказывали, не верил, но местные знали – правда, и боялись. Потому что ведь действительно страшно же... Когда появилась церковь в Койдино, Липа сама почти поселилась в ней, никого не спрашивая. Она ежедневно терла добела и без того чистый дощатый пол, скоблила дареные жертвователями золоченые паникадила, продавала тоненькие гибкие свечечки, принимала за стойкой требы и бдительно следила за всем немалым и сложным церковным хозяйством. На службах ненавязчиво прислуживала отцу Олегу вне алтаря, читала, что полагалось, когда не было псаломщика – а в священниковом доме несла обязанности добровольной прислуги, берясь за любое дело и никогда не сидя без него. Денег и гостинцев не брала ни под каким видом – «Мне моей пенсии на все хватает» – а если что всовывали насильно приезжие, то немедленно передавала чужим прожорливым детям и своим нетребовательным домашним. За все это ее, конечно, законно осуждали – «пристроилась, чтоб в богадельню не сдали», остро недолюбливали – «святоша, хитрая гордячка», открыто

брезговали едой из ее рук – «грязная бабка, одежду не меняет»...

- Матушка еще из Архангельска не вернулась, - как всегда тихо доложила она Ларисе. – Батюшка с доктором на старые тони ушли, рыбак там покалечился. Ты к себе проходи да оправляйся пока, а я сейчас супу согрею.

- Не беспокойтесь, баба Липа! – выдохнула Лариса, у которой с плеч свалилась такая гора, что ноги от легкости чуть не оторвались от земли. – У меня в рюкзачке зефир, печенье и бутылка лимонаду есть!

- Ну, ладно тогда... - баба Липа глянула на нее с непонятно пронзительным выражением – впрочем, у нее всегда был такой взгляд, словно она знает куда больше, чем все остальные, но молчит из вежливости.

Она бесшумно исчезла в своих черных валенках, а Ларису стало носить по дому: усидеть на месте со всеми нелегкими соображениями, коими ровно не с кем было поделиться, разрывавшими голову и сердце, она все равно не смогла бы... Отец Олег разрешал ей раньше заходить в его отсутствие к нему в кабинет – делал он это в напрасной пока надежде, что девчонка от нечего делать заинтересуется какой-нибудь дельной книгой, но Лариса об этом не знала, и просто с уважением рассматривала интересные и невиданные предметы: иконы в чудных старинных окладах – прежде всего, потом олени рога, понатыканые везде, где было место, и охотничьи ружья, конечно, – у Гриши тоже такое было, он даже управляться с ним Ларису на досуге учил... Ружья? Она все пристальней вглядывалась в одно, оставшееся: другое, отправляясь далеко в тундру, священник всегда брал с собой на всякий нежданный случай – там ведь и на волка выйти не заказано. Лариса робко приблизилась, а в сердце все ошутимей вставала новая, приятная и словно где-то украденная решительность. Секунда – и ружье оказалось у нее в руках. Патроны лежали в нижнем ящике старого тяжелого комода – отец Олег однажды при них с Гришей доставал... Лариса резко дернула ящик – так оно и есть! А вот эти – крупнокалиберная дробь, с которой ходят на морзверя. Что ж, жестко подумала она: у нее тут неподалеку сидит в своей норе зверь пострашнее! И уже недогнувшими руками она с силой переломила ружье, загнала два патрона, звонко клацнула. Ага, вспомнила, откуда такая удаль явилась: Ума Турман в «Убить Билла». Сейчас она тоже покажет, что не соплюха недоделанная. И, когда Гриша и отец Олег к утру вернуться, они уж не посмеют над ней беззлобно подтрунивать, все главное дело сразу забрав себе на правах мужчин... Она не Ума Турман, у них в России женщины во все века покруче были! Лихо закинув заряженное ружье за спину и напрочь забыв про так и оставшийся в сумке мобильник, Лариса вышла в неугасимую летнюю полночь и, держась очень браво, так что и самой нравилось, твердо зашагала по каменно спавшей деревенской улице.

Тут главное было – не утратить кураж и не выйти из образа. Страха Лариса не испытывала вовсе никакого – не воевать же ей предстояло с девяностолетним старцем – а вот некоторое смущение ощущалось очень ясно: а ну, как никакой это не Генка-полицай, а самый настоящий Анатолий Иванович, престарелый ветеран Второй мировой или, как раньше называли, Великой Отечественной? И она сейчас вот к нему ворвется, непотребно оскорбит – да еще станет перед носом больного старика ружьем размахивать! Господи, если так – стыд-то какой! Сраму потом не оберешься, придется срочно бежать из этого дурацкого Койдино, поджавши хвост и чуть ли ни камнями по дороге побиваемой! А Гриша же не побежит за ней так сразу – ему до двадцати семи лет тут, хоть тресни, досидеть надо, чтобы в армию не замели! Положеньице... Но остановиться Лариса уже не могла, находясь в том классическом состоянии, которое давно и метко характеризуется великим народом так: вожа под хвост попала. Это – одна, а другая, видно, нахлестывала...

Во дворе ветерана сонно брехнула, издала тяжкий вздох и вновь смежила усталые от жизни веки непривычная к ночным вторжениям и оттого не ведающая, как в таких случаях быть, старая беспородная псина. Лариса стукнула в дверь – громко и намеренно нагло: пусть вспомнит там спросонок, как полицаем в дома честных людей вламывался. Стукнула раз, стукнула два – и за дверью послышалось далекое шарканье. Девушка оробела: сейчас либо бежать без оглядки, либо уж переть до конца, а там видно будет. Дверь открылась раньше, чем она успела принять твердое решение – и Лариса сделала шаг назад от неожиданности. Перед ней стояло жалкое низенькое существо в просторной исподней рубаше и смешных семейных трусах, из которых тянулись две тонюсенькие и слабенькие безволосые ножки, покрытые жесткими фиолетовыми шнурами вздувшихся вен. Круглая лысая головенка с островками седого пуха, торчавшая на щуплой дряблой шее, как на шесте, сплошь была покрыта отвратительными темными пятнами, на складчатом нечистом лице выделялся лишь мощный желтоватый нос, делаая своего обладателя похожим на потрепанного птенца птеродактиля. Впечатление довершали две тощие коричневые птичьи лапки, рассеянно теребящие грязный ворот... Грозный враг Ларисе достался, нечего сказать. Но отступать было некуда, и не раз виденным в фильмах и потому идеально повторенным движением она смахнула с плеча ремень и, вертикально держа ружье, легонько толкнула им хлипкое туловище, загораживающее вход:

- А я к вам, Геннадий, простите, не знаю, как по батюшке.

Именно в этот момент она поняла, что не ошиблась. Только в этот. Потому что, услышав имя, старик вздрогнул так, будто ружье уже в него выстрелило и попало – в сердце. Кем она пришла – палачом?

Судьей? Но палачом этому человеку стало само время, уже недрогнувшей рукой завалившее его на плачу, а Судья – тот не замедлит, когда время опустит свой топор на эту ощипанную шею... И что, может, теперь просто повернуться и уйти?

- Ну, здравствуй, прадед, - как смогла, презрительно бросила Лариса, наступая на него, инстинктивно пятывшегося от ружья по захлавленным сеньям.

Но после первых минут закономерной растерянности старик уже сумел взять себя в руки:

- Какой еще прадед? Отродясь детей не плодил на свою голову! – сварливо выкрикнул он даже не писклявым, а будто трещащим голосом.

- Ах, гнида... - красиво сплонула Лариса. – На силуешь женщин – так не удивляйся правнукам!

- Ты что это себе позволяешь, мандавошка? – совсем, наконец, спохватился дед. – А ну, проваливай отсюда, пока я милицию не вызвал!

- Зови давай! – в запале крикнула она. – Мне как раз пора показать им документы! Предъявить доказательства, за которыми ездила! И которые, будь уверен, привезла! Рассказать людям, кто ты на самом деле: не ветеран войны, а кровавый палач, фашистский пособник! Что, думаешь, все свидетели померли?! – с удовольствием напропалую блефовала Лариса, картинно потрясая уже направленным ему в живот стволом и наслаждаясь выражением недоуменного ужаса, медленно заливающим лицо старого полиция.

Между тем она успела подумать: «Лишь бы не выстрелило!», аккуратно проверила большим пальцем предохранитель, а указательный и средний незаметно отодвинула от курков – мало ли что. Они благополучно допятылись до открытой двери в комнату и, переступив порог, Лариса поморщилась от отвращения: густой запах старческой мочи висел, как плотный туман; ногами на двор старик, понятно, уже не бегал и справлял нужду тут же, у кровати с шишечками, в роскошную эмалированную ночную вазу – без крышки, но зато ярко-оранжевую и с наивными анютиными глазками на боку. В остальном же комната оказалась на удивление опрятной – скромной, понятно, но чисто прибранной – и деревянный пол даже был кокетливо покрыт толстым слоем коричневого лака... Пересилив себя, Лариса указала стволом на кресло и строго велела:

- А ну, сел – и чтоб без шуток! – каких шуток от него можно было ожидать, она понятия не имела, но так полагалось для обязательной острастки.

Старик трясся с ног до головы – это было очевидно. Пестренькие семейные трусы спереди отвратительно потемнели. Что ж – тоже известное дело: как людей на тот свет спроваживать – тут они молодцы, а самим под дулом стоять – тут и обоссутся... Лариса уже чувствовала свою первую, крупную и нешуточную жизненную победу и хотела неторопливо распробовать ее вкус: вот она какая, оказыва-

ется – сладкая и пьянящая, даже голова кружится... Жаль, что так легко досталась. Она грациозно, как дама в амазонке, боком присела на подлокотник дру-гого кресла и вновь твердо направила дуло уже под-судимому в лоб:

- Ну что, Генка-полицай? Сразу тебя прикончить или допросить сначала? Сам-то как во время оно предпочитал? – она звонко шелкнула предохраните-лем и притворилась, будто целится всерьез. – Здесь крупная дробь, так что голову тебе снесет без остат-ка, будь уверен. Короче, молись, если умеешь... - это последнее вышло несколько заезженно, но Генка, видно, со страху поверил.

- Бессовестная ты, бессовестная, - вдруг слезно запричитал он. – Если вести себя с людьми не уме-ешь – ты хоть к сединам моим почтение поимей!

- Непочтенные твои седины, - отрезала девушка. – Предатель ты и убийца – а больше никто...

Он закрыл лицо руками:

- Да что ты знаешь-то об этом... Какое имеешь понятие... Здоровая росла, холеная... Жрала, что хотела... Горя не видела, счастья не знала – только страшилки смотрела по телеку... Того не понима-ешь, что не все в мире черно-бело... Ишь ты, глу-пая... Думаешь – все просто: я злодей, а ты ангели-ца? Дура ты, дура... Злодей, небось, тоже, таким не рождается – судьба его ведет... Одно за собой другое цепляет... Я, когда почти пацаном еще в полицию шел – думал, чего такого? За порядком следить, да и только... А потом – от остального откажись, попро-буй – такое сделают... Рассказали тебе, небось? Сама бы не хотела в такую камеру? Ну, и я не хотел... Еще не известно, какая бы ты там была героиня – под немцами-то... Это сейчас – ружьишко у попа сперла и сидишь смелая да бойкая... А там бы попробова-ла... Легко осудить через три-то поколения...

- Плевать мне на твое полицейство, - искренне сказала Лариса. – И у кого имя украл, неинтересно. Это пусть народ разбирается. Или суд – как люди ре-шат. Мне другое нужно, - она судорожно вздохнула и решила: - Насчет отца я примерно знаю. Теперь про мать говори. Иначе сдохнешь на месте. Я не шучу, - и она вновь, уже без легкого первоначаль-ного ерничанья, приподняла тяжелое и неудобное ру-жье. – Мне, когда про подвиги твои расскажу, срок за тебя условный дадут, если вообще не оправдают. А из зала суда проводят овацией. Так что рассказывай, не тхни. Тогда обещаю – поживешь еще... Сколько сможешь...

Девочка не понимала, откуда взялся вдруг у нее такой горький всезнающий тон взрослой мудрой женщины – но увидела, что и Генка заметил пере-мену. Заметил – и пуше затрясся...

- А можно... - после долгого молчания еле слышно пискнул он. – Можно я покажу лучше... Это недалеко здесь... Только одеться надо...

Лариса поднялась:

- Быстро давай, – и сурово добавила: – Но не

рассчитывай, что я отвернусь!

Он долго путался в серых тряпках дрожащи-ми руками, суетливо искал свитер на полках своего спартанского шкафа, кряхтя, обувался в раздолбан-ные кроссовки, наконец, неловко напялил черный ватник и непослушными пальцами косо застегнул его. Вышел первый и жалобно обернулся:

- Ты хоть не улице-то ружьем не махай, дочка... Не позорь пока перед людьми-то...

- Дочка твоя от рака умерла в девяносто чет-вертом. А я тебе всего-навсего правнучка, - строго напомнила Лариса, но ружье перекинула за спину – впрочем, в этот глухой враждебно светлый час ни одна душа кругом не бодрствовала, ни одно окно не глядело дружелюбно на улицу.

Ветер ночью переменялся, и с северо-запада по тундре задула свирепая морянка. Лариса столкнулась с ней впервые, до того знакомая лишь с ласковым материковым шелонником – и в одну секунду ее про-няло до костей. Тонкую розовую куртку на легком синтепоне, модный хлопковый свитерок и летние джинсики вмиг прохватило насквозь, словно их во-все на ней не было – и пронизывающий все на свете ветер невозбранно загулял по голому телу, словно чьи-то грубые ледяные лапы нагло ощупывали его. Никакого головного убора, даже самой тоненькой шапочки, девчонка с собой не захватила, выбегая из дома с пылающей от жажды подвига и победы го-ловой – и теперь эту голову сразу заломило, как от менингита, в ушах начались невыносимые острые рези... Быстро оледеневшие и почти бесполезные теперь руки без перчаток можно было держать толь-ко в карманах, плотно стиснув холодные кулаки, а ружье все мучительней тянуло назад и вбок, так что приклад почти волочился по земле. Бесконечные ки-лометры сухого седого ягельника, в котором глубоко утопали ноги, уходили вдаль во всех направлениях, но девушка и старик шли к недалекому морю, так что ветром больно секло лицо, и слезы застилали глаза... Тусклым равнодушным прожектором тяже-ло висело над горизонтом в бесцветном небе непод-вижное око негреющего тундрового солнца.

В глухом ватнике и плотно надвинутой на лоб ушанке, Генка-полицай то медленно плелся вперед-и чуть левее, то останавливался и жалко переводил дух, то в изнеможении хватался за сердце, то, обо-рачиваясь на Ларису, заискивающе повторял:

- Скоро уже... Вот чуть-чуть еще осталось... Скоренько, скоренько...

Она одеревенело кивала, стремясь сохранять грозный вид, но уныло думала о том, что хватит ее еще очень ненадолго, если ситуация как-нибудь не переменится. Вдруг впереди замаячила заброшенная рыбацкая изба – Лариса знала ее: сколько раз с Гри-шей вместе доходили они по тундре до этой забро-шенной тони в хорошую погоду и стояли на высоком глядне у обрыва, держась за руки и наблюдая, как бурлит на куйпоге ледяная вода неласкового Белого

моря...

- Это здесь... - остановился совсем уж обессиленный старик. - Сейчас помру... Задыхаюсь... И стрелять тебе не придется...

Ноги у него подкосились – и он грохнулся, судорожно разевая рот, в глубокий мох метрах в пяти от обрыва; дрожащая рука терзала верхнюю пуговицу бушлата. Другая едва приподымалась, указуя вперед:

- Туда подойди... К обрыву... - прерывисто хрипел он, оттягивая воротник. - Вниз глянь – сама увидишь...

«Действительно – не помер бы... И что там можно увидеть под обрывом – сто раз смотрела: либо песок, либо вода...», – пронеслось у Ларисы. Она недоуменно уставилась на неразборчиво сипевшего обрывки умоляющих фраз старца, но любопытство пересилило: встряхнув ружье на онемевшем плече, она приблизилась к обрыву и, осторожно нагнувшись, заглянула вниз.

Приливная вода стояла на самом пике и завивалась белыми крутыми бурунчиками, готовясь быстро и мощно отступать. Больше ничего особенного внизу не увидев и смутно чувствуя какой-то подвох, Лариса резко оглянулась.

Никакого дряхлого старика, умирающего в серебряном мху от удушья, не было. В нескольких метрах от нее, упруго расставив ноги, стоял невысокий, но крепкий и сильный пожилой мужчина в расстегнутом ватнике и сдвинутой на затылок шапке, с яркими живыми глазами и юной белозубой улыбкой. В твердой жилистой руке зловеще поблескивала темная сталь небольшого ладного пистолета.

- Девяносто лет на свете живу – а вашей бабьей дурачности не перестаю удивляться, - пересиливая шум воды и свист неистовой морянки, зазвучал спокойный и жесткий голос. - И та тоже – мамаша твоя, точно так же, как и ты, сюда со мною поперлась. У той и ружья не было. Прискакала ко мне – и фотографией той гребаной трясет... «Пойдем, – говорю, – вечером, покажу доказательство, что ты ошибаешься». Надо же мне было прилива дожждаться. И пошла, представь себе, – дура она и есть дура. Не боялась нисколько – уже и тогда меня доходягой считала. А я еще баб топтал в свое удовольствие. И сейчас бы мог, да вот бабы не хотят... Не повезло мне тогда чуток: когда за вещичками ее пришел, тут как раз и поп с другой стороны подъехал. Еле ноги унес, опять не нашел телеграммы той распроклятой... Как и годом раньше у бати твоего малахольного, которого на бандитов списали. Но теперь найду, не волнуйся... Тебя, когда звал, думал, не пойдешь, заподозришь что-нибудь. Смотрю – потопала, надо же! Видать, права поговорка: волос долог – ум короток. Видишь, не обманул я тебя, девка, на то самое место привел: ее тело унесло в море именно с этого обрыва – в девяносто пятом. Ну и ты за ней плыви, рыбушка, с семгой вместе. До свидания на том свете... Хотя враки

все это, нет там ничего. Так что прощай, - он плавно и точно поднял руку с пистолетом.

Только тогда Лариса опомнилась и смертно закричала, зажмурив глаза. Среди шума моря и воя дикого ветра коротко и сухо треснул единственный выстрел.

В ноябре 1944 года в Псковской области уже выпал снег. Выпал, потом растаял, потом снова выпал и остался лежать на израненной земле грязно-белыми пятнами, как несвежие бинты, сквозь которые проступает бурая кровь. Отступая из Краснореченска, фашисты сожгли за собой все деревни района, что находились западнее этого захолустного, словно не выросшего из девятнадцатого века, полугородка-полупоселка. На черных руинах первый снег мешался с сажеей, печные трубы вздымались с пепелищ к небесам, взывая к отмщению, и даже традиционное воронье не кружилось над ними, потому что поживиться давно уж здесь было нечем. Стояла мертвая страшная тишина, и ни ветер не выл, ни волк – но вдруг издали донеслось слабое, словно детское всхлипыванье.

Обнимая почерневшую трубу и прижавшись к ней чумазым от сажи лицом, горько плакал, размазывая слезы, демобилизованный солдатик в ветхой шинельке второго срока. Он стоял перед уцелевшей трубой на коленях, как блудный сын перед всепрощающим отцом, серая армейская шапка валялась рядом на обгоревшей и рухнувшей балке, залатанный в нескольких местах вещмешок сполз с худого, дрожащего от рыданий плеча, порыжелые от времени кирзачи неуклюже торчали из-под неровно обрезанных разметавшихся пол... «Деда... - повторял он сквозь слезы как заведенный. – Мамка... Лялюшка... Деда... Мамка...»

- Нету их больше, Толька... - раздался сзади тихий мужской голос. – Не зови напрасно, сердце себе не рви.

Солдатик вздрогнул, поднял голову, и опухшее лицо на секунду просветлело:

- Генка! Ты, что ли?!

К нему неслышно подходил невысокий парень его лет, одетый в черные стеганые штаны и такой же бушлат, застегнутый на все пуговицы. Приблизившись, он стянул с головы ушанку:

- Могила братская в Буриках, туда всех свезли хоронить, кого немцы в окрестных деревнях... - он сделал безнадежный жест. – Покажу тебе потом... - и сдержанно протянул распахнутые руки: - Ну, здравствуй, Толян. Вернулся, черт живучий...

Солдат молча вскочил и крепко обнял знакомого, проглотив последние слезы:

- Здорово, Генка. Вернулся вот – да и сам не рад...

Генка стиснул объятия крепче:

- Главное, живой ты. А горя у всех, на кого ни глянь, сейчас полно.

Толян высвободился:

- А ты-то? Тоже комиссован, что ли? Когда пришел?

- Не взяли меня – брюхо еще в сороковом располосовано, забраковали. Негодный, говорят... Под немца попал. То еще веселье... - объяснил приятель. – Двое теперь живых нас с тобой из класса – разве только с фронта еще кто придет. А которые здесь остались – те все до одного... Повесили, короче...

- Чего?! – вскричал солдат, роняя с плеча наброшенный было сидор. – Не брешу! А девчонки?!!

- Сказал же – все, - мрачно ответил Генка. – Подполье у них было. Немцы накрыли. В апреле еще казнили их – семнадцать человек. Я сам видел.

Толян грузно осел на балку и, скрючившись, уткнул лицо в сорванную грязную шапку. На секунду глянул вверх с безумной надеждой:

- А Зина?! – но опять уронил голову, увидев, как одноклассник сурово кивнул.

Несколько минут никто из них не произнес ни звука, но, наконец, Генка решительно стиснул приятелю локоть:

- Подымайся. Ко мне пока пойдём – я тут землянку себе вырыл неподалеку. Батю с фронта жду, говорят, живой он. Как дождусь – с ним вместе уйдём, - и добавил, словно про себя: - Тут-то мне жизни все равно не дадут...

Шли медленно и долго, Толян все останавливался, явно не в силах нести даже свой небольшой вещмешок. Генка подхватил сидор:

- Давай я. Ты чего, сильно раненный, да?

Приятель благодарно кивнул:

- Куда уж сильнее. Под Сталинградом моя война закончилась: мина прямо передо мной разорвалась – так кишки и разметало.

Его одноклассник присвистнул:

- Так это ж когда было? Больше года назад, что ли? Где ж ты с тех пор?

- А-а... - махнул рукой Толян. – По госпиталям маялся, где ж еще... Аж до Свердловска довели, операций пять сделали, не меньше. От одного хлороформа чуть не подох... Потому лишь, наверное, выжил, что про своих все время думал, как они тут под немцем... Еще боялся, помру – мать не переживет. Ведь кто у нее кроме меня – только деда Митяй старый да Лялька – в школу не ходила еще... - он остановился и коротко протонал: - Га-ады... Детей-то за что?!!

Генка несильно стукнул его по плечу:

- Пошли, - он быстро и неприметно огляделся. - Здесь-то какой нам прок торчать...

Лес стоял седой и почти прозрачный. Под ногами сухо хрустел валежник, кое-где еще тускло зеленела умирающая трава, низкое белое небо словно готовилась накрыть своей мутной белизной и безмолвный лес, и двоих усталых парней, и давно оставшееся позади мертвое пепелище.

- Далек ты забрался, - заметил, выбиваясь из

сил, солдатик. – Будто прячешься от кого.

- Да нет, просто место отыскал подходящее, даже копать особо не пришлось: верно, берлога давно здесь была, да медведи ушли, - Генка отвалил в сторону трухлявый заросший пенёк, и указал гостю взглядом на черную дыру, ведущую вниз под вздыбленное корневище огромной поваленной сосны. – Добро пожаловать. Да не боись, обустроился я тут, чего надо было – из деревень сожженных натаскал. Не все же сгорело, кое-что вполне годится... Сейчас чай будем пить. Только вот со жратвой не густо: силки я вообще-то на зайцев ставлю, да сегодня не повезло...

Бывшая медвежья берлога была со знанием дела превращена Генкой в подобие фронтового блиндажа: стены и потолок укрепил он досками, оборудовал себе лежанку с двумя прогоревшими матрацами, в качестве стола приспособил добротный немецкий ящик из-под патронов, умело реанимировал чью-то пострадавшую керосиновую лампу, щедро наполненную унаследованным от бежавших захватчиков керосином, соорудил сносную печурку с грамотным наружным отводом, так что и топил свое жилище вполне по-белому. Одноклассник залюбовался:

- Да ты, я смотрю, с толком обосновался! – впервые улыбнулся он и похлопал по тугому вещмешку: – А насчет харчей не горюй: сухой паек у меня здесь, копил долго... Думал, своих накормлю и Зину... Женихались мы с ней, знаешь? – он вздохнул, как укатанный конь: - Э-ххх... Судьба-индейка... Давай, Генка, помянем их всех – есть тут у меня спиртяжка во фляжечке... На дне, правда, да нам двоим хватит.

Помянули молча, потом долго ели. У Толяна оказался мешочек сухарей, две банки лендлизовской ветчины, розовый шмат сала – выменял на какой-то станции – да трофейное печенье. Остальное – сухие концентраты в великом множестве, но чтоб их развести, требовалось топить печурку, а с этим решили повременить – в землянке еще было тепло. Генка снял с печки небольшую железную кастрюльку, накрытую куском алебаstra, и две мятые железные кружки:

- Смотри-ка, и чай не остыл. Травы у меня тут заварены, летом еще сушил. Пей вот. Полезно, наверное...

Сидя рядышком на узкой лежанке и прихлебывая чуть теплый травяной настой, парни негромко разговаривали.

- Делать теперь – что думаешь? Или не решил еще? Может, в Краснореченск двинешь? – участливо спрашивал Генка.

- Не-а. Как вспомню... Не вынесу. Новую жизнь начинать надо. В новых краях. Уеду я. Далек отсюда, - горько говорил Толян. – Пришла тут одна идея... Тетка есть у меня – не поверишь, где живет – аж у самого Белого моря. Я еще в колыбели лежал, как ее один начальник приезжий замуж взял и

туда увез, откуда сам родом. Жизнь там свободная и сытная. Село поморское, рыбной ловлей живут – а рыба особенная какая-то, мясо у нее красное, представляешь? Вкуснющая, наверно. А здоровая – большие наших сомов из Красной речки. Колхоз тоже есть, конечно, куда от него денешься, только не такой, как наш, а рыболовецкий. Ну, еще охотятся там зимой, зверя какого-то бьют – про это я точно не знаю. Работы всем хватает...

- Это что – все тетка рассказывала? До войны, что ли, еще? – едва приметно насторожился Генка. – Сам-то ты видел ее? Приезжала когда?

- Да нет, какое приезжала... С матерью они все письма друг-другу писали... Овдовела тетка перед войной, да сюда возвращаться не хотела: хозяйство у нее там большое завелось, бросить жалко было...

- Раз хозяйство большое – так раскулачить могли и сослать подальше, - усмехнулся Генка.

- А куда еще дальше-то? И так тундра кругом. Разве, к медведям, на Северный полюс... На месте она, куда ей деться! Вот к ней и поеду, стало быть. Своих детей нет у нее, так что не прогонит, уж наверно, племянника, когда один из семьи остался... – Толян глотнул остатки чая махом, как спирт, посмотрел на кружку изумленно и сплюнул. – Решил, короче. Завтра на могилы схожу к своим и к Зине, а потом...

- Нет у ней могилы, - оборвал одноклассник. – Их всех после казни в грузовик свалили и увезли куда-то. Куда – так и не нашел потом никто... А что, тетка твоя тебя по фотографиям знает?

- Да какие фотографии, откуда... Хотя, кажется, посылала мать одну, когда – помнишь – в пионеры принимали и фотограф из Пскова приезжал, лет десять тому... Думаешь – не признает? Да ну, что ты! Я ей документы предъявлю, у меня все как положено. И красноармейская книжка есть, и справка о ранении, и комсомольский билет, прежде всего – вот, смотри... - не дожидаясь просьбы, Толян расстегнул шинель и достал из кармашка летней гимнастерки бордовые потрепанные корочки.

Генка с интересом заглянул: с темной маленькой карточки смотрело еще полудетское лицо, которое с успехом могло принадлежать любому русскому юноше без особых примет. Толян тоже глянул приятелю через плечо и хмыкнул:

- Да уж... Это ж когда снимали... Не то мое лицо, не то твое, не то чье угодно... И в других документах не лучше. Все мы теперь стали одинаковые. Сравняла война проклятая... Ну, да ничего, имя-то прописано, печати поставлены – и хватит.

- Слушай, а найдешь ты ее, тетку-то? Адрес есть у тебя? – спросил Генка.

- А как же! Пацаненком еще мамкины письма на почту носил, да и адрес-то немудреный: село Койдино Архангельской области, Малыгиной Анастасии Дмитриевне... - с некоторой гордостью поделился солдат.

- Ну, раз так... - медленно и глухо протянул Генка, не глядя на товарища. – Раз так, то дело твое, конечно, решенное... Ладно... Давай-ка на воздух выйдем ненадолго. Тяжело под землей-то без света дневно сидеть. Вперед иди, вдвоем тут не разминуться.

И, когда Толян, поднимая куций воротник казенной шинели, неуклюже присел, повернувшись к выходу, Генка быстро достал из кармана легкий немецкий пистолет и дважды выстрелил ему в худую доверчивую спину.

Пес был у отца Олега знатный, Тереком звали – потому что ревел частенько точь-в-точь как горная река на дне узкого скалистого ущелья. Матери его, породистой сибирской хаски, случилось удрать пару раз от беспечного хозяина в тундру и испортить свою высокую породу, слюбившись там с белым тундровым волком. Приплод принесла – загляденье, местные охотники в очередь встали, но отцу Олегу, понятно, со всем уважением первому предложили выбрать себе щенка по вкусу, потому как кобель его дворовый к тому времени как раз от старости окошел. Выбирал протопоп со знанием дела: сучек всех сразу в сторону – три их всего оказалось – а оставшимся пятерым кобелькам, потешно резвившимся на полу, прямо в центр их развеселой компании с силой бросил свою солидную связку ключей. Четверо вмиг разлетелись с жалобным визгом, а пятый... Тот хоть и припал на секунду к полу, короткие ушки прижав – да сразу опомнился, молочные зубёнки ощерил – и на врага пошел скользящим волчьим шагом... Лапы ему отец Олег деловито ощупал – нет ли прибылых пальцев, в пасть заглянул: ух и черное небо! – проверить решил, не текут ли слезные железы – и влюбился. Бойко, умно и задиристо смотрели на него два разноцветных глаза: один светло-голубой, льдистый – материнский, а другой ярко-желтый, пронзительно-дремучий – от отца. «Беру... – растаял протопоп. – Вот этого и никакого другого...»

Спустя два года рычал на церковном дворе славный волкодав: желающих церковь обнести или дом священника – как ветром сдувало. В тундре Терек тоже хозяину был первый друг и защитник, в дальние походы что по требам, что на охоту, ходил теперь отец Олег без всякой опаски: знал, что пес его и от зверя любого оборонит, и лихому человеку, если попадется таковой, останется только убираться подобру-поздорову. Никого, кроме хозяина, пес к себе и близко не подпускал, даже на попадью, что всегда миску ему мясом наполняла, гремел неистово, а уж когда поповны приезжали – тем рад был бы и голову откусить, если б цепь не держала. Но как Лариса в поповском доме объявилась, удивляться порой стал протопоп: не лает, не рычит на девчонку Терек, а если она мимо проходит – так и кончик хвоста у него подрагивает, словно помахать им хочет, да хозяина стесняется. «Надо же! - хмыкнул тогда

про себя отец Олег. – Не только Гришка, но и этот тоже... Тварь бессловесная – а туда же...». А через неделю вошел к себе во двор, ничего не подозревая, а там... Господи Боже, долго, сцену ту вспоминая, креститься начинал: сидит у собачьей будки Лариса на корточках, песью башку страшную у себя на коленях держит, и, мало того, в пасти клыкастой голыми руками ковыряется... Сердце зашло у протопопа: порвет сейчас девчонку – зверюга ведь он дикий, волк наполовину! Замер, пошевелиться боясь, мысли все вмиг из головы повыскочили... А она глаза на него поднимает и говорит – строго так: что это, мол, отец Олег, вы за питомцем своим плохо следите, как вам не стыдно – у него же гингивит сильный, то есть воспаление десен, и их, дескать, люголем три раза в день смазывать надо; псина, мол, мучится, а вам нипочем... Он дух едва перевел – а тут и Терек на него посмотрел укоризненно: подкачал ты, хозяин, а я-то тебе верой и правдой... Вспомнил пристыженный протопоп, что и правда последние дни пес что-то ел неохотно, да разбираться все недосуг было. Пузырек люголя Лариса в тот же день от Гриши принесла, отец Олег на пальце попробовал и плюнул: если бы ему рот такой мерзостью намазать попытались – враз бы всю склянку издевателю на голову вылил. А Терек от Ларисы трижды в день сносил – и ничего, ворчал только, но не злобно как бы, а жалобно: скулить-то уж точно ниже его высокого волчьего достоинства было. А она его потом еще и за уши потреплет и в лбище крутой поцелует. Ветеринаром, говорила, стать хочет – что ж, дело: местного ветфельдшера трезвым здесь уж забыли, когда и видели...

Потому, может, волкодав и почувствовал недоброе первым. Они с доктором уж еле живые по глубокому ягельнику топали с рюкзаками своими, двенадцать километров пешим дралом отмахав с дальней тони. Рыбака несчастного, что крышу домика латать полез да и провалился, изломавшись жестоко, сквозь гнилой рубероид, вертолетом в Архангельск отправили, перво-наперво кое-как Святых Тайн приобщив да шины наложив, как сумели. Сами, чаю только хлебнув, тундрой домой возвращаться стали: предлагал второй рыбак ночевать им – куда там: у Гришки будто шило в одном месте играет, прости, Господи: Лариса да Лариса, приехать должна вот-вот, а телефон то ловит, то нет, то гудки вдруг длинные пошли без ответа - беспокойство одно... Поди удержи такого, но и не по тундре же одного в такую дорогу пускать – вздохнул, да и пошел с ним, а Терек знай себе круги вокруг них нарекает радостно, хвост свой пушистый по ветру распутив... Но на подходе к Койдино странно вдруг заволновался и уши прижал – даже мелькнуло у отца Олега, что рядом где-то волк бешеный ошивается. Подозвал пса и на поводок взял от греха: что хорошего, если сцепятся. А тот вперед рвется, хрипя и давясь, шипы строгого ошейника в горло ему впиваются... Испугались му-

жики: беду, может, чует? Не спросишь ведь! И припустили из последних сил, не сговариваясь. На двор церковный вбежали – ночь уж глухая была, и здесь пес завыл неистово.

- Лариса! – крикнул отчаянно доктор, тоже что-то сердцем прознав. – Где ты?! Приехала?!

В ответ на крыльце только баба Липа показалась: маленькая, черная, и, как всегда, Иисусову молитву творит безмолвно. Но тут уста отверзла, что делала лишь по великой надобности, и объяснила коротко:

- Ушла она. Телефон вот на столе забыла, он все жужжал, да замолк теперь. Ружье в кабинете взяла и с Толькой-убивцем в тундру отправилась – на тоню заброшенную. Я в окно им вослед смотрела.

- Чего-о?! – взревел Гриша не хуже Терека. – С кем-ем?! Что вы такое говорите-то?!!

Протопоп быстро перевел взгляд с доктора на бабу Липу и обратно, прозрел – и рявкнул:

- Знает, раз говорит!!! Бего-ом!!! Терек – Лариса!!! Лариса – ищи, ищи!!! – и спустил его с поводка; пес рванул по прямой в тундру.

Рюкзак они прямо там, во дворе, побросали и вдогонку за Терекон ринулись – да ведь не псы же, люди! После двенадцати километров – да четыре бегом, это ж кому под силу? Только тому, кто любит, наверное... На втором километре распахнули ватники навстречу злобной морянке, и совсем бы долой их, да нельзя: потом остынешь – назад не дойдешь в одном свитере. Так и волокли на себе, потом обливаясь и за бока держась, где кололо, будто вилы воткнули и ворочали – а Терек уж далеко впереди мелькал легкими своими лапами... «Скорее... – все повторял, воздух ртом хватая, доктор. – Скорей же...» Сами не помнили, каково им было, когда впереди вдруг море словно выросло и изба рыбацья старая показалась. Разглядели издали, что двое там у обрыва стояли – друг напротив друга, и один вдруг руку вперед вытянул. В тот же миг обрушилась на него огромная светло-серая тень, раздался истошный женский крик, и шелкнуло что-то сразу, как кнут по крупу лошади. Выстрел – ничто иное и быть не могло... Тишина настала сразу – особая, морская: когда шум моря и вой ветра привычные люди уж и за звуки не считают.

Доктор первый добежал – и они вместе с так и стоявшей на краю Ларисой медленно на колени осели, обнявшись. Трясло ее всю, колотило, но всухую – не плакала. Это Гриша плакал, как дитя, навзрыд, и все твердил, везде ее без разбору целуя: «Мимо, мимо, не бойся... Не попало в тебя... Не попало... Цела ты, цела...»

Терек, врага поначалу с рыком трепавший, вдруг отвалился от него и смиренно прочь отошел. Оно понятно: смерть почуял, и добыча неинтересна стала. Подобрался отец Олег, глянул: точно, опоздала медицина. И не пес загрыз Иваныча – только одежду порвал да оцарапал чуть – а он сам с испугу помер, в секунду. Но пистолет так и сжимал в руке, и дуло

еще порохом пахло... В воздух пуля ушла, когда Терек навалился. Плунуть хотел протопоп – сдержался: не подобает грех такой сану. Просто отвернулся с горечью – да к ребятам пошел, что так на краю обрыва и сидели неразделимо. Сам тоже сел – да и обхватил обоих руками, свою голову поверх их прижав. Услышал, как Лариса шепчет неразборчиво:

- Как же так... Как же так... Я и не знала, что такое в жизни бывает...

- Еще какое бывает, – ответил. – Но, пока живы, ох и многого нам знать не дано...

Эпилог Спроси у моря...

Здравствуй, дорогая баба Зоя!

Рада, что все у вас в порядке, а главное, что тебя снова отпускают в церковь. Спасибо за поздравления и за свадебное платье :), только жаль, что никто из вас не сможет приехать на нашу свадьбу. Она предполагается очень скромная, будут только Гришины родители из Архангельска, а больше, кроме священника с женой, ни один человек, похоже, не придет: нас тут все-таки серьезно осуждают за того лже-ветерана. Не все верят и понимают – ну, да это со временем уляжется, говорит отец Олег.

Ты спрашиваешь, как у меня обстоят дела с учебой. Стыдно сказать, но пока никак. В этом году все сроки поступления я опять пропустила, а на будущей... Хочу подавать в ветеринарный институт, когда нам с Гришей можно будет перебраться в Архангельск. Другого пути я для себя не вижу – пусть тетя Алла и дядя Слава не обижаются – им я отдельно написала. Пока я оформляюсь на работу: здесь восстанавливается маленькая ферма, где будут дорастивать детенышей тюленей, оставшихся без родителей – они очень милые, за ними приятно ухаживать. Ну, и конечно, я собираюсь помочь своему мужу и выпишу много учебников, чтобы готовиться в институт.

Да! Передай всем большое спасибо за посылку с теплыми вещами! Дубленка сгодится разве что весной, а вот два пуховика сейчас как раз то, что надо: здесь ранний сентябрь – примерно то же самое, что у нас конец ноября. Ничего, перезимую, даже интересно...

Мне очень грустно было читать твое письмо, баба Зоя. Зачем ты так много думаешь о смерти? Хорошо, хорошо, я повторяю свое обещание еще и еще раз: если с тобой что-нибудь случится, я сделаю все, как ты сказала, насчет церковного поминовения. Обязательно-обязательно. Но только надеюсь, что случится это еще очень-очень нескоро.

Есть еще кое-что. Отец Олег недавно распорядился поставить на месте гибели мамы большой деревянный крест, а я хочу заказать в Архангельске медную табличку, чтобы прикрепить ее внизу. Батюшке я об этом еще не говорила, но, думаю, он против не будет. Текст выгравировать примерно такой:

«На этом месте 17 июля 1995 года была злодейски убита фашистским преступником девушка Люба». Как ты думаешь, это нормальная надпись?

Мамин крест стоит на обрыве у самого моря, его можно видеть и далеко из тундры, и с воды, когда идешь вдоль берега на баркасе. Могилы у нее, к сожалению, нет – но так даже легче почему-то. И ей, наверное, нравится: вечный шум приливов и отливов, треск бирюзового льда да редкие крики поморников. Вот и все. Больше я о ней ничего не знаю. А у моря не спросишь...

25 августа 2013 года, Букино.



(1) Шелонник - теплый ветер с материка (диал.).

(2) На тонях (тони) - специально приспособленные ловушки для ловли семги, во время прилива заходящей на мелководье; определенное количество ловушек обслуживается двумя рыбаками, в летний период живущими в домике у обрыва моря (диал.).

(3) Морянка - холодный ветер с моря (диал.).

(4) Куйпога - приливно-отливная зона на приливной воде (диал.).

(5) Глядень - высокое место, холм для наблюдений за морем и судами (диал.).

(6) Шелега - тюлений жир (диал.).

(7) Псалом 126, ст. 1.

(8) Южики - родственники (церковнославянск.)

Имеется в виду специфическая «православная» шутка, основанная схожести звучания слов.

(Примечания автора).

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ

- Евгений Раевский 5
Евгения Корн 6
Татьяна Карпенко 9
Владимир Данилевский 10
Вера Кулемина 15
Людмила Ильина 17
Татьяна Николаева 19
Юрий Пейсахович 22
Сергей Пантелеев 24
Василий Денисюк 26
Людмила Новикова 27
Евгений Смоляков 28

КРИПТИКА

И ПУБЛИЦИСТИКА

- Евгений Раевский 31
Наталья Веселова 33
Алексей Воронов 35
Валентина Федорова 41
Иван Ильин 44
Геннадий Серов 46

- Галина Парасова 49
Ольга Полякова 50
Слфья Дубовская 52

ПРОЗА

- Юлий Шагера 56
Виктор Пермьяков 57
Галина Ковальская 61
Елена Покровская 63
Мария Орфанудаки 64
Евгений Дудник 68
Анна Скворцова 75
Светлана Панова 78
Иван Ильин 83
Марина Каменева 84
Сергей Псарев 87
Лев Горянин 102
Макар Алпатов 108
Людмила Ильина 111
Геннадий Серов 113
Ольга Сафарова 126
Наталья Веселова 143



Полиграфическое предприятие "Палитра"

Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 87

тел. (812) 572-37-47 ,

(812) 764-26-10, (812) 575-68-88

Высококачественная полиграфия - быстро и недорого.

Типография "Палитра" успешно работает на рынке полиграфии более 12-ти лет
Зарегистрируйтесь на сайте и получите скидку 5% на все виды услуг

Наша фирма оказывает полиграфические услуги самого широкого спектра:

Дизайн-студия

Разработка макетов полиграфической продукции, соответствующих всем требованиям дизайнера и технологии печати, создадим Ваш фирменный стиль и логотип.

Офсетная печать

Многоцветные бланки, фирменные папки, листовки, каталоги, рекламные буклеты, брошюры, книги, календари, плакаты, этикетки, стикеры на самоклеющейся бумаге и пленке, отрывные блоки, коробки из любого вида картона и т.д.

Цифровая печать

Печать на полноцветной цифровой машине (оперативное изготовление небольших тиражи полноцветной продукции: визитки, листовки, карманные календарики, рекламные проспекты...).

Ризография

Оперативная печать до формата А3 включительно, используя черный, красный, синий или зеленый цвета. Ризография это несложные и недорогие фирменные бланки, конверты, приглашенные билеты, флайерсы, рекламные листовки, этикетки, квитанции, ярлыки, ценники, прайс-листы, бухгалтерские и товарно-транспортные документы (возможно на самокопирующейся бумаге), брошюры, отрывные блоки для записей и т.д.

Шелкография

Шелкографии - печатать на любых видах материалов: кожа, кожзаменитель, пластик, полиэтилен, самоклеющаяся пленка и бумага, любые виды картона, этикеточные бумаги, ткань. Визитные карточки, приглашения, фирменные бланки, папки, конверты, наклейки любого размера на самоклеющейся пленке или бумаге, этикетки, полиэтиленовые пакеты от 100 штук.

Горячее тиснение

Изготовление визитных карточек, приглашений, фирменных бланков и прочей рекламной продукции методом горячего тиснения с использованием широкой гаммы цветной фольги (матовой и глянцевой).

Плоттерная резка

Любые вывески, таблички, большеформатную рекламу (стенды, плакаты), стрит-лайны, оформим Ваши грузовые или легковые машины рекламной информацией и т.п.

Постпечатные работы

Ламинированию до ф. А1. Вырубка до ф.А1. Переплетные работы (на металлическую пружину, на пластмассовую пружину, на скрепку, термопереплет).

Надеемся, что, ознакомившись с информацией о нашей фирме, Вы придете к нам и станете нашими постоянными клиентами.

С уважением,
Коллектив типографии "Палитра".

www.palitra-spb.ru

Золотое Слово №8
Литературно-художественный журнал

Санкт-Петербург
Издательство «Гамма»
2013 г., 198 стр.

Выпускающий редактор: Ефимова Е.С.
Оригинал-макет: Сафронова Н.А.

Под общей редакцией
Е.П.Раевского

Составитель Н.А.Веселова

Издание Российского Межрегионального союза писателей
Официальный сайт: **www.rmsp.pro**
Адрес для писем: 199178, Санкт-Петербург,
В.О., 11-я линия, д. 48, кв. 10
Контактный тел.: 8-921-908-97-16

Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии «Палитра»
Санкт-Петербург, наб.Обводного канала, д.87
Печать офсетная. Формат 60x84/8 Печ.л. 15
Заказ № 69 Тираж 900